

## Лив Нансен-Хейер КНИГА ОБ ОТЦЕ

### Table of contents

- Книга об отце НАНСЕН И МИР
  - I. БЕЗ ЕВЫ
  - II. ГОДЫ СОМНЕНИЙ
  - III. В БАШНЕ И В МОРЕ
  - IV. РУАЛ АМУНДСЕН И ОТЕЦ
  - V. ГОРЕСТИ И РАДОСТИ ЛЮСАКЕРА

- VI. ПО СИБИРИ
- VII. ВОЙНА НАДВИГАЕТСЯ — ПРОЩАЙ, ДНЕВНИК
- VIII. НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
- IX. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОРВЕГИИ В ВАШИНГТОНЕ
- X. НАНСЕН В ЛИГЕ НАЦИЙ
- XI. РЕПАТРИАЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
- XII. БОРЬБА С ГОЛОДОМ
- XIII. НАНСЕНОВСКИЙ ПАСПОРТ[200]
- XIV. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
- XV. В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ
- XVI. НАРОД, ЗАБЫТЫЙ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ
- XVII. КАКИМ БЫЛ ОТЕЦ
- XVIII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОТЦА
- ФОТОГРАФИИ
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43
  - 44
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150

- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197

- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [Annotation](#)
- [Document information](#)

## **Книга об отце НАНСЕН И МИР**



## I. БЕЗ ЕВЫ

Прошло две недели после смерти мамы. На пороге стояло рождество. Я не знала, как пережить это время. Отец хотел, как всегда, устроить елку с подарками и изо всех сил старался, чтобы малышам было весело. Нас просто спас приход Анны Шёт и Торупа. Я уверена, что мы с отцом одни не смогли бы устроить детям настоящее рождество.

Коре и трое малышей тоже были невеселы. Коре было уже десять, и он сильнее, чем мы думали, тосковал по маме. Но он был мужчиной и не хотел показывать своего горя. Имми было семь, Одду — шесть, а маленькому Осмунду четыре с половиной года, они, наверное, и не понимали как следует, что произошло. Они видели только, что мы серьезные, и это приглушало их веселье. Да и Доддо, как мы называли фрекен Шёт и профессора Торупа, посидели с нами в темной гостиной, пока отец зажигал свечи на большой елке в зале. А когда двери распахнулись и малыши увидели елку, полную подарков, в блеске свечей и мишуры, глаза их засветились радостью.

И в этот рождественский вечер мы водили хоровод вокруг елки и старательно пропели все рождественские песенки, только голоса плохо слушались нас.

Лишь одно доставило мне настоящую радость — красивый деревянный рельеф, который мне подарил Дагфин Вереншельд. Он хотел подарить мне самое для него дорогое — и вырезал на нем своих зверей. Дагфину тогда едва исполнилось пятнадцать лет, и я еще не принимала его искусства

всерьез. То была одна из первых его работ, и он вложил в нее всю душу. Я и по сей день горжусь этим подарком.

Отец и Доддо тоже залюбовались резьбой Дагфина. «Посмотри, как просты эти деревья с попугаями и райскими птичками. А посмотри-ка, как он придумал, чтобы кролик опустил одно ухо. Ведь это же настоящее искусство!»— сказал отец.

Папа лучше владел собою, чем я. Лишь временами в глазах у него появлялось пугающее меня выражение отчаяния. Но он сразу спохватывался и опять весь был с нами.

Потом я узнала, что утром он ездил во дворец, поздравлять с рождеством. Один мальчик, который жил на Бюгде-алле, видел, как отец ехал туда на своем огромном вороном коне. Через несколько часов мальчик опять его увидел, отец возвращался назад. Он ехал по улице Нобеля, оттуда по Драмменсвейн, вверх по Бюгде-алле и возвращался той же дорогой, и так много раз подряд. На углу улицы Нобеля и Бюгде-алле стоит деревянный домик моей бабушки, с которым у отца связаны воспоминания о первых днях его совместной жизни с мамой. Целый час отец кружил вокруг этого домика, он ехал шагом в глубокой задумчивости.

Старый год кончился, а что сулит нам будущее? Умолк мамин смех, и никогда больше нам не слышать ее песен. Большой дом стал пустым и заброшенным.

Мне очень хотелось помочь отцу. Он и сам просил меня об этом.

«Теперь ты должна заменить малышам маму»,— сказал он. Но разве смогу я заменить маму? Мы потеряли не только самого дорогого человека, каждому из нас не хватало той нежности, которая была у нее и которую только она могла дать нам.

Отец бродил по дому словно тень, с окаменевшим лицом и невидящим взглядом. Он пытался заняться нами, а нам это было очень уж непривычно. Ведь много лет он бывал дома только наездами и вся тяжесть забот о детях лежала на маме. Сейчас отец и сам был похож на беспомощного ребенка, о нем о самом-то надо было заботиться.

Он укрылся в башне — быть может, чтобы работать? Однако он сидел над разложенными бумагами, устремив невидящий взгляд в ночь за окном. На столе громоздились письма. Со всей страны и из-за рубежа приходили дружеские, теплые письма с выражением соболезнования, во всех газетах появились некрологи, посвященные маме. Только читать все это было больно... Отец ответил на некоторые из писем, а остальные пускай подождут. Вот только Бьёрнстjerne Бьёрнсона надо поблагодарить за его теплые строки. А может быть, отцу просто захотелось поделиться с человеком, который знал и ценил Еву.

«Дорогой Бьёрнсон!

У меня просто слов не хватает, чтобы выразить тебе всю благодарность за твое милое письмо, которое несказанно помогло мне. Спасибо за все то хорошее, что ты сказал о ней. Да, вот такой она и была. Она была удивительным человеком. Я никого не встречал в жизни, кто мог бы с нею сравниться. Ни единой мелкой мысли не было у нее в душе; самый воздух, которым я дышал, был чище, небо — выше, когда она была рядом. И вот ничего этого уже не будет, и только воспоминания живы. О! Ведь она-то была создана для жизни, а как много было в жизни такого, ради чего ей хотелось жить! Я все еще никак не могу этого осознать: произошла какая-то бессмысленная и нелепая случайность! Порой я готов взбунтоваться против жестокого, бессмысленного рока. У меня и мысли никогда не возникало, чтобы возможно было то, что произошло; я еще мог допустить, что это случится со мной, но чтобы с нею? Ведь теперь жизнь словно утратила цель, утратила всякий смысл, бесприютная мысль мечется, не находя себе пристанища. Мне сейчас вспоминаются твои строки:

Все то, чем жизнь моя цвела,  
Увяло вмиг, лишь ты ушла.

И ведь я уже мог наконец вернуться из-за границы, и мы полны были надежд, что начнем жить заново. Как она радовалась!

Но зачем я буду терзать тебя своим горем? Дети все-таки большое утешение, они милые и добрые, и некоторые так на нее похожи, и, наверное, мне нельзя жаловаться, раз есть ради чего жить. Но не представляю себе, как они будут без нее, сколько они потеряли».

Бьёрнсон ответил тотчас же из Рима, где он жил в это время. Он сам был болен и удручен, работа давалась ему с большим трудом. Но его большое, доброе сердце по-прежнему горячо билось для друзей, и он принимал живое участие в их жизни и печалих.

«Дорогой друг!

Я так обессилел от кашля, который ни днем, ни ночью не дает мне покоя. Но не только из-за этого я плакал над твоим письмом. Видеть сильного человека сломленным под самый корень — вот что грустно. Я только что писал Грану о Еве (я всем о ней пишу). И в этом письме я сказал одну вещь, в которой заключена истина. Я спросил его, доводилось ли ему в слово «гордость» вкладывать смысл прекраснее того, который выражало оно, будучи отнесено к Еве? Оно осветило мне путь, как путеводная звезда. Да и вообще, ведь величайшее благо, которое может подарить нам другой человек,— это помочь нам возвыситься до того лучшего, что есть в нас самих. Когда ты был в Ледовитом океане, я видел в ней женщину, с которой ни одна другая не сравнится святостью своего предназначения. Мне представлялась она жрицею алтаря, на котором пылает тоска и надежда всех женщин. Она хранила его. Можно ли назвать другую, более достойную! С каким юмором отстраняла она от себя мирскую мелочность и глупость, как звенел он в ее смехе, и ведь таким лукавством был окрашен этот юмор и смех, такую всепобеждающей веселостью, что он и поныне звучит в моей памяти, точно посланец из прочного, незыблемого мира, полного счастья и света.

Мысленно я так прочно был связан с нею и с тобой, что совсем забыл о детях! Прочитав о них в твоём письме, я отложил письмо — и узрел берег! Как же я забыл о них! Ведь когда я с тобою мерял шагами палубу, когда стоял над нею в ее смертный час (все это неоднократно виделось мне, ведь я тут все один), я должен был тогда видеть детей. А я не видел! Конечно, они страшно усугубили ее муку в час последней разлуки, а тебе — твое жестокое одиночество. Вдобавок, я вижу, ты терзаешься мыслью о том, что они утратили. Но ведь это, именно это и озарит твою тьму, дорогой мой, отважный мой друг. Ведь так и со мной было — я не видел детей, пока не пришло сострадание, так и с тобой будет, когда ты переживешь самое страшное: дети! Дети!

Мне так хорошо было писать тебе о ней, а потому спасибо за твое Письмо. Каролина сочувствует тебе от всего сердца. Тысячи приветов от нее и от меня.

Бьёрнстjerne Бьёрнсон».

Ночь за ночью отец просиживал без сна в башне. Или ходил взад и вперед по комнате. Временами я тихонько подходила к его спальне послушать, там ли он. Тогда я слышала его шаги: туда и обратно, взад и вперед. Потом он садился за стол, ненадолго все стихало. И снова принимался ходить.

В эти первые недели он был не в силах взяться за работу. Наука утратила для него всякий интерес. Политика и важные вопросы жизни Норвегии, которым он в последние годы отдавал столько времени и сил, стали ему безразличны. Исчезло все, что придавало жизни цену и смысл. Однажды ночью, когда он сидел так, погруженный в свои думы, он снова взялся за дневник. Над фьордом светила луна, и невольно ему вспомнились строки из Омара Хайяма:

Ей по небу блуждать опять,  
То возникать, то убывать,  
Но никогда в садах тенистых



Нас не найти, не отыскать.

Чуть позже он продолжал писать:

«Здесь холодно и безотраднo пусто. В нoчи за окном луна озаряет заснеженную землю. Жизнь? Бесцельное блуждание лунатика. О, какой кошмар, а я-то хотел проснуться. Теперь я хочу уснуть».

После смерти мамы он заболел и слег и в бреду все хотел проснуться от кошмара. Теперь кошмар стал явью. Жизнь шла своим неумолимым чередом без мамы, а он, человек действия, не в силах был продолжать жить. Каждому, близко знавшему отца, становилось ясно, как глубоко он подавлен, а ведь я изо дня в день была с ним рядом. Меня пугал его угрюмый взгляд. Ведь недавно он болел, чего раньше никогда не случалось, и это тоже беспокоило меня. Сам он уверял, что у него ничего не болит. «Не беспокойся обо мне, думай о детях»,— вот его постоянная отговорка. Я с трудом верила ему, выглядел он больным.

Но где же было мне, девчонке в неполные пятнадцать лет, догадаться, какие тяжкие думы одолевали отца в то время! Лишь спустя одиннадцать лет я наконец решилась заговорить с ним о том, что мучило нас, каждого по-своему, в те дни. И тут только мне стало ясно, как тяжело ему тогда пришлось. Сама я знала слишком много и слишком мало о том, что произошло. Я видела, как удручена была мама за несколько лет до смерти. Она сама говорила, что это из-за неуверенности в том, любит ли ее отец по-прежнему. Я видела также, что ее настроение улучшилось в последний год жизни, и она уверяла, что все опять хорошо. Если бы ничего не случилось, я, наверное, просто забыла бы все это, но сейчас, после маминой смерти, я снова принялась об этом думать и никак не могла отделаться от этих мыслей. Если бы я только знала, что отца терзает именно это! Да, если бы мы поговорили с отцом тогда же, насколько легче было бы нам в последующие годы! Но отец был растерян, замучен угрызениями совести и не мог никому довериться. А я тоже была растеряна и измучена, мне не хватало не только мамы, но в какой-то степени и отца тоже.

Люди были добры. Многие приезжали с утешениями, но получалось так, что они сидели погруженные в свою печаль, потому что многие горевали о маме. Я могла говорить только с маминой сестрой, тетей Малли. Она всегда находила нужные слова. Коре одиноко думал о своем. Мы были слишком близки по возрасту, чтобы я могла стать ему «мамой». При нас его мордочка часто бывала печальной, но на улице с друзьями он старался не подавать виду. С тремя младшими было легче. Они были рады моей ласке, и с ними я могла играть. Для меня они были спасением, еще и потому, что в их душах не так укоренилось горе.

В нашем хозяйстве не произошло больших изменений. Кучер Юхан заботился о лошадях, отоплении и делал всю черную работу по дому. Кухарка готовила привычную нам еду и вела счета, без всякого нашего вмешательства. Лилли убирала в доме, а все заботы о детях легли на замечательную Хельгу. Все эти люди думали об одном — сделать для нас все как можно лучше, и этим очень помогли отцу.

Мною больше всех занималась Лилли, мне никогда не забыть этого. Она старалась получше прибирать комнату, стирала и чинила мою одежду и следила, чтобы в школе я выглядела не хуже других. По вечерам она тихонько поднималась ко мне и сидела на краешке кровати, пока я не засыпала. Лилли попробовала было следить за моими уроками, но тут у нее ничего не вышло. Как отец не мог взяться за работу, так и я не могла заниматься уроками. В конце концов, по совету тети Малли отец забрал меня из школы в Бестуме. Я помню, как он сказал, что мне лучше сначала прийти в себя, а потом сразу сдать экзамен за весь курс в другой школе. Он говорил все так ласково и осторожно, что я не сразу поняла, что речь идет о школе. Но я обрадовалась. Участие учителей и учительниц, молчаливые, вопрошающие взгляды одноклассниц — все это было невесело.

Проходили недели и месяцы. Я почувствовала нечто похожее на облегчение, когда весной 1908 года отцу пришлось снова поехать в Лондон. Договор о суверенитете, его основное дело в Лондоне, давно был подписан, но сейчас отцу нужно было закончить множество других дел и



подготовить все для своего преемника, секретаря миссии Юханнеса Иргенса. Да и король Эдуард хотел, чтобы отец оставался послом до официального визита в Норвегию его и королевы Александры — первого после того, как принцесса Мод стала норвежской королевой. Визит состоялся в мае, и отец наконец освободился. Помню его слова: «Итак, слава богу, эта глава окончена. И никогда больше...». А затем огорченно добавил: «Как это долго тянулось».

Он думал о маме и о том, что работа в Лондоне разлучила их. Он не мог знать тогда, как пригодится ему опыт работы посла через десять лет, как пригодятся ему знание европейской политики и те связи, которые завязались у него в Англии и с правительствами и королевскими домами других стран.

Вернулся отец из Лондона в мае 1908 года вместе с английской королевской семьей, и вскоре королева Александра и принцесса Виктория вместе с нашей королевой Мод посетили Пульхёгду. Мы заранее вышли во двор встречать гостей. Мы, конечно, с волнением ждали встречи с английской королевой, а отец предупредил нас, что нужно присесть и пониже кланяться. И вот они подъехали к усадьбе в открытых экипажах, запряженных лоснящимися вороными. На кучерах были сверкающие золотом ливреи и цилиндры, а на спинах лошадей — белые сетки.

Королева Александра оказалась такой же сердечной и простой, как наша королева, и мы очень скоро перестали стесняться. Все же в ней было что-то величественное — она такая прямая и статная, и ни одной морщинки на красивом тонком лице. На королеве Александре было фиолетовое шелковое платье с широкой юбкой и со шлейфом. Впрочем, все дамы были в длинных, по тогдашней моде, платьях.

Малыш Осмунд сразу подбежал к королеве Мод и уже не отпускал ее руки. Королева умела обращаться с детьми, они сразу чувствовали к ней доверие. Она очень любила нашу маму и поэтому была особенно ласкова и приветлива со всеми нами. Разговоры с отцом она вела в шутливом тоне, который легко было поддержать, и на душе теплело, когда мы видели, с какой гордостью она показывала своей матери и сестре Пульхёгду и окрестности. Отец потащил всех наверх, на крышу башни. Он показал им фьорд, мыс Несодден и лесистые холмы. Он рассказал им о своем детстве, когда соседняя усадьба Форнебу принадлежала его дяде Фредрику Ведель-Ярлсбергу. Все слушали его с живым интересом и дружно и искренне восхищались открывшимся сверху видом. Как сказала королева Александра, королева Мод ничего в своих рассказах не преувеличила, Норвегия — «a wonderful country»[138].

Еще бы, думала я, весной стоит посмотреть на Форнебу, и, конечно же, высокие иностранные гости должны так же, как и мы, увидеть, что у нас тут самое красивое место в мире. Зато отцу приходилось тяжело. Я видела это по его лицу и по тому, как у него вырывалось: «Как Ева любила нашу весну!» Мне тоже было не легче. Каждый распутившийся цветок напоминал мне, как радовалась мама, когда я прибегала к ней с цветами. А когда березы окутывались светло-зеленой дымкой и в сумерках заводи́ли свои песни дрозды, мне вспоминалось мамино лицо, когда она слушала пение птиц.

Мольтке Му, который поддерживал с нами связь по телефону, чтобы лишний раз не беспокоить отца, всегда спрашивал, как дела у меня и малышей. И потом добавлял: «А у папы? Как он, по-твоему?» Однажды я ответила, что не знаю: «Папа — сфинкс». Мольтке посмеялся над моим ответом, но сам тоже тревожился за отца. Он-то знал, что теперь уж некому разгадать сокровенные мысли сфинкса.

Настало лето. Отец продал усадьбу Сёркье, и туда мы уже не поехали. Не знаю даже, огорчились ли мы. Никто из нас не мог даже представить себе, как теперь, когда умерла мама, мы будем жить там, эти места как бы принадлежали маме. Прежде чем принять решение, отец посоветовался со мной, и я согласилась: нельзя представить себе Сёркье без мамы. На лето меня пригласила подруга к своим родителям в Тунховфьорде в губернии Нумедаль. Эта поездка принесла новые, интересные впечатления, и я писала отцу о прогулках в горы, о рыбалке, о наших развлечениях. Отец отвечал, что рад за меня, раз мне так хорошо. А о себе ни слова. Не могла я сказать ему, что мне вовсе не так уж весело.

Осенью 1908 года я поступила в женскую школу Халлинга. Она была на улице Жозефины, в центре города. Для меня это был резкий перелом — ведь я не привыкла к городу. Почти все мои одноклассницы были уже настоящими барышнями, после уроков они даже кокетничали с учениками офицерского училища на улице Карл-Юхансгате. Они, прямо как взрослые, собирали волосы узлом на затылке и носили длинные юбки; как завзятые театралки, болтали о театре и вздыхали по актерам. Я слушала, раскрыв рот от удивления.

Учителя держали себя с нами, как со взрослыми, обращались на «вы», а в дверях галантно пропускали вперед. Учительницы тоже разговаривали с нами, как равные с равными, и мы от этого вырастали в собственных глазах. Больше всего я сдружилась с милой Тео Реймерт, она преподавала нам историю религии, и с учительницей рисования Кларой Ауберт, за неукротимую фантазию директор школы Халлинг прозвал ее Klara Fantastica. Она и другим не мешала фантазировать. Поскольку рисование давалось мне легко и она не боялась, что я осрамлю ее на экзамене, то на ее уроках мне позволялось рисовать что вздумается.

Не менее увлекательными были уроки норвежской словесности у Сигурда Халлинга. Его любовь к норвежской литературе, музыке и живописи захватывала и нас, учениц, и мы всегда его внимательно слушали. Анна Шёт тоже преподавала в этой школе. Она вела у нас историю. Выгоды от нашего близкого знакомства для меня никакой не было. Она так боялась как-то выделить меня, что частенько пересаливала. Но было приятно видеть ее в классе, а на письменных и устных экзаменах она волновалась не меньше меня.

В Пульхёгде этой зимой опять царило подавленное настроение. Отец укрылся в башне и никого не хотел видеть. Если звонили друзья, он неизменно отвечал: «Мне некогда», зато был благодарен тем, кто занимался детьми. Наш добрый Мольтке сказал как-то: «Фритьоф стал совсем нелюдимом после смерти Евы, он чересчур изолировал себя». Но он заметил, что стоило появиться Бьёрну Хелланд-Хансену, который по делам приезжал иногда из Бергена, как отец оживлялся и вновь обретал душевное равновесие.

Мольтке, хорошо разбиравшийся в людях, сказал: «Должно быть, это потому, что Бьёрн не вспыскивает, как спичка, когда Фритьоф берет его в оборот».

Однажды вечером, возвращаясь вместе из Пульхёгды, Бьёрн и Мольтке дорогой долго разговаривали о своем общем друге. Мольтке попросил тогда Бьёрна не забывать отца и навещать его как можно чаще. И Бьёрн в ответ торжественно пожал ему руку. «Он словно завещал мне это», — сказал Бьёрн, вспоминая впоследствии этот разговор.

В сущности, у Мольтке и Бьёрна Хелланд-Хансена было много общего — острый ум, обширные познания и душевное равновесие, которое успокаивающе действовало на пылкий характер моего отца. Были они похожи и в том, что оба слишком уж щедро отдавали свои знания другим. Отца же огорчало, что они таким образом «зря тратят время».

Понемногу отец снова втягивался в работу, но опять ему не удалось целиком посвятить себя науке. Он не мог оставаться в стороне, когда дело касалось его страны.

В 1909 году вновь вспыхнули споры вокруг языка<sup>[139]</sup>, и на этот раз к ним примешались нездоровые политические тенденции. Отец не раз высказывал свое мнение об этом Вереншельду, и тот посоветовал ему выступить в печати. Он считал, что самое время услышать разумное слово по этому вопросу. Но отец решил обнародовать свою точку зрения только после долгих уговоров — это ведь не его область. Он писал профессору Улафу Броку: «Я уже не раз собирался написать о языковых спорах, которые сейчас, по-моему, доведены до абсурда». Отец сетовал на то, что вынужден отвлекаться от своей работы, и если все-таки занялся этими вопросами, то только потому, что профессор Брок, как и многие другие, счел это необходимым.

Вмешавшись в спор, Нансен высказал свою особую точку зрения на изменения, происходящие в языке. Он опубликовал сразу четыре статьи: «Форма — не содержание», «Чужаки», «Язык» и «Выпускные сочинения на лансмолле».

Прежде всего, он досадовал на то, что в языковых спорах впустую растрачивается время. Сам он считал, что после провозглашения в 1905 году независимости на повестку дня встанут совсем

другие задачи. В первой из этих статей он как раз и говорит о том, каким великим делом была борьба за независимость. А когда борьба наконец завершилась победой, всеми точно овладела какая-то растерянность. Теперь не за что стало бороться. Тут-то и выплыл вопрос о языке. Но этот вопрос поверхностный, не коренной.

«Все мы, готовившие и помогавшие осуществить 1905 год, мечтали о новой весне в Норвегии. Наивных мечтателей подстерегало разочарование. Листочки не распустились. И вот мы слышим, что по всей норвежской земле некие мужи возвещают, что они устроят новый 1905 год в вопросах языка. Где же тут здравый смысл? Неужели у нас никогда не откроются глаза на то, что нам предстоит еще многое наладить, исправить, поднять экономику, которая находится в упадке? Что сделали наши политики, чтобы возродить ее? Сейчас не время раскалывать страну спорами о формах слов. С языком у нас нет затруднений, язык тут не помеха, понять друг друга мы как-нибудь уж сумеем».

Нансен проводил резкую грань между сторонниками риксмолла и оголтелыми норвегизаторами. Последних он считал более или менее ярко выраженными фанатиками, которые вообразили, что теперь они могут ввести мертвый язык, искусственно изготовленный в той или иной мастерской. Сторонников риксмолла он считал людьми разумными, поскольку они признают за местными говорами право на существование и требуют обогащения будущего норвежского языка лексическими сокровищами этих говоров.

«С последними я заодно, зато стремление норвегизаторов ввести в употребление бумажный язык Ивара Осена<sup>[140]</sup>, на котором нигде во всей Норвегии никто не говорит, считаю нездоровыми, по самой их сути, романтическими фантазиями».

Страшнее всего были попытки использовать языковые споры для раскола между коренными норвежцами и «чужаками». Отец писал тогда:

«Самое отвратительное словечко из всех, которые служат этой цели, — это кличка «чужаки». Даже смысл, заключенный в нем, свидетельствует об ограниченности тех, кто его употребляет, об их неспособности увидеть преемственность в историческом развитии. Кого, собственно, считать «чужаками»? Тех ли, кто приехал в Норвегию сто, пятьсот, тысячу или две тысячи лет тому назад? Подумать только, а вдруг мы все «чужаки», даже эти доморожденные норвегизаторы? Ведь для них история Норвегии обрывается 1376 годом<sup>[141]</sup>, когда на датский престол был посажен сын норвежского короля, и вновь начнется, вероятно, лишь «когда будет введен язык Ивара Осена, составленный из западнорвежских диалектов».

«Древней Норвегии больше нет,— писал Нансен.— Она представляет для нас только исторический интерес, и не воскресить ее, раскопав старые паруса и перекрестив Христианию в Осло. Культура, которая создала нашу Норвегию, культура, наиболее близкая норвежскому народу сегодня, складывалась в прошлом столетии. Если мы уберем из нашей истории тех, кого норвегизаторы обзывают „чужаками“, что от нас останется? Опустошенная страна!»

Очень многие люди, создавшие нашу историю, были «чужаками», даже зачинатели самого движения за национальное самосознание, на почве которого и выросли норвегизаторы. Взять хотя бы Эрнста Сарса, написавшего историю Норвегии, или Эдварда Грига, создателя норвежской национальной музыки,— по его же собственным словам, в нем нет ни капли норвежской крови. Да и Хенрик Вергеланн является великолепным примером удачного смешения двух национальных начал.

Бесспорно, что местные говоры служат родным языком большей части населения. Но столь же очевидно, что риксмол является естественным языком другой его части, и не меньшей.

«Поскольку риксмол долгое время был письменным языком и на нем создана богатая и разнообразная литература, он обладает еще и тем преимуществом, что достаточно развит для выражения самых точных, возвышенных и утонченных оттенков человеческой мысли».

К ясности, сжатости » простоте, утверждал Нансен, стремится любой культурный язык на свете. Если взглянуть с такой точки зрения на риксмол и лансмол, ни один из них не совершенен.

«У них нет будущего, они слишком расплывчаты по своему строению и перенасыщены длиннотами, отягощены устаревшими формами. Причем лансмол более тяжел и архаичен. Язык, к которому мы стремимся, появится нескоро. Дело не в том, чтобы «насаждать» один из уже существующих, важно добиться их слияния, отжать из них воду. Цель нам ясна, остается двигаться к ней прямо, не отвлекаясь то и дело в сторону, как дети. Путь этот является естественным продолжением того пути, которым мы шли до сих пор, хотя темп движения можно бы и ускорить. С обеих сторон».

Стортинг принял постановление о том, чтобы с 1909 года преподавание в средней школе велось на лансмоле, а с 1912 года предполагалось экзаменационную работу на аттестат зрелости (изложение или сочинение) также писать на лансмоле. Нансен решительно возражал против этого.

«Весь вопрос в том, какое воздействие на молодежь окажет активное использование языка, который похож на родной, но лишен для них живых корней разговорной речи. Чего же тогда ожидать, как не утраты молодыми умами чувства стиля и притупления языкового чутья, ведь у них еще не выработано чувство языка. А как легко это может привести к кривлянию, к появлению уродливых жаргонов вместо гармонического слияния, по той причине что у одного языка есть живые корни, а у другого — нет! И еще — не внушив молодежи уважения к так называемому «национальному», мы только вызовем скуку и равнодушие даже к тому, что действительно является предметом национальной гордости.

Говорят, что стоит пожертвовать одним или двумя поколениями ради единой Норвегии с единым языком. Это или незнание, или неуважение к одному из простейших законов жизни. Первое условие всякого здорового развития — спокойный рост и преемственность. Нельзя безнаказанно разрушить или изуродовать какое-либо звено в цепи развития. Разрывы и насильственные скачки ведут к неизбежным потерям и регрессу, зачастую непоправимым».

Сам Нансен прекрасно владел стилем, знал родной язык в совершенстве и превосходно выражал свои мысли. Это давало ему право на участие в споре.

И Нансена никак нельзя было уличить в недостатке «норвежскости», хотя, по определению норвегизаторов, он был потомком «чужаков», появившихся в Норвегии лишь в середине восемнадцатого века.

Для отца, конечно, было полезно вновь окунуться в борьбу. Однако он вряд ли вмешался бы в нее, если бы не считал это делом государственной важности. Он по-прежнему отказывался от любых предложений, поступавших из внешнего мира, и занимался наукой у себя в башне, продолжая внимательно следить за всеми текущими событиями. Утром и вечером он подолгу читал газеты. Эрик Вереншельд, по счастью, жил рядом с нами, и отец в любую минуту мог вскочить и отправиться к нему поделиться своими соображениями. Но, вернувшись домой, отец снова скрывался в башне. Там он часто погружался в раздумья — об этом говорит дневник.

Но большей частью он был занят какой-то работой — а он был из тех, кому хорошо работает по ночам. Бывало он засиживался до зари, тогда он просто вставал попозже. Но работа как будто никогда и не утомляла его. Часам к девяти — половине десятого он уже успевал позавтракать и просмотреть утреннюю почту. Работал он, судя по всем его рукописям, чрезвычайно рационально — принимался писать, когда весь материал был полностью продуман, в рукописях почти нет перечеркнутых мест. То же самое относится и к его личному дневнику. Все мысли в нем записаны так, что явственно чувствуется любовь к порядку. Если он брался за какую-нибудь задачу, то не упускал в ней ни единой мелочи. Но в то же время он стремился получать всестороннюю информацию и отличался тем, что всегда видел вопрос целиком.

«Некогда» — как часто я слышала это слово, когда кто-нибудь пытался нарушить его рабочий покой. Но были и такие люди — немногие, впрочем, — которым он не мог так просто отказать, например, нашей королевской чете, которая считала отца одним из ближайших своих друзей и хотела видаться с ним почаще. Весной они часто привозили с собой в Пульхёгду кронпринца Улафа



поиграть с нашими малышами. В большом лесу было хорошо и привольно, кронпринцу, наверное, нравилось у нас. Вместе с другими он сломя голову носился по холмам, испуская индейские кличи. Случалось, дети спускались вниз по крутым склонам к фьорду, это беспокоило королеву, и отцу или королю Хокону приходилось догонять и «спасать» детей. «У меня только один сын», — оправдывалась королева. Впрочем, она и сама любила спорт и не боялась крутых склонов. Пока остальные бросали камни в воду, развлекаясь как мальчишки, королева и я наблюдали за ними, сидя на причале, или прогуливались под огромными соснами, болтая о всякой всячине.

Иногда отец и король затевали во дворе игры с детьми, вот шуму-то было! Как-то играли в прятки. Сперва долго, перебивая друг друга, объясняли королю правила, потом пришел его черед «водить». Король стоял, отвернувшись к стене и закрыв, как ему было велено, глаза руками, а отец с детьми кинулись прятаться. Король Хокон считал громко и отчетливо: «Один, два, три, четыре, пять, шесть...» И как раз в этот миг Эрик Вереншельд, вышедший посмотреть, услышал пронзительный крик Одда: «Так нечестно!» Король слишком рано обернулся, и Одд не успел спрятаться. «Считай снова, — скомандовал Одд, — надо считать до ста». Вереншельду такое обращение с королем показалось странным, но сам король смеялся громче всех, значит, все было в порядке.

Да, с нашей королевской семьей было просто. Хуже было, если с ними приезжали иностранные гости, ведь тогда нужно было говорить по-английски. Особенно мне запомнился приезд принцессы Виктории и греческого принца. На все их вопросы я отвечала только: «What?». Отец засмеялся и попытался меня выручить: «Нужно говорить: «I beg your pardon»[142], но у меня тут же снова вырвалось «What?» Отец сказал, что королевским высочествам придется извинить его дочь за то, что она еще не сильна в английском. Они, должно быть, и без того это поняли, и их это только позабавило.

С наступлением лета отцу захотелось уйти от всего, его потянуло в море. Он купил «Веслемей»[143], небольшую изящную яхту для увеселительных прогулок. Она была крепко построена и как раз подходила для океанографических исследований. Сразу же убрали всю ненужную роскошь, установили мотор и поставили для отца и его помощников простые койки. От прежнего комфорта почти ничего не осталось, но тем лучше чувствовал себя отец. «Веслемей» оказалась отличным судном. Отец выдержал на ней много штормов и избороздил разные моря.

Летом 1909 года путь ее лежал вдоль норвежских берегов, и отец взял с собой Коре. А мне в награду за окончание школы было разрешено отправиться вместе с секретарем отца фрекен Аслауг Грентведт и ее подругой в пеший переход через Хардангерский ледник к побережью Вестланна. Потом мне предстояло провести несколько недель в Ёрене. Китти Хьелланн обещала устроить меня в небольшом пансионате, куда обычно сама уезжала отдыхать и рисовать. Отец хотел, чтобы мы знали родную страну. Я, как считал отец, была как раз в том возрасте, когда человек очень восприимчив ко всему новому.

То лето было богато новыми впечатлениями. С отцом мы заранее договорились, что после похода я встречусь с ним в Ставангере, чтобы повидаться до моего отъезда в пансионат. Но у отца что-то стряслось с «Веслемей», и ждать его мне было бы тоскливо, если бы в Сёлюсте не жили профессор Герхард Гран и фру Лисбет.

Сёлюст расположен в Бюфьорде на крохотном островке метрах в ста от гавани Эстре. Мне не терпелось увидеть место, которое с таким восторгом описывал Александр Хьелланн[144], когда, став губернатором Ромсдаля, жил в Мольде и тосковал по Ставангеру. В стареньком домике прошло детство Лисбет Гран. Он испокон веку принадлежал семье Сёмме, а они приходятся близкой родней Хьелланнам. Обе семьи помнили и поддерживали родственные связи, и мы, не больно часто встречавшиеся со своими родственниками, этому поражались.

Я взяла лодку и поплыла в сторону открытого моря. Улегся западный ветер, по фьорду катились длинные ленивые волны. Синее небо в серых облаках, кое-где тарахтят моторки, над причалами, куда спускают отходы бойни, орут чайки — но все это не нарушает покоя. А в глубине фьорда в лучах заходящего солнца виднелся Сёлюст и окружающие его редкие холмы, зеленые

склоны, крохотные рощицы и повсюду розы, розы. По стенам низкого деревянного домика Гранов вились светлые розы.

Кудрявая белокурая девушка открыла мне дверь, и не успела я и рта раскрыть, как она уже позвала: «Тетя Лисбет!». И вот сами Граны, милые, радушные, выходят и говорят, что рады видеть меня здесь. Я подружилась с этой девушкой, племянницей фру Гран, ее звали Бёмме Сёмме, и со всеми прочими членами этого семейства. Хотя я с нетерпением ждала отца и собиралась вернуться на следующий день, я провела в Сёлюсте несколько радостных, незабываемых дней, а тут и «Веслемей» вошла наконец в гавань Ставангера.

Мы очень обрадовались встрече. Огорчение от неполадок с яхтой прошло, отец был в великолепном настроении. Коре загорел, как индеец, и нос его лупился. Одежда его была вся в масляных пятнах, на ней не хватало пуговиц, но Коре это ничуть не смущало. Он привычно расхаживал по палубе и сразу кидался помогать, как только матросы принимались тянуть канат, чтобы скрутить бухту. В день их приезда мы провели веселый вечер в Сёлюсте, а наутро покатались по фьорду. Но вот снова прощание. Лицо отца показалось мне таким грустным и старым, когда, стоя у ахтерштевня, он на прощанье махал мне рукой, я долго не могла этого забыть.

Отцовский дневник этого плавания также не свидетельствует об особом оптимизме. Сначала ему пришлось пройти через все прелести морской болезни: «Уже в который раз убеждаюсь, что не гожусь для работы в море, но продолжаю работать, хотя и с неохотой».

В конце августа «Веслемей» дошла до Олесунна, а настроение отца не улучшалось.

«Тяжелый влажный воздух над огромными полями, осень над парком с увядшими полинявшими цветами. Серо все вокруг — жизнь, работа. Ты испытал все — и все оказалось пресным. Вечно волнующееся море с его великими нерешенными загадками было последней надеждой. Но и море разочаровало твою все еще беспокойную душу. А что дальше? Ни стремлений, ни тоски, одна только серая застывшая пустота».

Он снова выходит в штормовое море, но волнам не заглушить его горя. Повсюду видится ему Ева:

«Далекая, несказанно прекрасная музыка чуть слышно пробивается сквозь рев ветра и волн. И вдруг грохот водопада, ужасающий треск, меня подбрасывает высоко-высоко, «Веслемей» проваливается в глубину. Открывается небо, я вглядываюсь в глубь далеких светлых равнин, а она нежно обнимает меня, и мы несемся, как крохотные водяные брызги, в бесконечном пространстве — и вот все успокоилось — тишина — покой.

Значит, ты в буре? Да, в буре и в борьбе. Но ты и в солнечном закате с пылающими горами, ты и в задумчивых облаках, в изломах вздымающихся гор, в необозримом море. Все тона звучат в тебе — кроме пасмурно-серого».

Дождь и шторм, шторм и дождь. «Веслемей» борется с наваливающимися волнами.

«Снова был в море, погода все та же, если не хуже. Я закрываю глаза, меня подняло на гребне волны, как на невероятно огромной струне, и я услышал ее голос:

Меня не бойся, я не зверь,  
спокойно спи в моих объятьях.

Неужели где-то светит солнце? Для меня его больше нет».

Когда «Веслемей» пришла в Молей и отец только-только улегся, примчался посыльный сказать, что ему срочно надо сойти на берег — звонок из Христиании. Отец был в панике: «Что случилось? Как узнали, что я здесь? Неужели что-нибудь с детьми — о боже!»

Отец оделся, прыгнул в лодку и как одержимый принялся грести. Запыхавшись, он ворвался на телеграф: «В чем дело, кто меня вызывает?»—«Да это газета «Сюннмёрепост» просит вас, профессор, позвонить в газету «Вердене Ганг». Дело в том, что кто-то достиг Северного полюса».

Господи! Всего-то!

Он пишет в дневнике: «Я возликовал от облегчения. Значит, с детьми ничего не случилось, а я-то думал, меня наверняка вызывают из-за них. А потом я рассвирепел, какое мне, к черту, дело, что кто-то там вернулся с Северного полюса».

Связь с Христианией оборвалась и могла восстановиться только через час.

«Спасибо, но ждать я не буду. Если будут снова звонить, передайте, что сегодня я больше не сойду на берег».

Уже в постели он продолжает размышлять:

«Когда-то Северный полюс был для меня делом всей жизни. Я мог и должен был внести свой вклад в это дело. А потом кончилось это, и новые дела заполнили мою жизнь. И сейчас мне настолько это неинтересно, что даже не хочется сойти на берег и узнать подробности. Должно быть, это Пири наконец-то добился своего. Настойчивости у него .не отнимешь — год за годом тратить на это.

Но сейчас я занялся, насколько это удастся мне, новыми задачами, а когда я справлюсь с ними — что дальше? Все вспыхивает, горит и гаснет. И вот все кончилось. Для чего же мы живем? Ради химер? Славы? Она как маленькое розовое облачко, недолго светящееся на закате. Оно тает в огромном-огромном пространстве, без следа.

За иллюминатором ветер, дождь, жизнь собачья — единственное, что я знаю наверняка. А чего ради? Уж никак не ради славы! Хотя, как знать, может, она занозой притаилась в глубине души».

Несколько дней спустя «Веслемей» взяла курс на юг, а отец так и не удосужился узнать, кто же все-таки достиг полюса.

«Вот и это плавание кончается. Ты не достиг того, на что надеялся, но, может, удалось что-то другое? Разве не такова вся жизнь? Вечно кропотливо готовишься совершить что-нибудь великое, и всегда неизбежно получается нечто совсем другое, случайное, сделанное средненько и не доведенное до конца. Я всматриваюсь в дождь и туман над плоскими голыми островками. Да, кругом нет ничего притягивающего взор, ничего приметного, никакого крупного ориентира, зато множество мелких островков, разбросанных среди шхер, так что можно отыскать фарватер. Все равно какой, они так неразлично схожи, даже безразлично. Огромное серое безразличие. Ничто не манит.

Впрочем, нет — дети. Все, что утрачено и упущено, воскреснет в них и, кто знает, возможно, осуществится ими. В их жизни ты можешь участвовать и построить ее лучше. Или, вернее, испортить». [\(25\)](#)

## II. ГОДЫ СОМНЕНИЙ

Горе оставило свои следы на лице моего отца. Морщинки стали глубже, волосы поредели, и от этого лоб стал выше. Все это мне бросилось в глаза, когда отец вернулся осенью 1909 года, хотя он был оживлен и рад нашей встрече.

Он принялся за работу, но как-то без радости. А тут еще надо воспитывать пятерых детей, тоже нелегкое дело. С тремя младшими было проще, они еще очень доверчивы и податливы. Да и Хельга хорошо за ними следила и следила за их уроками. Этим летом Имми исполнилось девять, Одду почти восемь. Каждый и чем-то походил на маму: у Одда ее волосы, тот же рот и подбородок, ее карие глаза, в которых, присмотревшись, можно было различить серые и золотистые оттенки.



Имми голубоглаза, как отец, и ее коротенькие косички такие же светлые. Но стройной фигуркой и живостью личика она скорее пошла в маму. Отец всякий раз с волнением замечал это. Наш младший, шестилетний Осмунд, тоже был голубоглазым и светловолосым, но с чуть более удлиненным лицом, чем у старших. Он вроде бы ни на кого особенно не был похож, и все же семейное сходство бросалось в глаза с первого взгляда.

Характеры у них были совершенно разные, что нисколько не мешало им дружить. Имми жизнь казалась игрой. Она не любила смирно сидеть за партой и не слишком-то внимательно слушала учителей. Но, как девочка добрая и послушная, безропотно принимала и хорошее, и плохое в жизни и всегда была одинаково ласковой. Одд был куда серьезней и решительней. Послушание давалось ему частенько с трудом, если уж он топнет ногой да скажет «не хочу», тут уж весь дом его услышит. Но он скоро сообразил, что при отце лучше помалкивать. Тогда Одд только крепко сжимал зубы. Впрочем, отцу нравилось упрямство Одда, он нисколько не жалел, что сын уродился с таким своенравным характером. Направлять его было нелегко, но приходилось, чтобы парень совсем не распустился!

Мальш Осмунд был сама доброта. Он был так простодушен и доверчив, что здесь папины педагогические принципы отпадали сами собой. Мальчик несколько отставал в развитии, нечисто выговаривал слова и волочил ножки, однако же мы нисколько не сомневались, что все это пройдет с годами. В остальном он был совершенно нормален, хорошо запоминал все услышанное и увиденное и был наблюдателен, как все дети. Зато как он умел смеяться над чем-нибудь забавным!

В общем, все трое были счастливыми детьми и росли на радость отцу. Со мной же и Коре ему было труднее. Временами мне казалось, что, если бы отец обращался со мной, шестнадцатилетней, как со взрослой, и не держал одиннадцатилетнего Коре в такой строгости, а был бы с нами поласковой, то добивался бы куда большего; и нам, и отцу жилось бы тогда гораздо легче. Но отец вовсе не хотел, чтобы нам было легко, он стремился воспитать в нас силу характера, чтобы мы выросли независимыми и толковыми. Но его «воспитание» давало скорее обратные результаты.

Одно мы усвоили — никогда не греться в лучах отцовской славы. Если неумные люди начинали охать и ахать над нами, какой, мол, у нас «великий отец», мы только смущались и в душе проклинали отцовскую славу.

Мы научились радоваться природе. В лесу и горах мы были с отцом товарищами, и мы, и он чувствовали себя там проще, чем в Пульхёгде. Во время воскресных прогулок на лыжах отец делался совсем другим человеком. Конечно, нелегко нам было поспевать за ним, когда он прибавлял шаг, но мы с радостью уступали ему первенство на лыжне, тем более что от этого его настроение только улучшалось.

Отец особенно любил короткие прогулки по холмам Уллерноса потому, что в былые времена не раз катался здесь с мамой. При спуске с вершины я всякий раз попадала в одну и ту же яму. Отец всегда останавливался посмотреть — а вдруг я наконец удержусь на ногах, но я всегда падала, может, еще и потому, что он стоял и смотрел. Тогда отец смеялся: «Вот и ты, как и мама, всегда здесь приземляешься!»

Поэтому мы называли это коварное место «Евиной ямой».

Коре давно уже научился ходить на лыжах так, что отец был им доволен, а теперь и Одд с Имми тоже стали хорошо кататься. Бедняжке Осмунду нелегко было удерживать равновесие, но и он старался не отставать от старших. Раз за разом пробовал он съехать на лыжах прямо во двор Пульхёгды, но обычно падал еще на полпути. Сам он только смеялся. Ему и в голову не приходило позавидовать старшим братьям и сестре, когда те, набирая скорость от вершины холма, красиво сворачивали прямо во двор. Когда отец выходил посмотреть на них, Осмунд стоял рядом с ним, держась за его руку, и не меньше отца гордился успехами старших.

С учебой дело обстояло хуже. Здесь отец не так явно проявлял свой восторг. В отношении меня он и вовсе пришел в растерянность, потому что никто не знал, чем бы меня занять после окончания школы. Однажды он пришел и сказал, что ему «повезло» и для меня нашлось место в

пансионате в Швейцарии. Там я научусь французскому — барышне это, пожалуй, пригодится. Отец думал, что я обрадуюсь.

Радоваться? У меня было такое ощущение, словно меня посылают в изгнание, что я слишком надоела отцу и он хочет на время отделаться от меня. Я была и разъярена, и несчастна одновременно. Отец просто не мог понять мое нежелание путешествовать и повидать чужие страны. Красноречиво описывал он прекрасную Швейцарию: горы, каких я в жизни не видывала, веселые долины, голубые озера, огромные цветущие сады. Все было напрасно, я только редела в три ручья. Но ехать мне все же пришлось.

То, что я увидела, было совсем непохоже на отцовские рассказы. Я увидела скучные равнины с голыми деревьями, низкие бурые холмы, заросшие буком, и внизу длинное, серое и пустынное озеро. Ни разу не мелькнул на нем парус, простых лодок и то не было.

Школа была расположена «на лоне природы», и отец считал это преимуществом, но делать на этом лоне было решительно нечего. Пансионеры были немки или швейцарки из немецких кантонов, но в школе запрещалось говорить по-немецки, а по-французски я не знала еще ни слова. Управляла школой Мадемуазель — толстая, постоянно улыбающаяся матрона, которую я невзлюбила с первого взгляда. Уроки в школе велись на французском, так что были мне пока что недоступны. Не знаю, чему учились другие, мне пришлось заниматься отдельно с Мадемуазель, а это было совсем невесело. Она пыталась наставлять меня также и в «истинной» вере. Я рассказала ей, что меня не крестили, что мой отец вышел из государственной церкви, но даже это ее не отпугнуло. Она учила меня молитвам и псалмам по-французски. Каждое воскресенье нас обязательно водили в церковь. Словом, радости было мало.

Хуже всего, когда учениц, в качестве особой милости, приглашали в покои Мадемуазель послушать ее пение. Пела она, на мой взгляд, ужасно, да еще нахально выбирала песни Шуберта, которые так любила мама, меня это оскорбляло до глубины души.

Я не решилась написать обо всем этом отцу, написала только, что скучаю по дому, на что отец ответил, что нужно «вытерпеть».

Зима тянулась бесконечно. Выпал снег, отец прислал мне лыжи, но снег быстро растаял, так что я успела всего несколько раз покататься с горки рядом со школой, причем остальные ученицы глядели на меня во все глаза.

Когда пришла весна, мы стали парами гулять по дороге, а когда мои товарки хотели «пошиковать», мы тайком бегали в деревню покупать шоколад. Моих карманных денег на такую роскошь не хватало. Отец оставался верен своим принципам, и потому я «приучалась довольствоваться малым» и «вести строгий учет».

Но вот кругом зацвели фруктовые сады, а это — удивительное зрелище. Ученицы могли по желанию отправляться со старой славной учительницей рисования в горы учиться рисовать цветы и деревья. Это мне очень нравилось. А однажды в горы поехала вся школа — посмотреть, как цветут нарциссы. Тогда мне пришлось признать, что отец не обманывал меня: такие высокие горы мне и во сне не снились. И целые поля нарциссов! Мы побывали также в нескольких городах. Но нас повсюду водили стадом, как овец, впереди учительница и позади учительница, а это отравляло нам удовольствие. От Женевы я тем не менее пришла в восторг и послала отцу открытку: «Хорошо бы и тебе побывать в этом городе». Откуда мне было знать, как хорошо познакомится с этим городом отец спустя каких-нибудь десять лет.

В конце марта 1910 года мне написали из дому, что Бьёрнстёрне Бьёрнсон тяжело болен (он тогда находился в Париже). Это очень огорчило меня и особенно потому, что я знала, какой это удар для отца. Он прислал мне книжечку стихов Бьёрнсона, где отметил некоторые стихи. Вот один из них:

Я хочу умереть возле этих холмов,  
Возле гор голубых и лесов,

У себя дома[145].

Значит, этому не суждено было сбыться, подумала я, узнав, что он умер за границей. Тетя Малли потом рассказывала, как его хоронили в Норвегии, и прислала мне газету с речью отца у гроба Бьёрнсона 4 мая: «Она была так хороша,— писала тетя Малли,— она возвышала нас, облегчая нашу скорбь».

Мне же, когда я читала эту речь, казалось, что я узнаю отца таким, каким он был прежде, давным-давно:

«О, какое горе, глубокое, разрывающее сердце горе на всей норвежской земле!

Слова бледны и жалки, разве могут они выразить, как потрясен сейчас весь норвежский народ скорбью невозвратимой утраты, какой он преисполнен глубокой благодарности за все, что было нам дано, за то, чем мы владели.

Когда подплываешь к берегам Норвегии, взор невольно притягивает одинокая вершина, возвышающаяся над кромкой берега. На нее первую падает взгляд, она раньше всех притягивает лучи восходящего солнца, дольше всего сверкает на закате.

Ты был горной вершиной, Бьёрнсон, горной вершиной Норвегии! Когда на чужбине наша мысль обращалась к родине, ты, как вершина Гаусты, возвышался над окрестными холмами.

И вот — нет больше вершины! Вся страна стала плоской. Словно и не та теперь. Никогда уже не поднимется над нашим народом твоя могучая седая голова, и думы наши, как птичьи стаи, устремляющиеся на родину, не видя более знакомой вершины, кружат, бесприютные, словно потеряв направление своего полета.

В трудный век, полный сомнений и отмеченный рефлексией, ты всей жизнью своей, всем своим творчеством стал глашатаем надежды и жизнеутверждения. Какое бы из твоих творений мы ни раскрыли, мы видим, что в любом из них пробиваются всходы, распускаются листики, все зеленеет, наполненное ликующей песнью жаворонка и журчаньем вешних вод. И потому — нельзя даже представить себе, что стало бы с норвежским народом, не будь тебя, на такой вопрос невозможно ответить, как нельзя представить себе, как бы сложился год без весенних дождей.

Тебе было суждено закрыть глаза на чужбине, но твой угасающий взор был обращен к родине. По ночам, в предсмертном забытье, уплывал ты на родину. И вот ты дома».

С этих пор я еще сильнее заскучала по отцу, но уехать домой, не могла. Напротив, отец, после некоторых колебаний, решил, чтобы я погостила в тирольской усадьбе старых мюнхенских друзей нашей семьи. Это была чета Мей. В их большой усадьбе хватало молодежи и развлечений, мы отправлялись в Доломитские горы или в очаровательный городок Бользано — впечатлений накопилось на всю жизнь.

Лишь последнюю неделю омрачило известие о том, что отец снова ушел в плавание и не вернулся домой в назначенный день, а газеты все время сообщали о штормах. Мы с г-жой Мей, заражая беспокойством друг друга, слали письма и телеграммы — все напрасно. Наконец пришла телеграмма, а потом письмо: «Глупышка моя, ну стоит ли волноваться из-за какого-то ветерка на море! Надо же выдумать — послать сразу кучу телеграмм». Но в конце письма все же написал «моя дорогая, славная, добрая девочка» и «твой соскучившийся папа».

Но «соскучившийся папа» отослал меня обратно в пансионат, чтобы я «дотерпела» там последние два месяца. А потом предстояло провести еще несколько недель в гостях у четы Мей в Мюнхене. Боюсь, что «терпение» — не то слово, когда речь идет о неделях, проведенных в гостях у семейства Мей. Я так восторженно описывала свою жизнь в Мюнхене и эту милую семью, в которой меня приняли, как родную, что даже отец призадумался. Он писал мне, что не следует забывать отца и братьев и сестру. Не пора ли вернуться домой?

Одним прекрасным утром паровозик, пыхтя, тащил вагоны по северному побережью Христианияфьорда. Меня переполняла радость. Первым я увидела Хелланд-Хансена. Его долговязая фигура совершенно неожиданно появилась перед окном моего вагона на станции Мосс. Оказывается, он ехал этим же поездом от самого Копенгагена. Господи, как мы болтали! Еще не доехав до Христиании, мы уговорились, что летом я навещу всю их семью в Согне, где они сняли на лето домик. В июле отец собирался прийти туда на «Веслемей» и вместе с Бьёрном Хелланд-Хансеном заняться исследованием фьорда.

На Восточном вокзале меня встретил отец. Встречу нашу описать невозможно. На улице нас дожидались маленькие наши лошадки, запряженные в старую коляску; и каждый верстовой столб, каждый поворот дороги на Люсакер радостно здоровались со мной. Мне казалось, что со времени моего отъезда прошла целая жизнь. Долго не меркла радость возвращения, и отец тоже был оживлен. Если ему и бывало трудно, он не подавал вида. Я была очень рада такой перемене в нем и поделилась этим с тетей Малли. Она тоже считала, что отец теперь примирился со своим одиночеством.

Но по его дневнику видно, как часто им овладевали мрачные мысли, как нелегко преодолевал он свое уныние. Незадолго до моего приезда он писал у себя в башне:

«Все время мне вспоминается, как олицетворение одиночества, лавовый островок в Ледовитом океане. Кратерный ландшафт: круглые зеленые долины в таинственном туманном мерцании, все будто неземное. Вот таков мой мир — никому неведом, необитаем. Но долгими ночами я возделываю этот край: то это Аиайа перед восходом солнца, то индейский Утара Куру, где растут целые леса благоухающих цветов, где текут реки струящегося хрусталя, где людям дано забыться».

Чуть ниже он пишет:

«Вокруг стоит полярная ночь, безмолвная и величественная, с застывшими равнинами и высокими звездами, в этой тиши сильнее бьется сердце, ощущая всю ценность жизни. Какое счастье борьба, какое счастье тосковать по тем, кто ждет тебя!

Бедная, горемычная душа! Борьба давно окончена, и никто тебя уже не ждет».

С наступлением лета я сушей уехала к Хелланд-Хансенам. Отец собирался прибыть туда позднее на «Веслемей». В глубине большого сада среди фруктовых деревьев и ягодных кустов притаился домик, который называли «Экедаль»<sup>[146]</sup>. Во дворе и впрямь рос огромный дуб, и сквозь его длинные суковатые ветви просвечивал Согнефьорд, казавшийся зеленовато-серым под высокими снеговыми горами. Меня радостно встретили три поколения Хелланд-Хансенов.

На противоположном берегу фьорда стоял фешенебельный туристский отель. Мы презрительно поглядывали на его изысканную публику и с неприязнью — на громады немецких военных кораблей, которые расположились в глубине фьорда. На одном из них, «Гогенцоллерне», находился Вильгельм II. Эти корабли казались здесь чужими и неуместными. Но прямо за нашими окнами виднелось маленькое исследовательское судно с молодыми учеными на борту, оно было нашим.

Однажды мы заметили далеко во фьорде маленькую белую точку и чуть не подрались из-за бинокля. Конечно, это «Веслемей». Вскоре мы услышали стук мотора и наконец знакомое отцовское «эгей!» Но мы и так уже высыпали на причал.

В таком хорошем настроении, как летом 1911 года, мне редко — а может, и никогда более — приходилось видеть отца. Он был неизменно приветлив и весел — отправлялись ли мы исследовать фьорд, и тогда он стоял на палубе и, узнавая окрестности, показывал нам, где бывал в молодости; уходили ли в горы, захватив завтрак, обмерять ледники; сидели ли на скамейках вокруг стола под дубом, слушая его рассказы. Дети Хелланд-Хансенов ошалели от радости — никогда еще не бывало у них такого веселого товарища. На «Веслемей» он затевал с ними игру в прятки. Он надевал одну из их красных островерхих шапочек и совершенно неожиданно показывался то в одном люке, то в другом. Дети прозвали его «гномом», и прозвище это осталось за ним на все лето. В усадьбе он

растягивался на траве и позволял детям ползать по себе или кувыркался с ними — кто лучше. Однажды брюки его не выдержали — лопнули по всему шву сзади. Он сманеврировал задним ходом в дом, а едва появился в тесноватых ему брюках Хелланд-Хансена, как снова пошло веселье.

Старая трогательная чета, Мария и Вильхельм Хольт, у которых отец жил, учась в Бергене, приехала провести «приемного сына», и на берегу, обняв фру Марию, отец с чувством декламировал «Вновь вижу я и горы, и долины»<sup>[147]</sup>. Один из друзей отца, профессор Генрик Мон, жил с женой и дочерью в отеле по другую сторону фьорда, и мы частенько отправлялись за ними на лодках. Отец и Мон часами простаивали на холме, глядя на звезды, — оба такие ученые!

Единственное, что портило отцу настроение, — это расположившиеся во фьорде германские корабли, исследовавшие буквально каждый его метр. В половине четвертого утра матросы уже спустили шлюпки на воду и принимались измерять глубину. Отца все больше раздражала эта возня. «Ну и ну, — ворчал он, — занятно проявляется любовь кайзера Вильгельма к Норвегии», — и подсмеивался над «ошалевшими» дамами из отеля, которые обожали глазеть на императорские шлюпочные гонки или мечтали побывать на балу на корабле кайзера. О том, чтобы я отправилась на эти балы, не могло быть и речи, но у меня и не было такого желания. Время и так проходит слишком быстро, скоро август, и тогда отец уйдет на «Веслемей» дальше в море, а я поеду на юг в Мандаль погостить у подруги.

Отец задумал для меня чудесное путешествие через Гудванген и Восс. Больше всего меня привлекало в нем то, что я увижу Сталхеймские обрывы, по которым отец бродил мальчишкой. И вот настал день, когда мы на двух шхунах направились к Гудвангену. В узком Нэрефьорде нависающие горы заслонили солнце, с уступа на уступ белым серпантинном стремительно низвергались в море горные ручьи. Мы с отцом, обнявшись, стояли на палубе:

«Ну вот, девочка, и этой сказке конец», — вздохнул отец. «Почему бы это?» — подумалось мне, и я сказала: «Папа, а может, нам лучше вернуться?»

Он вздрогнул: «Можно, конечно, если тебе так хочется...» И вдруг расхохотался: «Подумать только, выманить всех на прогулку к Гудвангену, потратить целый день — и вернуться!» — он рассмеялся еще сильнее.

«Девочка передумала! — крикнул он на вторую шхуну, которая пыхтела чуть впереди нас. — Поворачиваем!»

К счастью, никто не обиделся на меня за этот каприз, напротив, все только обрадовались моему решению. Назад возвращались весело и провели еще один славный вечер в «Экедале». Но я так никогда и не повидала отцовских Сталхеймских обрывов.

От залитого солнцем Балестранна путь «Веслемей» лежал к Шетландским островам, и отец вел наблюдения и на море, и на суше. При входе в гавань Ларвик он встретил 150 шхун, которые шли ставить сети. Наутро они вернулись с уловом, и на причалах поднялось невиданное оживление. «Видимо, этот край бурно развивается», — подумал Нансен. Он пустился в разговоры с жителями, чтобы разузнать все хорошенько, но сведения оказались невеселыми. Только три судна были местные, а купцы на причалах — тоже большей частью приезжие. Нансен предпринял небольшую поездку по Шетландским островам, но все, что он увидел, также было малоутешительным. Лишь кое-где попадались крестьянские дворы, земля, вроде бы и неплохая, не возделывалась.

Нансена это заставило задуматься. По возвращении на западное побережье Норвегии он сравнил здешние условия с шетландскими. Здесь на каждом шагу видишь кооперации, занимающиеся ловом салаки. Аккуратные домики свежепокрашены, а фруктовые садики около них тщательно ухожены. По склонам гор террасами располагаются картофельные поля и покосы, не пропадает зря ни один уступ. Ничего не скажешь, норвежцы и впрямь предприимчивый народ. Почти всюду видишь жизнь и деятельность. Но чего нам не хватает, по убеждению Нансена, так это умения со знанием дела разобраться во всем и предвосхитить будущее.

Только в Арендале, куда яхта зашла на обратном пути, отец вновь берется за дневник. Он обнаружил, что «Веслемей» ошвартовалась у того же причала, где после плавания в Ледовитом

океане стоял «Викинг», и ему живо представились буйные матросы, едва не перевернувшие вверх дном тихий городок.

«Я вижу все так ясно, будто это было вчера, а ведь с того дня столько пережито. Тогда я был молод, еще не знал жизни, и целое будущее, заключающее самые разные возможности, едва-едва приоткрылось передо мной. А сейчас? Жизнь, можно сказать, уже прожита, но все-таки... По мне, так я вообще не повзрослел, остался таким же мальчишкой, тем же неисправимым идеалистом, сохранившим веру в добро, идеалистом, которого жизнь так ничему и не научила. По-прежнему я полон планов, столько нужно еще сделать, мне кажется, я не сделал ничего ценного, но еще успею — как будто жизнь бесконечна, а силы еще не растрчены. Сейчас мне пятьдесят, через десять лет будет шестьдесят, когда-то я считал таких людей стариками. А разве эти десять лет позволят мне сделать все, что нужно, раз я то и дело отвлекаюсь надолго, как случилось, например, с моей последней книгой о туманах Севера. А что если придется отвлечься еще не раз?

Я только что вернулся из плавания и, кажется, сделал большое открытие. Ведь я осуществил, и удачно, семилетней давности идею об измерении скорости морских течений с помощью постановки судна на плавучие якоря. Мне кажется, что теперь открылось много возможностей по-новому решать загадки моря, изучать морские течения — я богат, как бог, и полон сил, как в юности. А ведь моей дочери почти столько же лет, сколько было мне двадцать девять лет назад, а моему уже почти взрослому сыну предстоит тот же путь сквозь свет и глубокие тени жизни.

Порой бывает так тяжело, серо, пасмурно; порой — кругом столько красоты! Вот как тогда, когда я вел «Веслемей» мимо скал Торунга и позади во мраке расстиралось море. Низко над морем стояла луна, изжелта-красная, сверкая в широкой кильватерной полосе; сзади, рядом с луной,— огни двух маяков, а дальше темный берег. Впереди пенятся волны, играющие у бортов «Веслемей», образуя блики морского свечения. И вот открылся залив, где между двух темных отвесных стен, весь в мерцающих огнях,— город. Попробуй не поддаться лунной, звездной ночи и сверканию темного моря, в котором разбросаны лесистые острова,— тут и пятьдесят лет не спасут. А если тебе двадцать один? Да, разница, конечно, есть. Тогда все твое существо растворялось в этой красоте, тебя уносило в иной мир, забывалось все земное.

Но таков уж ход времени. Возвращаясь из каждого плавания, что-то прибавляешь к кладовым своих знаний, как пчела возвращается в улей, но где же мед? О, его совсем немного, и он вовсе не сладок. Да и для кого он собран? Для чего?

Труд и тяготы, и снова изнурительный труд в непрестанной погоне за будущим без цели».

Странно читать этот дневник. Записи тех лет, когда жива пыли мама, носят совсем другой характер. Правда, тогда тоже попадались рассуждения о жизни и людях, но не было никаких попыток самоанализа. Чаще всего встречаются описания природы или высказывания о политике, религии, музыке, искусстве, театре и о других вещах, интересовавших его. И довольно крепкие выражения по поводу непосильного труда в Лондоне и всей той нелепой дипломатической возни, в которой он вынужден принимать участие. Все это — размышления, которые он позднее использует в своих речах, статьях, книгах. Приехав в апреле 1906 года в Лондон, он часто спрашивал сам себя, как получилось, что он согласился на такую должность.

«Мне присылали поздравления многие, даже король, все в общем умные люди. Если б они только знали, как мне противна эта жизнь и как мало я для нас пригоден. Но я заметил, что многие стали относиться ко мне с большим почтением, еще бы, ведь это такое «повышение», теперь мне и цена другая».

Прожив в Лондоне некоторое время, он развивает свою мысль:

«Нольшинство людей, по-моему, думают в первую очередь о том, какое впечатление они производят на других, даже на своих подчиненных. Многие остерегаются высказать свое мнение



по сложному вопросу из боязни показаться дураком. Другие высказываются туманно, надеясь придать себе значительности. Всю свою жизнь мы стремимся выглядеть в глазах людей такими, какими они хотели бы нас видеть. Кто живет ради себя самого? Кто живет своей собственной жизнью? Кто в состоянии избежать этой бессмысленной траты времени?»

Он выступил в Лондоне с речью на тему «Наука и мораль», которая через год, уже после смерти мамы, была напечатана и в журнале «Самтиден». Появилась статья, критиковавшая точку зрения отца, и он приготовил несколько черновиков ответа, но так и не смог его закончить. Он был слишком подавлен, чтобы сосредоточиться, а может быть, в это тяжелое для него время ему показалось бессмысленным теоретизировать о подобных вещах.

«Неоспоримо,— говорил он в Лондоне,— что, если нас неожиданно спросят, в чем цель жизни, большинство смутится, не зная, что сказать. У нас всегда наготове объяснение для любой мелочи, которая предназначена поддерживать или заполнять жизнь, но если вопрос касается самой жизни, многие из нас подумают, прежде чем ответить; и вряд ли найдутся хотя бы два человека, которые одинаково на него ответят. Разгадка, очевидно, в том, что само понятие «цель» свойственно лишь органическому миру. Именно оно главенствует в борьбе за существование и в законе «survival of the fittest»<sup>[148]</sup>. В существовании любого органа должна быть цель, и зоолог, открывший у животного новый орган, первым делом старается выяснить назначение этого органа.

Но этот принцип неприменим к энергии, а жизнь есть форма энергии. Спрашивать, в чем цель жизни или цель органического мира, примерно то же, что спрашивать, в чем цель вращения Земли».

Самое главное, утверждал Нансен,— использовать эту жизнь как можно полнее. В каждом гражданине должно воспитывать сознание того, что его единственный долг по отношению к самому себе и другим состоит в том, чтобы развить отпущенные ему природой способности и быть счастливым. Тем самым он будет способствовать и счастью других. Пусть будет понято до конца, что меланхолия и пессимизм, даже если они и привлекательны.— порок, поскольку ведут к бездействию, а это порок не меньший, чем любой другой. Их нужно избегать, последовательно вырабатывая умение владеть собой. Жизнь сама по себе богата, прекрасна, полна возможностей, пусть молодой человек научится видеть это и не стремится к несуществующему. Ему нужно объяснить глубокую истину, заключенную в изречении короля Альфреда<sup>[149]</sup>:

Кто добродетелен, тот мудр,  
а тот, кто мудр, тот добр,  
а тот, кто добр, тот счастлив.

В годы после смерти матери дневник стал более личным и все больше определяется настроением отца. Правда, в нем еще встречаются рассуждения общего порядка — как, например, в 1909 году, когда он внезапно написал небольшое исследование о своем понимании социализма. Но теперь подобные рассуждения — исключение, в основном отец дает волю своей удрученности.

Отец всегда, в любых обстоятельствах, умел владеть собой. Этому он научился еще ребенком, во Фрёене, и на всю жизнь. Весь их род был таким. И он никогда не был бездейственным, именно эти два качества помогали ему спастись от меланхолии и пессимизма, которые он в своей лондонской речи назвал «пороком, не меньшим, чем любой другой». Ему кажется, что будущее потеряло смысл, что настала пора произвести переоценку ценностей. На каждой странице его дневника лежит тень — будто писал его человек, пристально вглядывающийся в прошлое, весь погруженный в себя, в тягостные думы, утративший надежду. Только после плавания на «Фраме» было у него подобное состояние депрессии. Те три года, проведенные вдали от мира, превратили его в человека,



лишенного корней, и ему не сразу удалось вновь обрести себя. Но тогда рядом с ним была любящая женщина, которой удалось вырвать его из состояния отрешенности.

Сейчас он был предоставлен самому себе — нет Евы, нет и окружавшего его прежде внимания всего народа. Старые заветы Фреена — честь и долг — остаются в силе, конечно, но их недостаточно в этой ситуации. Все стало ему безразлично, только скорбь по Еве живет в нем. Он борется со своими мрачными думами, пытается найти новую опору, новую веру и новое дело, которое вновь пробудит его энергию и свяжет его с людьми. Может даже показаться, будто этот многоопытный человек лишь сейчас по-настоящему достигает зрелости. Я думаю, именно эти годы неуверенности и уныния подготовили его в известной степени к той гуманной миссии, которую он взял на себя позднее. Медленно, преодоления свои сомнения и приступы тоски, он готовит себя к ней. Зная, как сильно было развито у Нансена чувство, ответственности, можно представить, как глубоко переживал он собственное крушение.

В свое время Арне Гарборг считал Нансена олицетворением противоречий Пера Гюнта. После подвигов Нансена в восьмидесятые — девяностые годы он писал: «Цельным человеком является тот, для кого характерно единство мыслей, слов и действий». И он правильно понял отца. Сам отец сознательно сделал своим идеалом Бранда; но это было до того, как он осознал на себе самом правду сложной психологии Пера Гюнта. И я не уверена, что теперь, когда он отведал испытаний Пера Гюнта, Бранд остался его идеалом. В характере Бранда не хватало качеств, которые теперь стали для отца главными, — терпимости, способности сомневаться и строить отношения с людьми на любви, а не на требовательности.

Дневник рассказывает об этой внутренней борьбе, о том, как оптимиста и человека дела Фритьофа Нансена бросало от уныния и жгучей тоски к новым надеждам и новым целям. Это не поспешно набросанные, чтобы принести минутное облегчение, строки. Дневник четко оформлен и так же подробен, как раньше. Собственные мысли для него — это задачи, в которых нужно разобраться, найти связь и смысл. Похоже, он все время думает о том, что дневник переживет его и станет правдивым свидетелем того, что с ним происходило. Здесь не встретишь ни одного компрометирующего имени, никаких событий, которые могли бы бросить на кого-то тень.

Конечно, он искренне верил в то, что писал в 1911 году: «Жизнь уже позади». Он искренне считал, что «мед, собранный после всех трудов, несладок». Но он не примирился с этим, как сам полагал. Кровь была и молода, и горяча. В некотором смысле этот пожилой человек был даже большим романтиком, чем тот юноша, который двадцать девять лет назад высадился на этом причале в Арендале. Не погасло в нем стремление к счастью. Он по-прежнему оставался мечтателем, тоскующим по нежности. Только найти ее не просто. Кто терпелив, нежен и понимает все без слов? Кто понимает его противоречия? Кому он может открыться?

«Я знал одну-единственную».

### III. В БАШНЕ И В МОРЕ

Осенью 1911 года я просто неудачно выбрала момент, когда попросила у отца разрешения заняться живописью. Он был по-прежнему глубоко убежден, что самое правильное — посвятить себя чему-нибудь одному и не разбрасываться. Не знаю, что было бы, задай я этот вопрос годом позже, но именно в 1911 году отец был особенно увлечен мыслью о необходимости сосредоточенности. Он готовил выступление о воспитании народа, и главной его мыслью была идея собранности.

Конечно, в ответ я слышала: «Воля твоя, только выбирай — либо пение, либо живопись».

По сути дела, я уже выбрала — мои занятия пением с тетей Малли шли полным ходом, бросать их я и не думала. А потому о новых увлечениях пришлось помалкивать. Вскоре после этого разговора по своему легкомыслию я завела с отцом речь о том, что я хотела бы поучиться стряпать. Я сама видела, что на кухне совершенно беспомощна, и решила, что не вредно бы немножечко подучиться.

«Немножечко!— взорвался отец.— Вот-вот, то за одно схватиться, то за другое. Хочешь учиться хозяйничать — иди в школу домоводства, там тебя как следует выучат».

Нет уж, спасибо! В школе домоводства полагалось учиться целый год, да еще и жить там же. Нет, я совсем не об этом думала. Отцу же эта идея понравилась, и после нашего разговора он то и дело к ней возвращался. У меня пропало всякое желание учиться готовить, и я отвечала ему его же словами: «Не хочу разбрасываться, я уже выбрала пение».

Отец назвал свою речь, над которой тогда работал, «Дилетантство и народное воспитание». Его выступление состоялось в декабре 1912 года в Студенческом обществе.

Он начал так: «Я хочу поговорить с молодежью о том, как дилетантизм, подобно раковой опухоли, разъедает наше общество. К нам, старикам, относятся слова Моисея: «Этот род должен умереть»».

Дилетантом является всякий, кто, не будучи специалистом в данной области, берется, однако, судить обо всем. «Преувеличенное уважение к общему образованию порождает дилетантизм в ущерб подлинно глубоким знаниям. Если все получают лишь общее образование, это, без сомнения, только ухудшит положение в стране».

Наши народные университеты явились отчасти рассадником верхоглядства, хотя в последнее время и стали давать более глубокие специальные знания. Единственно ценное, чему они могли бы научить,— это уметь поднимать любую целину, но этому не научишься, если учиться всему понемножку, хватаясь то за одно, то за другое.

«К каким страшным последствиям приводит дилетантство и засилье невежд, можно видеть на примере нашего города. Как замечательно он расположен, каким прекрасным мог бы он стать!

И как похозяйничали в нем глупость и произвол, загубив все его прекрасные возможности».

Процветает дилетантство и в политической-жизни... «А что такое норвежский стортинг, как не рассадник того же самого дилетантства и невежества? Не в обиду ему будь сказано, но другим он и быть не может, ибо это вытекает из самой сущности этого института. Но дилетантство приводит к легкомыслию и безответственности. Чего мы только не вытворяли в 1892 году! Мы всей душой желали мира, а сами своей политикой то и дело провоцировали Швецию. Положение создалось угрожающее, но мы были настолько не готовы к обороне, что иностранный военный флот мог бы, не встретив ни малейшего сопротивления, подойти к самой Христиании. В 1895 году эта политика пережила свое Ватерлоо. У власти стояли все те же люди, и никто из них не чувствовал, какая на нем лежит ответственность. Дилетантство несовместимо с чувством ответственности...»

Оно не только опасно, но к тому же дорого обходится. Примеры тому — строительство Бергенской железной дороги, когда пришлось заменять легкие рельсы тяжелыми; проблемы охраны китов; узкая железнодорожная колея и многое другое. «Засилье профанов доходит до такого абсурда, когда какой-нибудь аптекарь или заводчик выступает в стортинге и решает, где надлежит жить и работать ученому — здесь или в Бергене,— а соображения специалистов не принимаются во внимание».

Нансен рассказал в этом выступлении, как летом 1911 года он побывал на маяке Престекьер для измерения горных высот. Там он видел, как трудолюбивы и непритязательны местные жители, как тщательно обрабатывают они каждый клочок земли. Хозяйствуй мы так же рачительно по всей стране, дела шли бы совсем по-иному! «Нам нужно добиться того, чтобы Норвегией правили знающие свое дело люди, умеющие вовремя заметить любую частную инициативу, чтобы все заложенные в нашей стране возможности развивались и использовались столь же тщательно, как нозделываются картофельные поля в Престекьере».

Ученым, на историю с которым ссылался отец, был Хелланд-Хансен. Он, к величайшей своей досаде, так и не получил места и Христианийском университете. В 1910 году Бергенский музей ходатайствовал о том, чтобы его назначили профессором у них. В 1911 году аптекарь Лотте, выступая в дебатах в стортинге по пому вопросу, с большой горячностью доказывал, что необходимо

удержать ученого в Бергене. Впоследствии, наблюдая бурное развитие науки в Бергене, отец сам признал правильным переезд туда Хелланд-Хансена и пристально следил за всем происходящим там.

Не менее заинтересован он был в создании задуманного Хелланд-Хансеном целого геофизического института и надеялся привлечь туда для метеорологических исследований профессора Вильгельма Бьеркнеса.

Хелланд-Хансен изложил свой план в 1916 году, он не хотел начинать строительство, пока не будут утверждены окончательно отпущенные на него средства. В 1917 году институт был учрежден, и в том же году в Берген переехал Бьеркнес с несколькими учениками. Тем самым была заложена основа норвежской синоптической школы, известной под названием «Бергенская школа».

Хотя отец и поддерживал всячески научную работу в Бергене, сам он всегда жалел, что Хелланд-Хансена нет в Христиании. Правда, оба усиленно пользовались Бергенской дорогой, но случалось, что Хелланд-Хансен не мог оторваться от работы в Бергене и приехать в Христианию.

«Такому человеку следовало бы жить не в провинции,— ворчал отец.— Какая жалость, что ему вместо науки приходится тратить время на множество других дел». Под «наукой» отец в первую очередь подразумевал их общую работу. Им удивительно хорошо работалось вместе, как коллеги они замечательно дополняли друг друга. Когда Хансену не доставало математических знаний, выручал Хелланд-Хансен, а когда тот слишком увлекался вычислениями, Хансен помогал ему сохранить целостное представление о предмете исследования.

Я хорошо помню радость отца, когда однажды Бьёрн распутал какую-то хитрую задачу. Сам отец увяз в каких-то мелочах и бился над ними сутки напролет. «Но тут явился Хелланд, посмотрел свежим взглядом и сразу нашел, в чем загвоздка,— говорил он, смеясь,— и все сразу прояснилось». В такие мгновенья отец бывал счастлив.

Впрочем, прав, вероятно, Хелланд-Хансен, говоря, что сейчас трудно установить точно долю труда каждого из них. Во всяком случае, результатом их сотрудничества явился целый ряд крупных и более мелких работ, публиковавшихся по мере их завершения. Основной их труд — «The Norwegian Sea»<sup>[150]</sup>, законченный в 1909 году. Другое крупное исследование — «Temperaturschwankungen des Nordatlantischen Ozeans und der Atmosphäre»<sup>[151]</sup>. В этих и во многих последующих работах освещался целый ряд интересных особенностей и закономерностей режима Норвежского моря и Атлантического океана, где, между прочим, были обнаружены крупные завихрения.

Рассматриваются также вопросы о влиянии солнечной активности и солнечной радиации на морские течения и климат, на содержание солей, а также биологическую продуктивность моря, которая, кроме того, зависит от температуры воздуха и воды, и многие другие вопросы.

Некоторые исследования возрастного контингента рыб привели позднее к новым выводам, поскольку материал первоначальных исследований основывался на наблюдениях за небольшой ряд лет. В целом все эти работы имели крупное значение для развития океанографии, а некоторые из них даже считаются основополагающими.

Конечно, это отнюдь не беллетристика. И я понимала не очень много, когда отец показывал мне страницы, сплошь покрытые схемами, таблицами, цифрами. Но он на это не сердился. Бывало шутил: «Нет, кроме меня, Хелланда да еще кой-кого, немногим доставит удовольствие наша работа. Но для познания моря, а следовательно, и всего земного шара она, пожалуй, будет иметь кой-какое значение. Мы утешимся и этим».

В действительности, по словам Хелланд-Хансена, со многими проблемами, которыми позднее занимался отец, он впервые столкнулся при обработке материалов, собранных во время экспедиции на «Фраме». Не все светила науки и не сразу согласились с его выводами, потому что они были построены на совершенно новых теориях. Примером может служить открытие, сделанное отцом при обработке данных, полученных в северо-восточной части Атлантического океана. Оказалось, что глубинные водные массы, в отличие от поверхностных слоев, движутся на север, а не на юг, как считалось до сих пор.

Хелланд-Хансен писал: «Еще одна еретическая мысль». Нансену не довелось узнать, что непосредственные измерения течений, сделанные Хелланд-Хансеном летом 1930 года на борту судна «Армауэр Хансен», доказали его правоту.

После 1910 года в Норвегии с небывалым до сих пор размахом стали проводиться планомерные морские исследования, Нансен внимательно следил за ними и помогал их организовать. Летом 1910 года он вместе с Юханом Йортом, Хелланд-Хансеном и группой английских ученых занимался исследованиями Атлантического океана на судне «Микаэль Сарс». На севере, у границы с Норвежским морем, на «Фраме» работал Руал Амундсен, а само Норвежское море досталось Нансену. На канонерке «Фритьоф» он плавал у берегов Гренландии и Исландии. Все три экспедиции сотрудничали в изучении наиболее важных для Норвегии районов Атлантического океана. В эти годы наша страна стала ведущей в изучении моря, и многие из достигнутых тогда результатов имеют непреходящую ценность для судоходства, рыболовства и промыслов, а также для постоянной службы прогнозирования погоды.

В 1908 году отец стал профессором океанографии в Христианском университете. Эта профессура была учреждена как почетная должность специально для Нансена и не обязывала его к активной преподавательской работе, но отец все же читал лекции. Он не только посвящал студентов в тайны моря, но и стремился научить их методике научных исследований.

Больше всего занимали отца вопросы усовершенствования методов исследований и приборов. Он постоянно внушал молодежи, что основой всякого научного исследования является точность и тщательность. Будучи руководителем Международной лаборатории по изучению морей, он неустанно трудился над усовершенствованием приборов и методики исследований и в этом отношении оказал большое влияние на последующее развитие океанографии.

Наряду с этим отец занимался историческими изысканиями для своей книги «Во льдах и туманах Севера», над которой он начал работать в 1906 году в Лондоне. Книга выходила отдельными выпусками начиная с 1909 года. Я тогда училась в швейцарском пансионате, и книжки мне пересылали туда по почте, так что постепенно на моем столе нагромодилась их целая кipa. Правда, лишь в 1911 году, когда книга вышла одним толстым томом, я по-настоящему оценила, какой в нее вложен титанический труд. Тогда я почувствовала уважение к толстой книге, к тому же еще и очень красивой, снабженной собственными рисунками и виньетками отца, старинными картами, печатями и иллюстрациями.

Думаю, что отец и сам гордился этой книгой, хоть и называл ее одним из «роковых посторонних увлечений».

«Почему нельзя считать эту работу такой же ценной, как изучение моря?» — думала я, и Мольтке Му был согласен со мной. С самого начала он с интересом следил за этим занятием отца. В работе над некоторыми частями книги Мольтке, великолепно знавший народные сказания, оказал отцу бесценную помощь.

В предисловии к книге указывается: «Мне хочется отметить его (М. Му) большое участие в попытке внести ясность в сложную проблему путешествий в Винланд. Его солидарность со мной в этом вопросе тем ценнее, что вначале он был совершенно несогласен с моими взглядами и выводами, но по мере накопления все новых доказательств, многие из которых были собраны с его помощью, убедился в моей правоте».

Кроме Хелланд-Хансена и Мольтке Му его близким другом был Эрик Вереншельд. Его дом отстоял в двух минутах ходьбы от нашего, и они частенько навещали друг друга. Чаше всего их взгляды совпадали, но трезво и четко мысливший Вереншельд нередко попадал в самую точку там, где отец сомневался. Оба не замечали, как летело время. Дома отца дожидался секретарь, остывал обед, мы толпились в дверях, поглядывая на дорогу, а Вереншельд неторопливо провожал отца до ворот. Там они останавливались, и до нас доносились разговоры и смех, так продолжалось десять, двадцать, тридцать минут, и наконец отец пускался бегом.

Далеко не всех отец уважал так, как Вереншельда. Нередко, когда кто-нибудь осмеливался высказать собственное мнение по вопросам, занимавшим отца, возникали ожесточенные споры. По-

моему, отец не всегда удерживался в рамках вежливости, бывало и так, что я становилась на сторону противника. Ведь человек-то пришел с самыми лучшими намерениями, а сейчас, обливаясь потом, подыскивал аргументы. Я-то знала, насколько это бесполезно.

Но одна небольшая история, рассказанная Эриком Вереншельдом, свидетельствует и о том, что иногда отец проявлял терпимость. Один из друзей отца, кажется, это был сам Вереншельд, примчался однажды, возмущенный и злой, с газетой в руках. Человек с известным именем обрушился на отца с гнусным обвинением в ошибках, в которых, как выяснилось позднее, был виновен сам.

«Взгляни, какое безобразие! Неужели ты это стерпишь?»— сказал он. Отец взял у него газету и прочитал ее. Пожал плечами и, чуть улыбнувшись, отдал обратно: «Ничего, мне легче снести такой удар, чем ему».

Нет, не в обычаях отца было защищать себя. Оскорбления и сплетни отскакивали от него. Однако если это касалось дела, отец не щадил никого. Поэтому не все понимали, что у него доброе сердце. Зато когда кому-то из близких ему людей приходилось плохо, это нельзя было не почувствовать.

Небольшое письмоцо другу свидетельствует о доброте отца, говорит оно и о том, как трудно приходилось самому отцу. Известный французский географ и друг Норвегии, переводчик всех книг и научных трудов отца, Шарль Рабо, потерял свою единственную дочь. Отец писал ему:

«Дорогой мой друг, я только что получил Ваше письмо, в котором Вы рассказываете о постигшем Вас ужасном несчастье.

Я слишком хорошо знаю, как жалки слова при таком горе, и все же я должен написать Вам, дорогой друг, и сказать, что всей душой Вам сочувствую.

Мне самому знакомо горе, я знаю, как вокруг все меркнет и жизнь становится страданием; навсегда исчезает то, что было для нас солнцем, беспомощно и растерянно вглядываемся мы во мрак. А потому я, наверное, лучше многих других способен понять Вашу утрату.

Как ни мало для Вас это утешение, но я хочу, чтобы Вы знали, что далеко на севере у Вас есть одинокий друг, который часто думает о Вас с любовью и сочувствием и искренне желает поддержать Вас, насколько это в его силах. Но, к сожалению, мы можем сделать так мало, с горем каждому приходится бороться самому — и днем, и ночью. Но время смягчает все, и в нашей памяти каждая улыбка и доброе слово становятся чудесными сокровищами.

О, как жестока бывает жизнь, отнимая у нас именно того единственного человека, который тебе дороже всего! Но такова уж жизнь, она косит вслепую. А терпение — трудное искусство. Я не могу больше сегодня писать, я просто не мог не послать Вам эти строки. У меня не хватает слов, чтобы выразить все, что мне хотелось бы сказать Вам — с величайшим сочувствием и любовью.

Ваш искренне преданный друг Фритьоф Нансен».

Никому лучше нас, детей, не было известно доброе сердце отца, но и нам нельзя было злоупотреблять его добротой. Я знала, что отцу опасно возражать, но все же иногда по глупости перечила ему. Не всегда наши взгляды совпадали, и если отец был в чем-то совершенно уверен, то и я ведь тоже. Очень часто мы расходились в оценке общих знакомых. Отец иногда чересчур поспешно ставил крест на человеке, по его мнению, «ни к чему не годном». На других он фыркал, говоря, что они «тщеславные дураки» и думают только о «пустяках и флирте». А с другой стороны, он порою позволял обманывать себя людям, которые, по моему мнению, добивались его дружбы лишь для того, чтобы погреться в лучах его славы.

«Вот снобы,— думалось мне,— они подлизываются и притворяются, потому что хотят украсить себя знакомством с ним. А отец этого не понимает».

Как правило, я находила сочувствие у Доддо — профессора Торупа. Он был большим скептиком. «Твой отец совсем не психолог», — говаривал он с сочувственной улыбкой. И звучало это почти как комплимент. Он очень ценил отца, поэтому я не боялась делиться с ним своими мыслями.

Всех посторонних Доддо относил к тому или иному «случаю», недаром же он был медиком. И когда я приходила к нему в университет и у Нас заходила речь о «друзьях» моего отца, он как бы доставал свою картотеку и изучал данный случай, обратив ко мне свой величественный классический профиль, щурил свои прекрасные глаза и на ломаном датско-норвежском, в котором с годами все больше появлялось датского, говорил: «Гм, дружок, симптомы-то повторяются».

Конечно же, утешительно было услышать ученое мнение Доддо о некоторых вещах, но в будничных домашних делах это не очень помогало.

Я начинала шагать своими тропами, и отец не всегда был этим доволен. А поскольку и он шел своей дорогой, которая не всегда меня устраивала, то обоим нам приходилось нелегко.

В одном я была твердо уверена: будет предательством по отношению к маме, если я не стану следить, как бы другая не заняла ее места. В зрелые годы на многое смотришь иначе, а тогда я словно стеной окружила себя воспоминаниями обо всем прекрасном в отношениях отца и матери. Я оказывала пассивное, но упорное сопротивление любым попыткам его знакомых дам завоевать мое расположение. Никакие ухищрения, никакие подходы не помогали, я оставалась холодной и неприступной. Отец сердился: я и «невежа», и «грубиянка»... Но никогда не пытался поговорить со мной обо всем по душам, а я не говорила ни слова в свое оправдание. Нередко я бежала за утешением к тете Малли: в этом мы были союзниками и друзьями.

«Молодец, дружок, что не боишься его», — говорила она, пытаясь поддержать меня.

Не вполне разделяла я и ею убеждения относительно экономности. Я, правда, и сама сознавала, что не уродилась бережливым человеком и что отец, воспитывая у меня это качество, желает мне добра, но от этого было не легче. Тогда я еще не понимала, что непритязательность так же глубоко присуща характеру отца, как и щедрость. И он, и дядя Александр ежегодно тратили немалые деньги на оказание помощи родственникам, писателям, художникам, словом, всем, кто в ней нуждался. И отец никогда не жалел денег, если речь шла о полезном деле, ученье детей, покупке инструментов или оборудования для научной работы. Но стоило мне сказать, что пора мне сшить новое платье, как поднималась буря: «Чепуха! Старое-то чем плохо? Помни, дружок, не платье важно, а человек, на котором оно надето».

Я начала вращаться в вихре светской жизни и, как все молоденькие девушки, была очень тщеславной. Но отец был со мной тверд. Денег, которые он выдавал мне раз в месяц, должно было хватить на все. Надо уметь в них укладываться, а как я их потрачу — это уж дело мое. Конечно, в те времена деньги больше стоили, однако на новое бальное платье их все же не хватало.

К тому же в глазах отца эти балы ничего кроме порицания не заслуживали. Отец считал, что я достойна большего, чем просто предаваться развлечениям с людьми, у которых один только ветер в голове. «Ох, уж эти твои бальные танцоришки, что за радость тебе плясать до одури с этим субъектом!»

Когда же ему вдруг показалось, что мне особенно приятно танцевать с неким «определенным ничтожеством», тут уж он совсем потерял покой. Целую неделю он каждый день навещал к тете Малли, с которой, по его мнению, я всем делилась. Но все не решался взять быка за рога. А тетя Малли, большая шутница, прекрасно понимая причину его прихода, ничуть не помогала ему. Они говорили о погоде, отец участливо расспрашивал о здоровье ее и дяди Ламмерса, выслушивал все о своих друзьях дяде Эрнсте и дяде Оссиане. И когда он уходил от нее однажды несолоно хлебавши, в конце концов без всякого перехода у него почти с угрозой вырывалось: «Знаешь, что я тебе скажу, Малли, — Лив с этим субъектом умрет от скуки!»

Так он и убежал, не слушая утешений тети Малли. И все же в тот день он пришел домой в хорошем настроении: Малли так забавно рассказывала ему про своих рассеянных братьев. Горничная, которая обычно чистила их костюмы и аккуратно складывала их у спальни каждого, в то утро перепутала костюмы. Когда оба профессора вернулись из университета, оказалось, что Оссиан

вышагивает в брюках Эрнста, которые ему слишком коротки, а на Эрнсте были брюки Оссиана, которые висели на нем гармошкой и волочились по земле. Тетя Малли расхохоталась, и дядя Эрнст, обнаружив свой промах, очень рассердился, но ангельски кроткий дядя Оссиан только рассмеялся: «Да мне и самому показалось, что брюки коротковаты, но я как-то не сообразил».

Весна кого угодно может взбудоражить. Отца, в жилах которого текла отнюдь не рыба кровь, тоже охватило беспокойство. Всем телом ощущал он, как тает мерзлота, как все стремится к жизни,— от этого трудно спастись. Одиночество угнетало его. В конце апреля 1912 года он пошел к себе наверх работать, но рука сама потянулась к дневнику:

«Фауст у Гёте так и не нашел мгновенья, которому мог бы сказать "остановись". Не представляю себе, чтобы мне захотелось хотя бы попытаться "остановить мгновенье".

Солнце садится за холмами Колсоса, на дворе прелестный весенний вечер, березы все в светло-зеленой дымке, луга зеленеют, а вдалеке — волнистая линия голубых холмов. Вот мой мир, то место на земле, где моя родина. Она прекрасна, но какая мне радость от этого?»

Но грустить было некогда. Этим летом отцу предстояло отправиться на «Веслемей» к Шпицбергену. По своему обыкновению, он очень тщательно готовился к плаванию. Как сейчас помню, он носился из кабинета в башню, вверх и вниз по лестницам, выезжал на короткое время в город, чтобы снова вернуться к картам и бумагам. Спускаясь к обеду, он улыбался и напевал. Если он пел «тру-ля-ля, тру-ля-ля», значит, барометр стоит на «ясно» и отец радуется предстоящему плаванию. Коре поедет с отцом на все лето, меня они берут с собой до Хаммерфеста. Но у Коре еще не кончились занятия в школе, и отец пока что со всей командой и новым ученым секретарем Иллитом Грендалом плавал вдоль побережья.

В то утро, когда мы с Коре прибыли поездом из Христиании, готовая к отплытию «Веслемей» стояла в гавани у Фьесангера. Мы должны были дожждаться следующего дня у Кристиана Миккельсена в усадьбе Гамлехауг. Это было событием. Я не видела Миккельсена с 1905 года, когда он бывал у нас в Люсакере. Я помню, что мама называла его «ужасно славным парнем», но мне было трудно примириться со столь легкомысленным суждением о таком уважаемом человеке. Но теперь я почувствовала это сама. Все в Гамлехауге было крупно и внушительно. И сам Миккельсен, и комнаты с высокими потолками, и дедовская мебель. Но мама была права — прежде всего он был славным человеком. В доме было уютно и не чопорно, потому что он заполнял дом своей сердечностью и весельем.

В тот вечер собралось много друзей: Хелланд-Хансены, редактор Юнис Нурдаль-Ульсен со своей очаровательной женой датчанкой Мирре, которой восхищался отец и с которой я подружилась, сын Миккельсена с женой и другие. У Миккельсена для каждого находилось доброе слово. Он не утратил добродушного огонька в глазах, даже когда отец завел разговор о немецком флоте, которому совершенно беспрепятственно позволялось продолжать измерения глубин в наших фьордах. Отец разгорячился. Он сам видел, как немецкие корабли плавали у Бальхольма, и никогда он не поверит, что кайзер привел свой военный флот к берегам Вестланна просто из любви к Норвегии и ради собственного развлечения. Что же мы за простофили, если позволяем великой державе хозяйничать у наших берегов?

Миккельсен терпеливо улыбался: «Не надо преувеличивать, Нансен. Подумай лучше, как многому мы, норвежцы, можем поучиться у дисциплинированных немцев, хотя бы их выдержанности и вежливости». Он полагал, что кайзер питает искреннюю любовь к Норвегии и что тому есть немало доказательств.

Меня всегда пугало, когда отец так расхотелся, как в тот раз. В таких случаях человек и дело, казалось, сливались воедино в его глазах, а ведь мы сидели за праздничным столом у самого любезного в мире хозяина. Но на сей раз опасность миновала. Отец не вышел за пределы вежливости, и доброе настроение хозяина осталось непоколебленным. Наутро многие из друзей проводили нас на «Веслемей» до выхода из фьорда, а назад вернулись на большом катере Миккельсена. Сам он, огромный и добродушный, махал нам на прощанье с вершины холма.



Путь на север, к Хаммерфесту, занял две недели, и почти все время стояла ясная солнечная погода. Только лад заливом Хустадвик опустился туман, и какое-то время казалось, что дело примет скверный оборот. Волны бились со всех сторон, то и дело сбоку и спереди раздавались гудки паровозов, но разглядеть их было невозможно. Отец, стоявший за штурвалом, был сам не свой. Он был недоволен собой. Он и сам уже не знал как следует, где мы находимся. Коре и я не сознавали опасности, так нам было худо, но я как сейчас вижу бледное лицо отца и как он переводит озабоченный взгляд с карты на компас и с компаса на волны, заливающие палубу. Наконец нас услышали на пароходе, который едва не наскочил на нас. И тут, к своему изумлению, отец узнал, что мы вышли за маяк Квитхольм. Мы изменили курс и вскоре миновали опасные мели. А там не успели и глазом моргнуть, как выскочили из тумана. И команда, и отец вздохнули с облегчением, а мы с Коре стали постепенно приходить в себя.

Попутный ветер мчит нас через Вестфьорд, мимо Лофотенских островов. «Красивее ничего не видел в мире», — говорит отец. И действительно, вид этот прекрасен. Постоянно меня окраску, вздымались из моря горы, воздушные, нереальные, обрывистые и дикие, и все же легкие и почти прозрачные. «Это все из-за моря, — объяснял отец, — потому что снизу и сверху льется одинаково сильный свет». Напрасно пытался он спроводить меня спать той ночью. Я боялась что-нибудь упустить да к тому же знала, что, если я уйду, он будет разочарован.

Коре был пленен тоже, хоть и не говорил об этом. Он только смотрел во все глаза, и когда отец рассказывал предания об этих местах, он слушал затаив дыхание. Мы захватили с собой книги, чтобы «коротать время» в пути, — они так и пролежали нетронутые. Даже у отца не было желания взяться за книги. Только когда обычно очень тихий Грендал принялся рассказывать о Хенрике Вергеланне и его творчестве, которое он знал до мелочей, отец этим увлекся.

«Удивительный этот Грендал, — сказал он как-то, — такой молчаливый и тихий, но вдруг лицо озаряется и он весь тогда преображается».

Самое странное, что Грендал перевел Вергеланна на английский язык. Этого отец не мог понять. Такая сложная работа — и ради кого, ради чего? Никто ведь не оценит этого труда, никто за пределами Норвегии не поймет Вергеланна. Отец не переставал удивляться.

Мы прошли через сказочно прекрасный залив Равсунн и вошли в Тролльфьорд. Здесь мы некоторое время болтались в мертвой воде. Шхуна не двигалась с места, как ни надрывался мотор, Я радовалась этому. Мы оказались в самом царстве троллей. Дикие обрывистые горы устремляются там ввысь, как церковный шпили, водопады и ледники низвергаются в темное море.

Передо мной отцовская запись об этом плавании: «Лив одинок. сидит впереди у брашпиля. Неведомый мир завладел юной душой — она покорена его мощью».

Он не преувеличивал. И кого же в девятнадцать лет не зачарует такая сказочная красота! Отец и сам был очарован, хоть и плавал тут уже не раз: «Величественная поэма гор и моря, одинаково поражающая — ив шторм, и в штиль».

На всем пути от Хустадвика на север над головой стояло солнце — круглые сутки. Пылающим шаром оно спускалось за горизонт по вечерам и тут же медленно начинало подниматься.

Попали мы однажды и в настоящий шторм. Пока мы в Тромсё заливали в баки бензин и воду, ставили такелаж на грот-мачте, готовя «Веслемей» к Полярному морю, поднялся ветер, а за Лоппенем океан уже прямо-таки взбесился. Мне было так плохо, что лучше бы уж, кажется, умереть. Никто не мог оставаться внизу, все вещи мотались от стены к стене, а на полу плескалось горячее пополам с морской водой. На палубе мы промерзли до полусмерти и с большим трудом удерживались на своих местах. Отец, стоявший у штурвала, долго делал вид, что не замечает моего жалкого состояния. Наконец он все же забеспокоился и, чтобы мне помочь, был вынужден оставить штурвал, так что мы отклонились от курса и лишний час проболтались в море. Наконец мы пришли в Хаммерфест, вонючую гавань, забитую рыбацкими и моторными лодками. Когда отец отнес меня в каюту, я была в полубессознательном состоянии.

На следующий день я ожила, но теперь предстояло расставание.

«Настроение никак не поднималось, то ли из-за погоды, то ли потому, что нужно было прощаться с Лив, которой предстояло вернуться на юг, к солнцу и лету»,— пишет отец в книге «Плавание к Шпицбергену».

Я не просилась продолжать путешествие. Я уже попробовала Ледовитого океана, и с меня хватило. Но отправляться одной на юг тоже было не очень приятно. Я проводила «Веслемей» до выхода в открытое море. Старый рыбак, который должен был отвезти меня обратно на лодке, тоже был на «Веслемей». Мы с отцом долго стояли вдвоем на палубе. Прощались мы точно на веки вечные, хотя он должен был вернуться через месяц или два. Затем я сошла в лодку. Отец и Коре стояли на корме «Веслемей», мы махали друг другу, пока шхуна не скрылась в тумане.

Только когда я села на банку, рыбак рассказал мне, что когда-то здесь, в Хаммерфесте, он переправлял отца и мать к яхте «Отария». Это было после возвращения отца из экспедиции к полюсу, в 1896 году.

«Таких счастливых людей,— сказал рыбак,— я никогда не видел. Ваша мама вся светила. А как она умела смеяться!»

#### IV. РУАЛ АМУНДСЕН И ОТЕЦ

Хуал Амундсен вернулся с Южного полюса весной 1912 года. Когда начали распространяться первые слухи, я была на балу. Все только об этом и говорили, но никто еще не знал наверняка, достигла ли экспедиция цели. Я заключила пари с одним из своих партнеров по танцам, искренне убежденная, что Амундсен побывал на самом полюсе.

Я совсем забыла про свое пари, как вдруг мне приносят огромную коробку конфет и восторженные стихи о Нансене и Амундсене, Северном и Южном полюсах. Я помню только последние строчки:

Тот пожалеет, кто решится в танце  
О полюсах заспорить с фрекен Нансен.

Отец покачал головой: «Легкое пари,— и взял конфету из коробки.— Ясно же, что Амундсену по плечу такая задача. Очень глупо, что твой кавалер усомнился».

Уже много лет, с самого возвращения из плавания на «Фраме», отец мечтал сам отправиться к Южному полюсу. Во время его пребывания в Лондоне ему предложили возглавить английскую экспедицию в Антарктику, но другие обязанности отвлекли отца, и мечта о Южном полюсе отошла на второй план. Тут, наверное, сыграла свою роль и мысль о маме.

И все же нелегко было ему уступить «Фрам» Амундсену. Но грандиозный план семилетнего дрейфа в Арктике, выдвинутый Амундсеном в 1907 году, показался отцу гораздо более важным для науки, чем путешествие к Южному полюсу. Он надеялся, что новые наблюдения в арктических водах существенно пополнят знания, добытые им самим во время плавания «Фрама». И кроме того, для Амундсена это было делом всей жизни, тогда как у отца было много других задач. Поэтому отец целиком поддержал замысел Амундсена и помог ему в подготовке экспедиции. По его совету Амундсен провел несколько месяцев в Бергене, где Хелланд-Хансен посвятил его во все результаты первой экспедиции на «Фраме» и рассказал о новейших методах исследований. Был организован комитет во главе с Нансеном, и постепенно все было подготовлено к полярной экспедиции.

Но финансовые затруднения, как всегда, обернулись против Амундсена. Кредиторы, а их было немало, стали так настойчивы, что Амундсен под конец не показывался на люди. А когда в 1909 году Пири водрузил на Северном полюсе американский флаг, экспедиция Амундсена утратила сенсационный интерес.

Вместе с тем исчезла надежда на то, что он сможет выполнить свои огромные денежные обязательства. И тогда Амундсен решил отправиться к Южному полюсу. Если поход удастся, он заработает достаточно, чтобы выправить положение.

Перед самым отплытием Амундсен сообщил Хелланд-Хансену, что изменил свои планы. Вместо того, чтобы, как предполагалось, идти вдоль западного побережья Америки на север, он решил по прибытии на Мадейру взять курс на юг. Он и не думал отказываться от первоначального замысла. Вернувшись с Южного полюса, он хотел немедленно отправиться к Северному. Он попросил Хелланд-Хансена после отплытия, в заранее условленный день, пойти к Нансену и рассказать обо всем. В тот же день его брат Леон Амундсен отправится к королю с тем же поручением.

Хелланд был в ужасе. Он сказал Амундсену, что его прямой долг самому до отплытия побывать у Нансена, но Амундсен считал, что в таком случае Нансен будет вынужден поставить в известность остальных членов комитета, и тогда рухнет весь план. Они долго обсуждали этот вопрос со всех точек зрения, Хелланд стоял на своем, но не смог переубедить Амундсена.

Можно представить себе, какое впечатление эта весть произвела на Нансена в первое мгновение. Ведь с его благословения и при его содействии готовилась экспедиция к Северному полюсу. Считая ее более важной, чем собственный план путешествия к Южному полюсу, он отдал свой корабль Амундсену; и все же, как он сам признался в письме к Амундсену, с болью в сердце смотрел, как «Фрам» выходил из фьорда сентябрьским днем 1910 года.

Но когда Хелланд-Хансен явился к нему со своим известием, Нансен ни словом не обмолвился о себе. Напротив, он принялся расспрашивать Хелланда обо всех подробностях нового плана. Подумал ли Амундсен об этом, и об этом? Достаточно ли у него собак, ведь их будет становиться все меньше и меньше в пути? Позаботился ли он о том, чтобы побольше запасти сушеной рыбы наряду с другим кормом для собак? Он несказанно сожалел, что Амундсен сам не побывал у него перед отплытием, возможно, он смог бы ему чем-нибудь помочь, а может быть, пригодились бы и его собственные планы экспедиции к Южному полюсу. Сейчас ему остается только от всего сердца пожелать Амундсену удачи.

Хелланд сообщил также, что в этот вечер в Христиании состоится большая пресс-конференция, и спросил, согласен ли отец ответить на вопросы журналистов по телефону. Отец не колеблясь дал свое согласие.

У газетчиков дух захватило от сенсационной новости. Перебивая друг друга, они спрашивали: «Что говорит Нансен?» Хелланд-Хансен, улыбаясь, ответил: «Почему бы вам не спросить у него?»

На другой день это известие, подобно бомбе, взорвалось среди публики. Но лояльные и тактичные ответы Нансена на вопросы прессы оказали влияние на настроение общественности в Норвегии.

«Амундсен принял ответственное решение,— сказал он репортеру из «Афтенпостен».— Поскольку экспедиция уже была так далеко на юге (у Мадейры), естественно было идти к Южному полюсу. И я ничуть не сомневаюсь, что экспедиция свершит великие дела. Зная Амундсена, я уверен, что он в состоянии осуществить намеченное, и, если не произойдет ничего непредвиденного и все пойдет по плану, не сомневаюсь, что экспедиция даст ценные результаты. Но, как я уже сказал, этот гигантский план чрезвычайно усложняет программу».

Амундсен в конце концов сам сообщил отцу о том, почему он изменил свои планы. Он писал с Мадейры:

«Когда прошлой осенью поступили сообщения Кука и позднее Пири об их экспедициях к Северному полюсу, мне сразу стало ясно, что это смертельный удар по моему предприятию. В области полярных исследований осталась лишь одна задача, способная вызвать интерес широких масс, эта задача — добраться до Южного полюса». И добавляет: «С нелегким сердцем я шлю Вам эти строки, но другого пути нет».

И вот в 1912 году, завершив задуманное, Амундсен в первую очередь приехал к отцу. Хелланд, находившийся в это время в Пульхёгде, живо помнит, как они встретились: Амундсен, несколько смущенный и неуверенный, неотрывно глядя на отца, быстро вошел в зал, а отец непринужденно протянул ему руку и сердечно приветствовал: «Со счастливым возвращением, и поздравляю с совершенным подвигом!» Они долго стояли втроем у двери на балконе, отец спрашивал, Амундсен отвечал, Хелланд слушал. «Черты лица Амундсена все больше прояснялись от облегчения, что встреча с человеком, на которого он смотрит снизу вверх, как мальчишка на учителя, проходит так успешно», — говорил мне Хелланд об этом памятном событии.

Вся Норвегия чествовала героя удачной от начала до конца экспедиции. В Христиании праздник следовал за праздником, и я побывала на многих из них.

Как известно, Ялмар Юхансен был среди участников этой экспедиции. Несмотря на окружавший их всех сейчас блеск и фимиам, для него экспедиция к Северному полюсу 1893—1896 годов и особенно переход с отцом к полюсу были овеяны особой славой. Стоило ему увидеть меня, как он радостно и весело кричал: «А вот и Лив, дочь лучшего из людей! Нансена! Вот это человек! Лив, иди сюда, садись со мной!»

Мне было неловко слушать эти излияния, и, чтобы утихомирить его, я спешила поскорей занять свое место.

Один из участников экспедиции рассказал, что мне преподнесен в подарок большой красивый ледник. Я не совсем верила этому, но мне показали карту, где и впрямь стояло — «ледник Лив». Он спускался с каких-то гор, которые экспедиция назвала «горы Фритьофа Нансена». И все-таки я сомневалась: ведь это могла быть и какая-нибудь другая Лив. Я отважилась спросить Амундсена. Со своей самой очаровательной кривой улыбкой на обветренном лице, слегка наклонив голову, он ответил: «Неужели же ты думала, что я могу все употребить твое имя?»

Из всех славословий в свой адрес Амундсен больше всего дорожил оценкой Нансена:

«Осенью 1910 года Амундсен должен был отправиться в свое большое плавание к Северному полюсу на «Фраме», но скуден был интерес к его предприятию и еще скуднее были денежные средства. Как и тогда, когда он уходил в плавание на «Йоа», ему предстояло отправиться в путь с большим долгом, и, как и в тот раз, он вышел в море втихомолку, ночью. Поздней осенью пришло его сообщение, что он изменил план и отправляется к Южному полюсу, чтобы добыть необходимые средства для северной экспедиции. Какое-то время все были в растерянности, не зная, что сказать. Это неслыханно! Отправляться на Северный полюс через Южный! Некоторые считали это предприятие грандиозным, другие (их было больше) — сомнительным, и многие подняли крик, находя выходку Амундсена недопустимой, недостойной и непорядочной. Некоторые даже хотели вернуть его. Но он был уже слишком далеко. Он уплыл своим курсом, который определил сам, не оглядываясь назад, и постепенно все забылось, все занялись своими делами. День за днем, неделя за неделей проходили в тумане. В тумане мелких дел, за которым исчезает все великое и выдающееся. И вдруг сквозь туман прорвалось яркое солнце. Пришла новая весть. Люди останавливаются, поднимают взгляд, и там, в вышине, на недостижимой для них вершине — великий человек! Устоять не может никто — все ликует. Вздвигаются и полощутся в синем небе флаги. Люди всматриваются в открывшиеся вдруг перед ними неведомые просторы и на мгновение забывают обо всем. Да, нам открылась новая страна».

Нансен разъяснил огромные результаты экспедиции. Эти люди провели гигантскую исследовательскую работу. С начала и до конца Амундсен шел своим путем, немногие путешествия и открытия за всю историю положили к ногам человека столь обширную область новой земли... «Ни в одной точке, за исключением самого полюса, маршрут Амундсена не совпадает с маршрутом англичан. Это очень важно для науки».

К сожалению, еще не поступило сообщений об экспедиции капитана Скотта, но, по всей вероятности, он достиг полюса одновременно с Амундсеном. Это большая удача, и тем самым значительно возрастает ценность научных наблюдений обеих экспедиций.

В заключение Нансен обратился с призывом к норвежскому стортингу и ко всем норвежцам облегчить Амундсену финансовые затруднения, связанные с подготовкой экспедиции к Северному полюсу.

«Если он отдает свою жизнь и свои выдающиеся способности этим великим делам, то мы должны радоваться и гордиться возможностью предоставить ему средства для осуществления их наилучшим способом».

Не все разделяли восхищение Нансена. В Англии считали, что, не предупредив заранее о своей экспедиции к Южному полюсу, Амундсен поступил непорядочно по отношению к Скотту, ведь он прекрасно знал о давно запланированном Скоттом путешествии в Антарктиду. Когда же стало известно о трагической гибели Скотта и его спутников во льдах, обвинения эти приняли очень резкую форму, особенно в Королевском Географическом обществе.

Нансен выступил с убедительной речью, в которой полностью оправдывал Амундсена. По мнению Нансена, экспедиция Скотта продвигалась медленно из-за непродуманности снаряжения, а тут еще прибавились пурга, обморожения, возможно, и цинга. Очень естественно и понятно, что Скотт в первое мгновение испытал горечь разочарования, обнаружив на полюсе норвежский флаг. Но он никогда не поверит, говорил Нансен, чтобы подобное разочарование могло иметь решающее значение для такого человека, как Скотт. Экспедиция Амундсена к Южному полюсу не была некорректной по отношению к Скотту, как не были некорректны по отношению к нему, Нансену, ранее высланные английская и шотландская экспедиции к Южному полюсу. Ведь все знали, что и он готовил такую же экспедицию, но это других не остановило. Ни один человек, ни одна нация не обладают монополией на неоткрытые районы земного шара. Чем больше экспедиции, тем больше результатов, а вместе с ними и знаний о нашей планете. И не в том задача, чтобы опередить соперника, а в том чтобы произвести как можно больше наблюдений. Скотт первым бы с этим согласился.

Однако судьба английской экспедиции потрясла Нансена. В некрологе, помещенном в «Тиденс Тейн»<sup>[152]</sup>, он писал о Скотте:

«Эта великая трагедия заставляет нас невольно преклонить колена. Она затрагивает самые сокровенные душевные струны, и горе невольно выражается в человеческом сочувствии — ни в одной стране за пределами Великобритании это не ощущается так сильно, как в Норвегии. Сквозь нашу скорбь пробиваются восхищение и гордость, что и наш век еще дарит таких людей».

Нансен был убежден, что экспедиция погибла из-за цинги он также был твердо убежден, что, если бы Скотт послушался его настоятельных советов и взял с собой собак и обычные сани вместо пони и моторных саней, бессмысленной гибели экспедиции можно было бы избежать. «Тогда он был бы сейчас с нами» — писал он своему другу — ветерану полярных исследований Клементсу Маркхэму<sup>[153]</sup>, выступившему с наиболее оскорбительными заявлениями об «окутанном тайной путешествии» Амундсена. Нансен не разделял господствовавшего в Англии отношения к скоропалительной экспедиции Амундсена. Он считал, что англичане неправы, закрепляя за Скоттом монопольное право на Южный полюс. Он защищал Амундсена не потому, что тот нуждался в поддержке, а потому, что разделял его взгляды и находил убедительными его доводы.

Экспедиция к Южному полюсу с точки зрения исследования полярных районов действительно была более актуальна, чем новое плавание «Фрама» в Ледовитом океане. Отец первым сумел оценить по достоинству способности и силу духа Амундсена, без которых не было бы победы, и он не мог поэтому оставаться безразличным к удаче норвежской экспедиции. Завоевание Южного полюса стало событием, утвердившим ведущую роль Норвегии в истории полярных исследований.

Но я часто задумывалась, как все-таки относился отец к поведению Амундсена в глубине души? Пришло бы ему самому в голову взорвать эту такую «бомбу»? Едва ли! Его взгляды отличались от взглядов Амундсена, соперничество не имело для него такого большого значения. Поэтому ему

было не по душе, что экспедиция превратилась в гонки. Не очень понравилось ему и письмо Амундсена Акселю Хейбергу, в котором тот прямо заявлял, что «вступает в борьбу с англичанами за Южный полюс» и видит практическую задачу в том, «чтобы прийти первым».

На мой взгляд, Амундсен не только выиграл в гонке со Скоттом, но одновременно и оттеснил отца. Но я не замечала, чтобы отец рассуждал так же, конечно, нет. В тот момент вся его жизнь была безраздельно посвящена океанографическим проблемам. Для него было важно использовать время, силы и людей так, чтобы как можно больше продвинуть норвежскую океанографию совместными усилиями. Именно поэтому он так горячо поддерживал планы Амундсена об экспедиции в полярные районы. По этой же причине маловероятно, что он был в восторге от планов новых экспедиций к Южному полюсу. Отдавая себе полный отчет в том, что у Амундсена — полярного исследователя могут быть другие мотивы, он все же сделал все возможное, чтобы убедить его в том, что изучение моря и атмосферы представляет для человечества гораздо большую ценность, нежели «простые путешествия», как говорится в одном из его писем к Амундсену. Еще в 1909 году, когда в Норвегии была разработана большая программа в области изучения Атлантического океана, он обращается к Амундсену, стараясь привлечь его к этой работе:

«Исследование Атлантического океана будет иметь для нас особое значение, только тогда у нас появится надежда разрешить важные проблемы, связанные с циркуляцией водных масс во всем океане. Будет непростительно не использовать полностью такую возможность. Работу, которую Вы могли бы при этом провести, я по ее объему и значению для будущего поставил бы рядом с той, которую Вы сможете провести во время Вашего дрейфа в Ледовитом океане».

Одно совершенно ясно: отец не допускал и мысли, что Амундсен после путешествия к Южному полюсу будет поживать на лаврах. В их переписке часто встречаешь строки, в которых отец старается не дать остыть планам о северной полярной экспедиции. Когда Амундсен падает духом, теряет веру в себя, колеблется и говорит об отсрочке, Нансен безжалостно напоминает, что сделано лишь полдела. В апреле 1913 года отец пишет Амундсену:

«Могу Вам сказать то, чего Вы, по-видимому, не поняли,— ни одному человеку не принес я такой жертвы, как Вам, отказавшись от экспедиции к Южному полюсу, которая должна была завершить дело моей жизни в области полярных исследований, отказавшись от «Фрама» ради того, чтобы Вы могли совершить свой полярный дрейф. Чего мне будет стоить отказ от всего, что давно было задумано, с чем я сжился, я не сразу до конца осознал, хотя, надеюсь, ни разу не дал Вам этого почувствовать».

Не удивительно поэтому, что Амундсен всегда смущался и по-мальчишески робел перед отцом. Он ведь, единственный из всех, знал, почему отец отдал ему «Фрам». Мне известно от отца, что он не таил на Амундсена обиды, не питал к нему горьких чувств. Однако разочарован он был.

Только однажды я видела Амундсена естественным и непринужденным рядом с отцом. Это было в день рождения Амундсена в 1926 году, когда в крепости Акерсхус был устроен народный праздник. Мы все, участники автомобильного кортежа, собрались и «Гранд-отеле». Кроме виновника торжества и отца, там были члены праздничного комитета и некоторые близкие. Амундсена и Нансена усадили в открытую машину, а мы поехали в закрытых такси. Вдоль всего пути, пока кортеж двигался по Карл-Юхансгате и Киркегате, стояли люди и приветствовали их криками «ура».

Оба героя полярных экспедиций были в приподнятом настроении и по приезде в Акерсхус произнесли по-настоящему трогательные речи в честь друг друга. Нансен чествовал «великого полярного исследователя нашей страны» за все его подвиги и особенно за последний — он только что вернулся из полета к Северному полюсу на дирижабле «Норвегия». Амундсен благодарил «великого пионера, произведшего настоящий переворот в подготовке и проведении всех полярных экспедиций, с самого начала помогавшего мне и проложившего мне путь».



Публика разразилась несмолкаемыми аплодисментами, гремело «ура». А когда эти седовласые мужи стояли рядом и с удивительной скромностью переадресовывали приветствия друг другу, ликованию не было предела.

Два года спустя Амундсен нашел свою могилу в том ледяном море, которому он посвятил всю свою жизнь. Нансен произнес глубоко взволнованную речь в память Амундсена:

«Он навеки займет особое место в истории географических исследований как человек, выросший из сокровенных глубин своего народа...

Как недавно начался его путь, и вот он завершен. А сколько великих деяний он вместил.

В нем жила какая-то взрывчатая сила. На туманном небосклоне норвежского народа он взошел сияющей звездой. Сколько раз она загоралась яркими вспышками! И вдруг сразу погасла, а мы все не можем отвести глаз от опустевшего места на небосводе. Амундсен не был ученым, да и не хотел им быть. Его влекли подвиги и действие. Потому и стал он немеркнущим образцом для молодежи нашего времени. Во всей его деятельности мы чувствуем его неотступную мужественную волю. Как сказал Ибсен, «Будь верен самому себе, и ты завоеуешь венец жизни». Он был верен лучшему в себе. Все свои зрелые годы и все, что имел, он пожертвовал для осуществления идеалов своей юности.

Столетиями имя его, в лучах северного сияния, будет сверкать над молодежью Норвегии.

Люди, равные ему мужеством, волей, заставляют верить в народ и в его будущее. Еще молод мир, если он порождает таких сынов».

## V. ГОРЕСТИ И РАДОСТИ ЛЮСАКЕРА

Отец был очень доволен научными результатами плавания к Шпицбергену в 1912 году. Хотя льды и не пустили «Веслемей» так далеко на север, как ему того хотелось, все же проведенные отцом наблюдения доказывали, что его теория глубинных вод была верной.

Особенно большую работу отец проделал, исследуя проблему возникновения и обновления придонных вод. Наблюдения, сделанные во время плавания на «Фраме», показывали, что уже на глубине 400 метров и более вода настолько однородна, что существовавшие тогда приборы не в состоянии были установить различия в солености воды на разных глубинах. Позднее Нансен произвел новые измерения в Норвежском море, пользуясь уже собственными усовершенствованными приборами. Однако в Ледовитом океане ему так и не удалось получить новых проб придонных вод. Тогда он предпринял свое плавание 1912 года. «Веслемей» находилась в океане более трех месяцев, и лишь в конце сентября отец и Коре вернулись домой.

Коре с жаром рассказывал о рыбной ловле и охоте, о дрейфующих льдах и огромных ледниках на севере, о штормах во время обратного плавания. Отец был взволнован и растроган встречей с нами.

«Подумать только, как вы все выросли, ребятки!»— и он, смеясь, разглядывал троих младших, которые и впрямь сильно выросли за последние годы.

А больше всех радовался возвращению отца маленький Осмунд. Он заранее смастерил на крыше башни самодельный флагшток, чтобы торжественно встретить отца. Через год отец нашел этот флагшток на старом месте.

Мы все выбежали на берег встречать шхуну, а Осмунд, едва завидев во фьорде «Веслемей», уже не мог стоять спокойно от нетерпения и радости. Ликуя, он повторял: «Как я рад, как я рад!» Всю дорогу до Пульхёгды он держал отца за руку, да и потом ни на шаг от него не отходил. Дети звали его играть, а Осмунд, прижимаясь к отцу, отвечал им: «Нет, зачем я пойду? Вот же мой лучший друг».

Это был удивительный мальчуган. Теперь мы уже все знали, что у него врожденное мозговое заболевание — церебральный парез. Именно поэтому он и отставал в развитии от сверстников. До



сих пор он и говорил нечисто, и при ходьбе загребал ногами. Не схватывал ничего на лету, как другие девятилетние дети. Однако же в нравственном отношении он намного опередил свой возраст. Я никогда не встречала такого доброго, неэгоистичного и отзывчивого ребенка. А если послушать его мысли о добре и красоте, то просто казалось, что слушаешь речи взрослого человека.

Товарищи дразнили его за картавость, и Осмунд не умел постоять за себя. Случалось, он приходил домой побитый. Однажды ему пришлось особенно туго, и он вернулся домой с мучительно сморщенным личиком, едва удерживаясь, чтобы не заплакать.

Отец стал у него допытываться, что же такое случилось, а он никак не хотел говорить. Наконец выяснилось: ребяташки дразнили его, началась драка, Осмунд оказался один против многих. «Только это они не нарочно, папа», — тут же добавил Осмунд.

Когда уехала замечательная няня Хельга, в доме появилась новая няня. С Осмундом она обращалась неважно, не понимая причины его медлительности, и часто срывала на нем досаду. Зато у отца Осмунд всегда находил утешение и шел к нему со всеми своими радостями и обидами.

Его отдали в специальную школу в городе, главным образом чтобы уберечь от насмешек детей. Учительницы его любили и верили, что он научится всему, что полагается. Но мальчишки из Люсакера подстерегали его на станции, шли за ним по холмистой дороге, передразнивая его походку и речь. Однажды у Осмунда лопнуло терпение, и он поднялся прямо в башню, к отцу.

«Ну, папа, придется тебе меня выручать, — сказал он, — так дальше нельзя». Отец удивился, услышав из уст этого еще очень ребячливого мальчика такое взрослое выражение.

Вскоре Осмунда отослали из школы домой — у него стала болеть голова. Отец почуял неладное, но тогда мы еще не догадывались, насколько все это серьезно. У Осмунда поднялась температура, он слег да так и не встал больше.

Старый друг нашей семьи, доктор Йенсен, навещал его каждый день, возился с ним, осматривал, задавал одни и те же вопросы. Прежде добрый доктор Йенсен всегда приносил нам успокоение и утешение, но сейчас он прятал глаза. Мы с отцом по очереди сидели у постели Осмунда, он рассказывал нам о своих мечтах, удивительно зрелых при всей их наивности. Он говорил, что, когда вырастет, станет садовником. Цветы такие красивые, и интересно смотреть, как они вырастают из земли. А вообще-то он бы стал священником — в религии столько красивого.

Бывали часы, когда мальчик казался совсем здоровым и веселым, и тогда мне едва верилось, что с ним что-то неладно, но тут снова начиналась боль, и он просил, чтобы мы не шумели, очень уж голова болит от наших разговоров. К рождеству ему стало хуже. Доктор Йенсен пригласил специалиста, и вдвоем они обнаружили бациллу. У Осмунда был туберкулезный менингит, надежды не оставалось.

Он лежал худенький и бледный, ни на что не жаловался и словно бы понимал, что отец не может видеть, как он страдает. Временами он говорил: «Ты лучше выйди, папа, мне, должно быть, опять станет плохо». А когда отец входил к нему после приступа и спрашивал, очень ли ему было больно, Осмунд отвечал ему с ясной улыбкой: «Да ну, есть о чем говорить. Это ведь недолго было, а теперь мне опять хорошо».

Через несколько лет, в 1915 году, отец вспомнил и записал это в дневник.

На рождество Осмунд был удивительно бодр. В его комнате стояла елка, и он радовался всем подаркам, которые ему положили в кровать. Но еще больше он был рад подаркам, которые сам сделал нам всем. Перед рождеством он каждый день выпрашивал меня, о чем, по-моему, мечтают братья и сестра, и отдал мне всю свою копилку, чтобы я купила им подарки. Он и мне сделал подарок — тут ему помог отец.

Мольтке Му был тогда тоже болен, и в новогодний вечер отец писал ему:

«Впервые ставлю непривычную дату нового года в письме, которое пишу для того, чтобы пожелать тебе хорошего и светлого нового года и поблагодарить от всей души за твою доброту и за все, что было в старом году.

Всю эту неделю, начиная с рождества, Осмунд чувствует себя удивительно хорошо, у меня даже затеплилась слабая надежда, и я уже не смотрю на это так мрачно, по крайней мере сейчас ему хорошо и жизнь кажется прекрасной. Я обещал, что пошлю тебе от него привет и передам спасибо за книжки, которым он так обрадовался. Видел бы ты, как он на радостях запрыгал в кроватке. Этот мальчик такой удивительно хороший, добрый всю свою жизнь, не помню, чтобы он хоть раз рассердился. Я не вынесу, если его потеряю!»

В конце зимы припадки участились, и настал день, когда Осмунд потерял сознание навсегда. В кончине его было какое-то умиротворение. Он тихо уснул навеки, дыхание остановилось почти незаметно.

Но отец никак не мог поверить. Он рыдал в детской, упав головой на стол, так отчаянно, что я просто испугалась. Шли дни, он оставался безутешным. И вот однажды ранним утром отец, я и доктор Йенсен поехали в крематорий в Вестре Акере. Мы ехали в открытом экипаже, я мерзла, несмотря на все пледы, которыми укутал меня отец, доктор Йенсен был в шубе из волчьего меха, а отец правил лошадьми и не замечал холодного ветра. Проезжая мимо церкви, мы повстречали священника Юнаса Даля. Не зная, куда мы держим путь, он остановился и по обыкновению весело окликнул нас: «Здравствуйте, здравствуйте! Куда это спозаранку?»

Наверное, он удивился что мы так серьезны и ничего не ответили на его веселое приветствие.

В крематории стоял белый гробик Осмунда. Сверху лежали красивые розы, немного ландышей, а изголовье было украшено березовыми ветками и нарциссами. Мы никому не сообщали о времени кремации, и я по сей день не знаю, от кого были тогда цветы. Мы медленно приближались, шаги гулко отдавались в большом пустом помещении. Я держалась за руку отца. Он все время крепко сжимал мою руку. Не было ни музыки, ни пастора. Гроб тихо опустился, и после него остались только цветы.

На обратном пути мы не сказали ни слова. Но потом, когда отец один сидел у себя в башне, я поднялась к нему.

«Правда, хорошо, что все было именно так?»— спросил он, обняв меня. Я только кивнула.

У отца в башне на одной из полок стояла высокая ваза. Я думаю, что в ней был пепел маленького Осмунда. Но спрашивать я не смела, чтобы не бередить рану. Да и не все ли равно, где пепел? Ведь Осмунда больше нет.

Отец горевал. Он потерял младшего сына, и новая утрата обострила старую. Если он оставался наедине с мыслями, они, как и прежде, обращались к матери. Он тосковал по ней в своем одиночестве, тосковал, наверное, и по другим женщинам, а скорее всего — просто по нежности.

«Любящая, нежная женщина с горячим сердцем — как часто я мечтал о ней!— записано в дневнике 30 апреля 1913 года.— О той, одно только присутствие которой приносит мир, покой и утешение... Я встретил единственную, и вот она утрачена — навсегда... Жизнь мрачна и становится все мрачнее».

Временами его охватывало отчаяние:

«Да стоит ли в конце концов так серьезно относиться к жизни? Не многого она, в сущности, стоит. Есть о чем сокрушаться! Подумаешь, разбитые надежды, обманутая вера — господи, не первое же это крушение в коловращении жизни. Так стоит ли из-за этого тратить ее понапрасну, посыпать главу пеплом и ходить в рубище?»

Отец еще держал великолепную породистую лошадь и часто ездил верхом. Кроме нее у нас была огромная гнедая для упряжки. Мне разрешалось брать ее, и тогда мы с отцом отправлялись в дальние прогулки верхом. Временами у него были другие спутники, и тогда я была лишней.

Но часто он выезжал один, носясь по лесам и полям вперегонки с собственным беспокойным духом. Однажды во время одной такой прогулки он приехал на Холменколлен, присел к столику и задумался. Дневник у него был при себе, и, не имея иного собеседника, он стал писать.

«Холменколлен, 3 мая 13

Сколько раз я сидел вот так в ресторанах многих стран, пил вино, думал и мечтал. С груди развалин вглядываюсь я в беспредельную пустоту.

...Там, на колонне, Регин кует меч Сигурду[154]. Для чего? Чтобы убить дракона и добыть сокровища. А я для чего кую свой меч? Я бросил ковать, зачем мне меч, нет ни сокровищ, ни женщины.

Сигурд испил напиток забвения и забыл о любимой, взял другую — я пью вино, но мне-то забывать некого, и все же нужно столько стереть из памяти, совсем...

...Я на перепутье... дальше пойду умудренный, но отнюдь не счастливей прежнего — как горько, что мудрость всегда обходится так несказанно дорого... Но стоит мне только сесть на коня и выехать в черную ночь и сырой туман — и к чертям собачьим все это!»

В таком настроении отец в июне вышел ненадолго в море, но большая часть лета ушла на подготовку нового путешествия. На этот раз путь предстоял долгий — через всю Сибирь до Владивостока. Со всей энергией взялся отец за труды по этнографии и географии, чтобы извлечь наибольшую пользу из путешествия. Но и нами, детьми, он занимался куда больше обычного, очевидно, потому что собирался уехать надолго.

Ему было нелегко выкроить время для нас при всех своих многочисленных делах, а нам и в голову не приходило, что может быть иначе. Когда он порой брал нас с собой погулять или читал нам вслух, или после обеда оставался посидеть с нами за чашкой кофе у камина, рассказывая какую-нибудь веселую историю, то нам казалось, что это уже много.

Но, вероятно, отец гораздо сильнее ощущал свою ответственность за нас, чем нам казалось. Он только никак не мог взять в толк, что, если хочешь понять четырех подрастающих детей, нужно еще и большое терпение. Пока мать была жива, ему не приходилось нами заниматься. Тогда она рассказывала ему обо всем, что происходило. Проступки наши она представляла пустячными, зато расхваливала наши добродетели. Теперь ему приходилось во всем разбираться самому — он-то не склонен был считать наши недостатки пустячными.

«Кто любит сына, наказывает его[155]», — таков был девиз отца. Особенно строг он был к сыновьям.

Одд говорил потом: «Меня вечно терзала совесть, я до сих пор не забыл этого ощущения». Впрочем, отец часто испытывал к Одду даже уважение. Я помню, как он говорил: «А ведь у мальчишки есть характер». Признаваясь в каком-нибудь проступке, Одд всегда смотрел прямо в глаза отцу. Но даже с его храбростью нелегко было показывать отцу дневник с плохими отметками. Однажды он особенно долго не решался показать его отцу. Ведь ему предстояло унижение, и Одд поднялся к отцу со стесненной душой. Должно быть, вид у него был очень несчастный, потому что произошло нечто странное — отец только огорчился и не стал упрекать его.

«Мне жаль, что я огорчил тебя, папа», — сказал Одд. Тогда отец вздрогнул: «Нет, мой мальчик, это не ты огорчил меня. Я огорчен сам собой. Ведь я понимаю, что слишком строг к вам».

Одд навсегда запомнил это. Раньше ему не приходило в голову, что отец такой же человек, как и все. И вдруг увидел его слабым и расстроенным не проступками детей, а своими собственными недостатками. Хотя в поведении отца по-прежнему нежность сменялась строгостью, Одд с тех пор перестал так его бояться.

Другое дело Имми. В школе она тоже не блистала, но ведь она — девочка, а для девочек, по мнению отца, знания не так важны. В остальном она всегда была послушной и всем довольной, да к тому же с каждым днем все хорошела.

Коре потел над школьной премудростью — непросто учиться, когда так много сил уходит на рост. Ему было почти шестнадцать, и он очень вытянулся. Еще когда он был совсем маленьким, мама с гордостью замечала, что он «вылитый отец», а сейчас это сходство стало еще больше. И не столько своей детской мордашкой, сколько широкими плечами и крепким сложением он пошел в отца. Ему часто говорили: «Ну, паренек, тебе нелегко будет скрыть, кто гной отец». Коре и не собирался скрывать, но, наверное, не раз думал про себя, что лучше бы у него был менее выдающийся отец.

Коре был музыкален и с легкостью играл на пианино и гармошке. Он начал учиться игре на скрипке, и учитель считал, что у него очень хорошие способности.

Сама я уже вышла из того возраста, когда мной можно было командовать. Чаще всего я поступала по-своему. Но я так сильно любила отца, что и мое настроение зависело от его. Обычно маятник наших будней раскачивался в такт настроению отца. Кстати, стоило только отцу, подняв утром шторы, увидеть первый снег, он приходил в мягкое и лирическое настроение. Хотя это и было давно, я отлично помню, как он читал стихотворение Й. Е. Унгера, которое мне больше никогда ни от кого не приходилось слышать:

Ты на снег взгляни!  
Он покрыл и валуны, и пни,  
На кошачьих лапах ночью к нам пришел  
И укутал пухом каждый сук и ствол.  
Ты же ночью спал, мирно спал.  
Ты взгляни на бор,  
На его сияющий убор!  
Тянется до Аустерланда, и на нем  
Засверкал наряд серебряным огнем.  
Ты же ночью спал, мирно спал.

Но наступал день со своими заботами и делами, и с ним приходил конец и лирическому настроению.

В эти годы я училась пению и гармонии у тети Малли и игре на пианино у Хильдур Андерсен. Тетя Хильдур, как я называла ее, была человеком широких интересов, которые не ограничивались одной лишь музыкой. Я очень любила беседовать с ней после урока. Она сидела рядом со мной, такая маленькая и хрупкая, и я всегда поражалась, до чего у нее крошечные руки, а ведь, иллюстрируя свои лекции о композиторах, она сама исполняла отрывки из опер Вагнера, симфоний Бетховена и Чайковского. Но лицо ее дышало силой и глаза сверкали, когда она принималась рассказывать о памятных событиях своей жизни — о годах учебы в Вене, о великих музыкантах той поры, о празднествах, на которых танцевали под вальсы Иоганна Штрауса, причем оркестром дирижировал сам композитор. А когда мне удавалось навести ее на воспоминания о дружбе с Генриком Ибсеном, тут уж я слушала, боясь упустить хоть одно слово. Чуть не каждый день «взбирался он на своих старых ногах» по лестнице и сидел в этой самой гостиной, на стене которой теперь висит его большая фотография. Он часто делился с ней своими замыслами. По словам тети Хильдур, Ибсен говорил о героях своих драм, словно о живых людях, своих добрых знакомых. Когда я рассказала об этом отцу, он рассмеялся: «А ведь, пожалуй, сама она — Хильда из «Строителя Сольнеса». По-моему, это она».

В светлой гостиной тети Малли было по-прежнему уютно. Вот только дядюшка Ламмерс начал прихварывать, тетю Малли это очень беспокоило, и все же она всегда встречала меня с веселым лицом.

Да и саму тетю Малли стали одолевать старческие недуги, порою она теперь жаловалась, что косточки ноют. Килограммов лишних она тоже прибавила и каталась теперь по дому как кубышка, хотя и старалась раз в неделю устраивать разгрузочный день. Но лицо оставалось по-прежнему живым и выразительным, блестящие серебряные волосы уложены в красивую прическу, и всегда она очень тщательно следила за своей одеждой. Она любила украшать себя кружевами, цепочками, шальями.

«Страсть к нарядам у меня от мамы», — говаривала она, улыбаясь. Я тоже помнила бабушкины кружева и брошки, и мне казалось, что тетя Малли и впрямь стала на нее похожа.

В уроки пения она вкладывала всю душу. Другое дело, что у меня вечно не ладилось со связками. Тетя Малли действовала по такому принципу, что «не те ноты» всегда нужно убирать, чтобы можно было «петь данным нам природой голосом». Но для меня этого оказалось мало. Как ни бережно она подходила ко мне, все время спрашивая совета у дяди Ламмерса, но я так и осталась «трудным случаем». Однако же исполнению романсов она прекрасно обучала своих учеников. Мне же гораздо больше нравилось петь веселые песенки, а при слабых связках это опасно.

Акомпанировала верная Майя Миккельсен, на мой взгляд неважно, зато «добросовестно», как считала тетя Малли. Майя была смуглой, как мулатка, с иссиня-черными волосами, одета во все сиреневое. Без тети Малли она дня не могла прожить, старалась ей во всем услужить и проводила у нее целые дни. Я, глядя на дядю Ламмерса, восхищалась той кротостью, с которой он терпел присутствие третьего лица в доме. Но, по правде говоря, он тоже был рад, что она здесь, под рукой. Он теперь сам стал сочинять музыку и любил на ком-нибудь проверить впечатление от своих песен. Постепенно он и вовсе забросил чужие сочинения.

Тетя Малли говаривала с лукавым блеском в глазах: «У нас в доме признают одного композитора, и зовут его Ламмерс».

Но когда он, широкоплечий и торжественный, стоя у рояля, с большим чувством исполнял свои несложные, но благозвучные сочинения и его все еще сильный бас заполнял гостиную, тетя Малли смотрела на него все так же влюбленно и восторженно, как в прежние годы.

Дядя Ламмерс написал также несколько кантат для хора. Одна из них, «У Акерсхуса», на слова Ибсена была исполнена в большом зале Логен хорovým обществом св. Цецилии, в котором он и сам пел много лет, и оркестром Союза музыкантов под управлением Карла Ниссена. Мне поручили небольшую сольную альтовую партию, и я очень волновалась.

Никогда не забуду, как волновался отец, когда мы ехали на концерт. Дорогой он не вымолвил ни слова и упрямо смотрел в окно, морща лоб. А когда мы вошли в артистическую, он был очень невежлив с маленьким подвижным Фогт-Фишером, старым маминым импрессарио, который сразу же подскочил к нам, рассыпаясь в похвалах моему голубому шелковому платью и, сладко улыбаясь, заговорил о том, как он растроган, что «дочь нашей Евы» будет выступать. Отец, не отвечая, повернулся к нему спиной. Но после концерта, когда дядя Ламмерс и другие любезно шверили его, что я удачно справилась с партией, наступил праздник.

«Какая радость слушать твое пение!»— сказал отец и обнял меня. Тут он наконец-то сердечно пожал руку Фогт-Фишеру.

Я часто обедала у тети Малли и потом вместе с ней поднималась на второй этаж навестить дядюшек. Они сидели каждый за своим письменным столом в шлафроке, куря длинные трубки. Перед ними стоял кофе и лежали газеты. Дядюшки радушно приветствовали нас каждый из своего угла. Они очень постарели, по седовласый дядя Эрнст с бородой библейского патриарха был не так же красив, а дядя Оссиан все так же ласков и добр. Всякий раз задавались одни и те же вопросы. Тетя Малли: как они себя чувствуют, как прошел день в университете, не скормил ли дядя Оссиан опять свой завтрак голубям. Братья: как мы себя чувствуем, здоров ли дядюшка Ламмерс, как поживают отец и все домашние в Люсакере. (31)

Дядюшку Оссиана чрезвычайно забавлял Шнапс, откормленный тетушкин песик, который умильно вилял хвостом у его ног. «Ага, вот и ты, песик!»— и дядя Оссиан смеясь выкладывал косточки, пироги, все, что припрятал для него в ящике письменного стола.

Оба эти старых холостяка были живыми хронометрами, и весь район Бестум сверял по ним часы.

«Вот идут профессора Сарсы,— говаривали люди, увидев, как они утром отправляются в университет,— значит, уже половина девятого».

Кроме ежедневного пути до трамвайной остановки и обратно они почти никуда не ходили. Только один раз за все лето дядя Оссиан отправлялся в море — собирать живность для исследований под микроскопом. Дядя Эрнст предпочитал путешествовать по карте. Часами просиживал он над нею, отыскивая старые маршруты, по которым ходил когда-то вместе с Винье и другими пионерами



альпинизма. Иногда я следила за движением его скрюченного пальца по горам. Он часто останавливался у Маристуен, где не раз бывал в прежние годы.

Отец был в прекрасных отношениях с родственниками мамы из Бестума. Он бывал у Сарсов не только на традиционных «воскресеньях» два раза в месяц. У него всегда было о чем побеседовать с ними. Они же редко бывали в Пульхёгде. Тетя Малли, самая подвижная из них, и рада бы приезжать к нам почаще, да боялась бросить «своих мужчин».

У нас теперь вообще мало кто бывал. Когда отец звал гостей, то непременно приглашал Анну Шёт и Торупа. Иногда навещала Ингеборг Моцфельд, которая давно уже была замужем за управляющим епархией Торвальдом Лёкеном. Не думаю, чтобы у отца было много общего с добрым и жизнерадостным Торвальдом, зато он любил слушать, как Ингеборг играла мамины песни, которые напоминали ему о прошлом.

Порою нежданно-негаданно приезжал Ула Томмесен обсудить политические вопросы со своим другом. (29) Дело часто кончалось тем, что отец давал согласие написать статью для «Тиденс Тейн», которую Томмесен основал в 1910 году, порвав с «Вердене Ганг». Ни с кем из старых знакомых, бывавших еще в Люсакере, я не подружилась так крепко, как с Томмесеном и его милой, душевной женой. Они переселились в хорошенький домик в районе Абедиенген и часто приглашали меня на свои скромные вечера. Бывало, что я у них обедала и, если мы были одни, упрашивала Томмесена почитать стихи. Об этом его таланте я узнала от Эрика Вереншельда.

«Он читает лучше многих актеров,— говорил Вереншельд,— просто, искренне. Ему никогда не изменяет чувство меры».

Так оно и было, но стихи так волновали его, что ни он, ни мы не могли удержаться от слез.

При прощании они всегда спрашивали: «Когда ты снова придешь? Не забывай, что тут у тебя есть старые друзья, которые тебя любят».

Я знала, что Ула Томмесен говорит искренне. Я как бы по наследству заняла в их сердцах мамино место. Такое же чувство испытывала я и у наших соседей — Вереншельдов и Эйлифа Петерсена, где я, как и в детстве, продолжала бывать запросто. С Ионом и Дагфином у нас сохранилась прежняя дружба. Конечно, у каждого из нас появились новые друзья — а у Иона вдобавок многочисленные подруги,— но теперь мы трое представляли «культурный центр Люсакера» и старались поддерживать эту репутацию.

Вереншельды не устраивали таких больших приемов, как Магда и Эйлиф Петерсены, но их дом всегда был открыт для друзей Вернера, Баскен и Дагфина. И тетя Софи по-прежнему угощала всяческими лакомствами из своих запасов. Но сейчас ноги у нее стали совсем плохи, и, когда нужно было достать из погреба или с чердака яблоки или банку варенья, она, щурясь сквозь лорнет, умоляюще посматривала на Вернера: «Ты пойдешь или я?» Разумеется, шел Вернер.

Собираться у Вереншельдов мы не могли без приглашения, но уж день Святого Ханса обязательно праздновали у них. Сперва на веранду подавался кофе со сладким пирогом, потом все шли на берег фьорда и в сад. А под конец, когда на берегу догорят костры, в гостиной начинались танцы и не кончались до зари. Только отец не велел мне задерживаться допоздна. Обычно он отпускал меня до определенного часа и частенько не закрывал дверей своей комнаты, чтобы самому убедиться, что я пришла вовремя. Мне приходилось или прерывать веселье в самом разгаре, или выдерживать дома бурю. А как раз в ночь на Святого Ханса я предпочитала получить дома нагоняй.

Однажды Арнстейну Арнебергу пришла в голову шальная мысль послать в Пульхёгду парламентаров среди ночи. Он думал, что удастся смягчить Нансена. Многие из гостей во главе с Арнстейном двинулись к Пульхёгде и выстроились под окнами отцовской спальни. Арнстейн откашлялся:

«Фритьоф Нансен»,— начал он осторожно. Никакого ответа. «Фритьоф Нансен» — опять молчание. Тогда он взмахнул руками, и раздался хор: «Фритьоф Нансен!»

Заспанное лицо отца показалось в окне. Пока что оно не очень смягчилось.

«Что это значит?» — «Можно Лив остаться подольше?» — заикаясь спросил Арнстейн. «К дьяволу с такой чушью!» Казалось, вот-вот разразится гроза. Но Арнстейн был в приподнятом на-



строении и не падал духом: «Мы только пришли спросить, можно ли Лив...»—«Лив может оставаться, сколько захочет, черт побери!»— прорычал отец, захлопывая окно.

Арнстейн и все остальные вернулись гордые собой. Отец разрешил, все в наилучшем порядке! Я в этом не была уверена. Но мы танцевали до рассвета, пока рыбацкие лодки не вышли в море. К моему удивлению, отец наутро ничуть не сердился.

«Верно, тебе было очень весело вчера вечером,— сказал он,— но что за дикость посылать всех просить за себя — не тиран же я в конце-то концов?»

Перед отъездом в Сибирь отец надумал отвезти детей (кроме Коре — он в то лето уезжал) в Сюдволлен.

Мы ехали в нашей старой желтой коляске, запряженной гнедым, через всю округу Берум и по лесам Соллихегде. Поездка наша заняла целый день, и все время пекло солнце. В то время Сюдволлен был маленькой сельской гостиницей, с хлебом и конюшней, посреди лесов и полей. Отцу нравилось здесь, и он с удовольствием показывал нам этот край. Вечером настроение его изменилось, и он записал в дневнике:

«Лив и дети уже попрощались перед сном, скоро и мне пора спать. Но так трудно уснуть, ночь слишком хороша. Я лягу у раскрытого окна, чтобы мне виден был фьорд и голубые холмы вдаль, и мне пригрезятся прекрасные голубые сны... О, зачем в высшей красоте природы столько грусти, и почему эта грусть прекрасна — к чему любить, если это приносит горе?

Кажется, в твоей душе все время бьется бессмысленное таинство природы и жизни и колеблются сокровенные струны:

Печальные слышала я голоса  
в тот час, как с небес озаренных  
светило сошло, почернели леса  
и скатилась роса  
с дерев, над водою склоненных ».

Это припомнился отцу «Водяной» Кьерульфа на слова Вельхавена — любимая песня мамы.

## VI. ПО СИБИРИ

Главное затруднение для морского судоходства между Европой и северным побережьем Азии представляют льды Карского моря. Попытки использовать этот путь для торговых сношений между Западом и Востоком начиная с 1876 года неоднократно предпринимались Англией, Россией и другими странами, и в 1911 году было создано Сибирское акционерное общество<sup>[156]</sup>, директором которого стал молодой Иона Иванович Лид. Лид часто обращался к Нансену за советом, и отец заинтересовался его планами, которые обещали большие выгоды и России, и Норвегии. Первая попытка Общества преодолеть льды Карского моря закончилась неудачей<sup>[157]</sup>. Новую попытку решили предпринять в 1913 году, использовав судно большего водоизмещения и мощности. На этот раз была сделана крупная ставка. Если и эта попытка потерпит неудачу, то Общество обанкротится.

И вот тогда-то директору Лиду и пришлось в голову пригласить в это плавание Нансена. Он считал, что к этому делу нужно подходить дипломатически. Лучше всего не упоминать пока об интересах Общества, а попытаться увлечь Нансена перспективой проделать новые исследования в Ледовитом океане, которые сыграют важную роль для освоения Северного морского пути. Лид, кроме того, решил, что если Нансен пригласит Сибирское общество — этого мало, нужно добиться официального приглашения русского правительства. Так будет куда лучше!

Лид вспоминает:

«Когда я пришел к Нансену на его виллу в Люсакере, он спустился ко мне, прыгая через две-три ступеньки сразу, как мальчишка, хотя ему было уже пятьдесят два года. Начало хорошее! Он явно не чувствовал себя слишком старым для новой схватки со льдами. „Возможность поплавать по Ледовитому океану, дойти до Енисея да еще повидать Сибирь до самого Дальнего Востока весьма заманчива,— сказал Нансен,— мне как раз нужен отдых, и там я использую его как нельзя лучше, поэтому я с радостью даю согласие"».

Были приглашены еще двое пассажиров: Иосиф Лорис-Меликов, секретарь русского посольства в Христиании, и Степан Востротин<sup>[158]</sup>, владелец золотых приисков и бывший губернатор Енисея, ныне член Государственной думы от Енисейской губернии. Современный грузовой пароход «Коррект», водоизмещением в 1650 тонн, обшили ледовым поясом и установили на его прочной высокой мачте наблюдательную бочку; в Тромсё на борт поднялся старый опытный полярный лоцман.

Для Нансена все плавание от начала до конца стало большим событием. Особенно свидание с Ледовитым океаном. «Коррект» шел по маршруту «Фрама», и потому опыт Нансена, его знание ветров, льдов и течений очень пригодились. Часто лоцман, не решаясь брать на себя ответственность, советовался с Нансеном, и советы эти неизменно оказывались полезными. А один такой совет спас всю экспедицию. «Коррект» причалил к огромному айсбергу, а Нансен по собственному опыту знал, что при таянии айсберги часто теряют равновесие и переворачиваются подводной частью вверх. Так и случилось несколькими часами позже, и все радовались, что вовремя ушли в другое место.

Нансен работал все время. Если он не сидел на марсе, высматривая путь, значит, был занят на палубе научными наблюдениями, если не давал советов другим, значит, учился чему-нибудь сам. В долгих беседах с Востротиным он из первых рук собирал сведения об условиях жизни в Сибири и ее населении. Затем он уточнял и углублял эти сведения по письменным источникам и картам и заносил материал в свои рабочие тетради.

Часто выпадала и возможность поохотиться. Однажды севернее Марресале на льду показалось стадо моржей. Нансен и Лид отправились на охоту. Лид остался в лодке, держа наготове ружье и бухту троса, а Нансен взял гарпун и осторожно пополз к огромному секачу. Подкравшись довольно близко, Нансен выпрыгнул во весь рост и изо всех сил метнул гарпун в зверя, тот замертво свалился на лед. Нансен давно уже не охотился, но не утратил сноровки и по-прежнему был в форме.

На «Корректе» все восхищались его выносливостью. Несколько раз команда вместе с пассажирами высаживались на берег поохотиться. Походы были нелегкими, участвовала в них в основном молодежь, однако все выбивались из сил после долгих переходов по тундре. Нансен же бодро шагал впереди всех, помолодевший, радостный от ощущения простора, и, возвращаясь обратно, он шел так же легко, как в начале пути.

Но даже во время этих походов он не забывал о своей работе. Шагая с ружьем за плечами, он в одной руке держал фотоаппарат, в другой — карандаш. Заметив что-то интересное или узнав что-нибудь новое, он тут же делал запись в блокноте. «Огромные знания Нансена, его живой ум и любознательность, готовность, с которой он делился своими знаниями, сделали это плавание незабываемым для всех его участников»,— вспоминает Лид.

К концу августа была пройдена важнейшая часть пути от пролива Югорский Шар до устья Енисея, и оказалось, что льды Карского моря вполне преодолимы. Советы и указания Нансена относительно плавания по Карскому морю учитывались и в дальнейшем. Судоходство к устьям сибирских рек стало развиваться и постепенно превратилось в крупное, хорошо налаженное предприятие, которое в настоящее время представляет собой необходимое звено в экономической жизни Сибири. Пробное плавание 1913 года и вышедшая затем книга Нансена «По Сибири» способствовали раскрытию огромных возможностей, заложенных в этой стране будущего.

Нагруженный сибирскими товарами «Коррект» проделал обратный путь в Норвегию за девять суток, не встретив плавучих льдов. Подтвердилась мысль Нансена о том, что конец августа — начало сентября наиболее благоприятное время для судоходства в Карском море. Директор Лид вернулся на «Корректе» домой, но для Нансена в устье Енисея путешествие не закончилось.

Здесь его, Востротина и Лорис-Меликова взяло на борт речное судно, высланное из Красноярска Вурцелем, главным инженером и управляющим железных дорог Сибири. За девятнадцать дней они преодолели расстояние, составляющее 2300 километров, а от Енисейска проехали до города еще 300 километров в тарантасе, запряженном тройкой.

Здесь, как и во всех сибирских городах, в которых они останавливались, Нансену устроили торжественную встречу. «Повсюду мы видим благожелательное и сердечное отношение,— писал Нансен.— Открытие морского пути через Ледовитый океан вызывает огромное воодушевление. За это нас, а вернее сказать, меня так незаслуженно чествуют, хотя мы были всего лишь пассажирами в этом плавании. Впечатление такое, как будто бы мы открыли целую новую эру в истории Сибири».

Нансен пользовался необычайной популярностью в России. Все знали, кто он такой, многие прочли его книги о полярных экспедициях. Повсюду ему устраивали торжественные встречи, повсюду ему приходилось выступать с лекциями (переводил Востротин). Чаще всего Нансен говорил о возможности судоходства в Карском море и о богатствах Сибири, но в Енисейске, посетив городские школы, на общегородском школьном празднике он рассказал о плавании «Фрама», и слушали его с исключительным вниманием.

В большом комфортабельном вагоне специального экспресса, предоставленного министром путей сообщения для поездки на восток, обсуждались проблемы морских сообщений между Норвегией и Енисеем. Предстояло тщательно обсудить множество вопросов о наилучшей организации сети радиостанций, о ледовом патрулировании в Карском море с помощью моторных шхун, о возможности применения аэропланов для регулярной ледовой разведки, об устройстве в нижнем течении Енисея гавани, пригодной для погрузки и разгрузки судов, о речном транспорте на Енисее. Востротин хорошо разбирался во всех этих вопросах, и «мало-помалу под толковым руководством Вурцеля была разработана целая программа.

Специальный вагон был последним в поезде, в огромное окно в конце вагона можно было обозревать огромные просторы. Нансен глядел и не мог наглядеться.

«Во время безостановочного движения на восток душа словно расширялась, стремясь впитать в себя впечатления от новой части света, вдруг открывшейся ей. Но невольно возникали опасения, что не успеть усвоить всю массу впечатлений, привести их в должный порядок. Взору открывались все новые и новые горизонты, и лишь одна мысль повторялась все более и более настойчиво: еще много места на земле, и его хватит надолго. Рано еще опасаться перенаселения».

Так доехали до самого Владивостока, а оттуда по Уссурийской дороге на север через плодородный Приморский край до города Хабаровска, где опять был замечательный прием, опять лекции и речи. Отец все время был в движении, стремясь получить как можно больше впечатлений и собрать материал. В музеях он изучал прикладное искусство коренного населения. В Хабаровске он с изумлением обнаружил, что местные сани с их загнутыми вверх концами полозьев, скрепленными между собой ремнями, удивительно похожи на те, которые он сам когда-то сконструировал для перехода через Гренландию и которые позднее стали применяться на всех полярных экспедициях. «Если не ошибаюсь, мне тогда неоткуда было узнать об этой конструкции, значит, существуют вещи, которые сами собой напрашиваются».

Проезжая по Амурскому краю, он осмотрел эту огромную почти безлюдную страну, покрытую густыми девственными лесами, горами, реками и необозримыми болотами, в недрах которой скрыты богатейшие запасы минералов и золота. Постройка Амурской дороги, которую он назвал «чудом техники», подвигалась с огромным трудом из-за плохого климата, необычной почвы и из-за эпидемий малярии и других болезней.<sup>[159]</sup> В 1913 году она была еще далеко не закончена,

большую часть пути пришлось поэтому ехать на лошадях. Нансен этому обрадовался — так было легче ознакомиться с природными условиями края. Например, он обратил внимание на многолетнюю мерзлоту и связанные с ней наледы.

Последней сибирской станцией был центр горнопромышленного Урала город Екатеринбург.

«Вот скоро и конец. И мне невольно становится грустно при мысли о том, что надо расставаться с этими обширными лесами Сибири и ее торжественно строгой природой, где только простые величавые линии и никаких мелочей. Я полюбил эту бескрайнюю страну, необъятную, как само море, страну нескончаемых равнин и гор, с закованным в лед побережьем Ледовитого океана, пустынным привольем тундры, загадочными дебрями тайги, волнистыми степями и синими лесистыми горами — где лишь местами вкраплены клочки обжитой земли».

В Петербург приехали в конце октября. Однажды вечером пошли в театр. В антракте на сцену вышел директор и объявил, что среди публики присутствует Нансен. Все поднялись, раздались аплодисменты. Пришлось отцу встать и улыбками и поклонами отвечать на овации.

Когда отец вернулся в Христианию в октябре 1913 года, Восточный вокзал был переполнен журналистами. Но он никому не стал отвечать на вопросы. «Сейчас я хочу только одного, — смеясь сказал он им, — увидеться с детьми».

Позже отец много рассказывал об этом долгом удивительном путешествии. Он привез нам и подарки — русские шкатулки и шали и многие другие удивительные вещи, каких мы никогда в жизни не видели. Отец был просто переполнен впечатлениями и новыми мыслями и идеями о географических, метеорологических и этнографических особенностях Сибири. Он сразу же принялся за обработку материала. Беседовал с русскими специалистами о систематических исследованиях процесса тундробразования, который его интересовал, о возможностях планомерного освоения пустующих земель в районе Амура и о множестве других дел. Его увлекла мысль об организации этнографической экспедиции на Дальний Восток. Говоря о путешествиях Свена Гедина, он добавлял, что «много еще требует дальнейших исследований», поэтому ему очень хотелось самому отправиться на Восток. Даже в январе 1917 года, когда Лиду предстояло поехать в Америку, Нансен поручил ему навести справки у китайского посла в Вашингтоне Веллингтона Ку, нельзя ли будет получить разрешение на путешествие по Центральному Китаю. Веллингтон Ку отвечал, что китайское правительство несомненно пришлет Нансену приглашение. Но революция в России и вслед за ней работа в международных организациях помешали этим планам.

По возвращении из поездки по Сибири Лид как-то провел вечер в Пульхёгде. Отец спросил, не собирается ли он писать о плавании в Сибирь. Лид ответил, что у него столько дел с Сибирским обществом, что ему просто не до этого. «Тогда я напишу сам», — сказал отец. Просто он по своей тактичности не хотел перебегать дорогу Лиду. Осенью 1914 года в Норвегии вышла толстая книга «По Сибири». Она сразу же была переведена на английский, а вскоре и на многие другие языки. В Европе бушевала война, и все же книга вызвала большой интерес. В Германии она вышла четырьмя тиражами. Это и понятно — книга рассказывала о континенте, доселе малоизвестном на Западе. В предисловии отец писал:

«Прошел почти год, с тех пор как была написана ббольшая часть этой книги, написана под ошеломляющим впечатлением от бесконечных просторов на востоке, в Азии, все еще ожидающих человека. Как утешительно было убедиться воочию, что на земле еще много места, где могут возникнуть миллионы счастливых семейных очагов.

И какой ужасной нелепостью представляется картина мирового пожара, который все сильнее разгорается у нас в Европе. Чем кончится это всемирное побоище, пока никому неизвестно. Оно может привести к полной переоценке всех наших жизненных ценностей и перевести старую Европу на совершенно новые рельсы, какие — пока никому не дано знать. Но одно мы знаем — великие сибирские леса, бескрайняя тайга, плавные реки и волнистые степи, лежащие в стороне от грохота битв, все еще дожидаются людей, ждут, когда людям надоест разрушение. Тогда все, что сказано в этой книге, пригодится для будущего».

## VII. ВОЙНА НАДВИГАЕТСЯ — ПРОЩАЙ, ДНЕВНИК

Поздней осенью 1913 года с Мольтке Му случился удар, после которого он так и не оправился. Силы — и духовные, и физические — все убывали, и к рождеству он скончался. Опять мы с отцом стояли над могилой, поддерживая друг друга. Мы оба потеряли одного из самых дорогих друзей.

О Мольтке Му кто-то сказал, что главным его недостатком было отсутствие эгоизма. Арне Гарборг даже предложил основать «общество защиты Мольтке Му», так он был беззащитен перед толпами денно и ночью осаждавших его людей, стремившихся воспользоваться его знаниями и фантазией. Никому он не умел отказывать. Как сказал Гарборг, «если не поставить сторожа у дверей Мольтке — и глазом не моргнешь, как его вгонят в гроб». Но такого сторожа не было, и Мольтке ушел от нас в возрасте всего пятидесяти четырех лет. Утрата была тяжелой для страны и невозполнимой для друзей. В истории нашей литературы уже давно признан его большой вклад в дело изучения народных сказок и преданий. Правда, некоторые высказывались довольно резко по поводу издания им сказок Асбьёрнсена и Му, и его даже обвиняли в том, что он якобы «переиначил» Асбьёрнсена. Но нельзя забывать, что сам Асбьёрнсен завещал ему свои сказки и поручил сделать их доступными для последующих поколений, заменив в них устаревшие речевые обороты живыми, разговорными. Вдобавок Мольтке продолжал дело Асбьёрнсена и своего отца — запись фольклора. Он разъезжал по всей стране, записывал сказки, предания и песни. И осенью 1912 года выпустил том «Норвежских народных песен времен средневековья» с предисловием, написанным им самим вместе с Кнудом Лиестелем[160].

Болезнь и смерть Мольтке произвела на отца тяжелое впечатление, но события, происходившие в мире, отвлекли его. С каждым месяцем угроза войны надвигалась все ближе. В это просто не верилось, и не одним норвежцам трудно было смотреть фактам в лицо. Война в наше время — нет, этого не может быть!

Но нашелся в Норвегии, а именно в Люсакере, один скептически настроенный человек, который сопоставлял факты и со все возрастающим беспокойством следил за ходом событий. Теперь он уже не сомневался, что «немыслимое» может произойти в любой момент. 20 мая 1913 года на большом митинге, посвященном национальной обороне, состоявшемся на площади у крепости, Нансен, выступая перед почти тридцатью тысячами норвежцев, сказал, что в случае необходимости мы должны быть готовы отстоять нейтралитет Норвегии с оружием в руках на суше и на море.

«Все говорит за то, что, если начнется новая война, она разыграется и у наших берегов. В войнах часто бывает, что большие нации нуждаются в маленьких. Никакие слова о том, что мы хотим хранить нейтралитет, нам тогда не помогут. Не помогут ни дружба, ни миролюбивые заверения. В наше время события развиваются стремительно, и, быть может, опасность нагрянет раньше, чем мы подозреваем».

Таким образом, занявшись вопросом обороноспособности страны, отец снова ушел, и гораздо глубже, чем раньше, в область внутренней политики. Он нередко говорил, и тогда, и позднее, что не хочет быть политиком, и, разумеется, не кривил душой. Но это отнюдь не означало, что он отстранился от политических событий. При своем активном отношении к жизни он не мог не принимать участия в важных политических событиях. Гуннар Кнудсен[161] впервые сформировал правительство в марте 1908 года, и с тех пор отец не раз оказывался в оппозиции к политике Гуннара Кнудсена — премьер-министра и лидера партии Венстре. Когда в 1909 году появилось воззвание о создании новой партии под руководством Кристиана Миккельсена, то отец вместе со своим шурином Эрнстом Сарсом тоже поставил свою подпись под этим воззванием, среди таких имен, как Софус Арктандер и Абрахам Берге[162], а при учреждении этой партии он считался одним из ее лидеров. По предложению Миккельсена, партию называли «Свободомыслящие венстре». Через несколько месяцев



эта партия выдвинула на выборах общую программу с партией Хейре, и коалиция победила. Гуннар Кнудсен был вынужден уйти в отставку, и после многолетнего перерыва на политической арене вновь появился лесопромышленник Воллерт Кунув<sup>[163]</sup> из провинции Сендре Бергенсхус, ставший в феврале 1910 года премьер-министром.

Насколько мне известно, отец не принимал регулярного участия в партийной работе. Во всяком случае, это подтверждается и приветственной речью, с которой выступил на пятидесятилетнем юбилее отца Йорген Лёвланд. В ней он напоминает отцу о «незабываемых годах его политической активности», имея в виду 1905 год и лондонский период. Но критическое отношение отца к политике норвежского правительства обострилось настолько, что часто вынуждало его высказывать свое мнение публично; таким образом, он более активно участвовал в политической жизни, чем это хотел изобразить Лёвланд. Больше всего Нансена волновали крупные проблемы, но порой он проявлял интерес и к вопросам, казалось бы, далеким от него. Например, в 1913 году он пишет бывшему государственному советнику Воллерту Кунуву (провинция Хедмарк) о реставрации Акерсхуса и очень обстоятельно излагает свои соображения по поводу восстановления подобных государственных памятников. Он отвергает романтическое желание воскресить ушедшие века, как это собирались сделать в Акерсхусе, и в качестве предостерегающего примера приводит бергенский Хоконсхалле<sup>[164]</sup>. Для очистки совести ему иногда просто необходимо выговориться — так сам он всегда объяснял свое неожиданное вмешательство в разные дела, будь это нечто близко его касающееся, как, например, взаимоотношения между Христианским университетом и научными учреждениями Бергена, или менее близкие ему языковые споры.

Но важнее всего для Нансена была проблема обороноспособности страны. Начиная с 1913 года она стала определять его политическую позицию и деятельность. Он развернул огромную работу, выступая и публично, и в кулуарах. Вооруженные силы страны находились в жалком состоянии, они были совершенно небоеспособными. Говорилось об этом без конца, но ничего не делалось. Отец даже не был уверен, есть ли твердое намерение решительно защищать свою страну у тех, на кого возложена ответственность за это. Одни считали, что для маленькой Норвегии бесполезно пытаться отразить нападение великой державы, другие думали о том, каких это потребует затрат.

«Неужели бесполезно?» — восклицал отец в своих речах о необходимости укрепления обороны страны. Такое безнадежное настроение казалось ему наиболее жалким. Если это бесполезно, так за что же мы боролись? Куда приведет прогресс и все «социальные реформы», если мы не хотим их защищать?

Нансен изъездил страну вдоль и поперек, всюду выступая с речами. Люди пробуждались от сладкого сна, в котором пребывали с 1905 года. Политические лидеры были недовольны нарушителем спокойствия. Дело обороны находило множество сторонников. Некоторые из них приезжали в Пульхёгду, и вечера напролет проходили в дискуссиях и разработке программы действия. Но и противников было немало, и они громко давали о себе знать. На митингах всегда собиралась масса народу, и атмосфера была накалена до предела.

Я бывала на многих выступлениях отца и до, и после начала войны. Я наблюдала и бурные восторги слушателей, и бурное негодование — однажды я была даже свидетелем того, как после одного из выступлений отца в него запустили камнем.

«Нигилисты в вопросах обороны страны — еще не самое страшное, — говаривал он. Он не мог поверить, что в трудную минуту они отрекутся от родины. — Нет, куда опаснее политики, которые, как только поднимается вопрос об обороне страны, видят в этом одну лишь нервозность и паникерство».

Гуннар Кнудсен, в 1913 году вторично ставший премьер-министром, в феврале 1914 года выступил со своим знаменитым утверждением, что «политическое небо безоблачно». Нансен ужаснулся, прочитав газетные отчеты, и через несколько дней в своей речи в посольском особняке на улице Калмейер возразил премьер-министру, утверждая, что это заявление, вероятно, недостаточно продумано.



«Я сам имел некоторое отношение к вопросам внешней политики, и я утверждаю, что, если при безоблачном небе народы Европы так усиленно вооружаются, значит, они просто безумны. Даже Ллойд-Джордж<sup>[165]</sup> склоняется перед необходимостью, даже он изменил свою политику. Не оттого ли уж, что Ллойд-Джордж считает небо безоблачным? Ассигнования Германии на военно-морской флот говорят о другом, так же как и усиленное вооружение России. Мы стоим на краю вулкана, который с минуты на минуту готов взорваться. Горе тому, кого это застанет врасплох! А мы должны быть готовы! Я предвижу будущие времена, когда три скандинавских племени сплоченно встретят любого врага».

В этой речи он коснулся также опасности довода о том, что укрепление вооруженных сил якобы послужит интересам только имущих классов.

«Более неразумных речей никогда я не слышал,— говорил он.— Имущие классы всегда сумеют устроиться. Но представьте себе, какое будущее ждет норвежского рабочего, если страна попадет под чужеземное иго, если мы потеряем свободу и право на самоопределение, когда исчезнет свобода слова. Тогда окончится время профсоюзов. Пусть рабочий спросит себя: а что, если будет введена двух- или трехлетняя воинская повинность под чужеземным игом, в чужой стране, в чужих краях, для защиты чужой власти? И такое будущее вы предлагаете своим детям?»

В мае 1914 года Хелланд-Хансен и отец отправились на судне «Армауэр Хансен» в экспедицию по Атлантическому океану. Из Плимута они взяли курс на Лиссабон, оттуда — к Мадейре и Азорским островам. В этом плавании они провели много ценных наблюдений, собрав огромный материал. В каждой гавани отец набрасывался на газеты.

За несколько месяцев до его отъезда я поехала в Дрезден, чтобы попытаться восстановить голос под руководством профессора Энгеля: я перенесла операцию горла, и на связках образовались узелки. Я жила в пансионате, где было много иностранцев,— был там и француз, и англичанин и один немец. Жили мы дружно, отлично ладили, и никому еще не приходило в голову, что почти все они скоро окажутся в окопах.

Перед отъездом отец устроил так, чтобы Одд, Имми и я провели лето в Валдресе, на сетере Фосхейм. Туда же собиралась на лето и Анна Шёт, и отец сказал, что так для него будет спокойнее. Он поручил мне смотреть за младшими. Большого труда это не составило. Дети меня слушались, и мы отлично ладили. Мне даже кажется, что многие мамы, выехавшие туда на лето с детьми, завидовали мне. Однажды вечером, когда все постояльцы пили кофе на веранде, одна из мамаш не утерпела: «А ведь у фрекен Хансен самые послушные ребятишки!»

По письмам отца я знала, какой мрачной представлялась ему обстановка в Европе. Но я никак не разделяла его пессимизма. Я была очень молода, любила танцевать, а в нашем отеле танцевали каждый вечер. Я с грустью вспоминала, как прошлым летом, когда отец навестил нас в этой же самой гостинице, мы с ним танцевали па-де-кватр, в два поворота пролетая всю залу из конца в конец. Конечно, я прекрасно понимала, что в этом году у него совсем не то настроение, но тут уж ничем не поможешь. Будем надеяться, что он все преувеличивает. И мы продолжали танцевать.

И вот гром грянул. Однажды утром на длинную лестницу отеля высыпали все постояльцы и все с газетами. «Война!»— писали газеты. Сперва все точно остолбенели, но тотчас многие бросились укладывать чемоданы. По всей стране поднялась паника. В городах толпы осаждали банки и магазины, чтобы забрать свои вклады и набить погреба и чердаки консервами, картошкой и солониной, словом, всем, что только удастся достать. И наши отдыхающие не остались в стороне.

Крестьяне были спокойнее, хотя в мыслях уже видели, как немцы шагают по долинам и жгут усадьбы. Мне тоже захотелось домой, поближе к отцу, и я позвонила ему по телефону. Ответ был характерным для отца: «Сидите на месте. Не будь такой же истеричкой, как все».

Я вовсе не была истеричкой. Просто не больно-то весело сидеть где-то в горах, не зная, что делается вокруг. Но когда мы наконец с разрешения отца приехали домой, он встретил нас в холле, замкнутый, молчаливый, мрачный, с опущенной головой и угрюмым лицом. Телефон трезвонил не

переставая. То друзья спрашивали его мнение, то пресса просила у него интервью, то он был нужен королю и королеве. Иногда звонили даже некоторые политические деятели.

Но время шло, а великие державы как будто не интересовались Норвегией. Норвежцы с облегчением вздохнули. Конечно, газеты ежедневно печатали сообщения о боях и ужасах в Европе, но фронты от нас, по счастью, были далеко, и, значит, нас все это не касалось. А впрочем, рассуждали многие, и война-то должна скоро кончиться — ведь у них такая уйма страшного, нового оружия, и они все разом пускают его в ход. У нас же начался бум. Оживились морские перевозки, в страну потекли деньги, словом, были все основания использовать это для подъема экономики вместо того, чтобы выбрасывать средства на оборону, в которой нет никакой нужды.

Отец же упорно стоял на своем. Бельгия потому и оказалась легкой добычей, говорил он, что рассуждала, как мы, и не подготовила свои вооруженные силы к обороне страны. В любой момент и мы тоже можем разделить участь бельгийцев. Все время существует опасность, что у наших берегов разыграются морские сражения между воюющими державами, и тогда порты Норвегии приобретут для них огромное значение.

В ответ подымался стон: «А затраты-то какие потребуются!» «Конечно,— отвечал Нансен,— быть мужчиной недешево стоит, а тем более — настоящим мужчиной! И вот еще вопрос — о чем думают наши политики, не заботясь о создании запасов в стране? К чему нам деньги, если наши гавани будут блокированы и великие державы откажутся поставлять нам товары? Мы не только плохо вооружены, но вдобавок не позаботились о самом необходимом для поддержания жизни. Если нам удастся выйти из этого кризиса целыми и невредимыми, то не стараниями тех, кто поставлен отвечать за это».

Не один отец с недоверием относился к главе правительства. Когда пришло известие о начале войны, Гуннар Кнудсен находился в отлучке по своим частным делам в Боргестаде, и правительство вынуждено было принять первые, важнейшие решения без премьер-министра. В ночь на 2 августа министр иностранных дел Нильс Илен по телефону оповестил Кнудсена и попросил немедленно вернуться, но тот решил показать, кто хозяин, и не приехал даже утренним поездом. Юхан Кастберг с возмущением пишет в своем дневнике, что Кнудсен приехал только вечером, и добавляет, что этот случай вызвал возмущение в оппозиционной прессе и раздражение во всех кругах против правительства, и особенно против его главы, крайняя медлительность которого не раз мешала проводить многие из намеченных правительством мер, ибо его девизом было: «поспешишь — людей насмешишь».

Так думал Кастберг, и Нансен был возмущен всем этим не менее его. Он не мог больше спокойно смотреть на подобную беспечность и 11 августа посетил одного из президентов стортинга, нотариуса С. Т. Орстада, чтобы узнать его мнение о политической обстановке и обсудить с ним предложение о формировании коалиционного правительства. Встреча эта не слишком его обнадежила, и на другой день он послал советнику Кунуву письмо с изложением состоявшейся беседы:

«Подтверждается сложившееся у меня впечатление, что в настоящий момент едва ли есть надежда на какие бы то ни было перемены. Мне даже кажется, что наш премьер — нечто вроде неприкосновенной священной коровы. Между тем Орстад сделал странное заявление о том, что, мол, в случае войны нынешнему правительству и его главе придется, естественно, уступить место коалиционному правительству, потому что тогда необходимо будет привлечь все партии. Такое рассуждение показалось мне весьма безответственным. Если правительство должно уйти, так разумнее сделать это, не дожидаясь кризиса, я прямо об этом сказал, но президент стортинга считает, что время еще терпит».

«Если не останется иного выхода,— пишет Нансен далее,— я думаю выдвинуть требование о создании коалиционного правительства публично. Я убежден, что это требование будет поддержано самыми разными кругами по всей стране».

Это намерение Нансена было совершенно серьезным, о чем свидетельствуют и дневники Кастберга. Он рассказывает, как Нансен посетил его в первую же неделю войны. Нансен сообщил, что ему поручено выступить на большом антиправительственном митинге. Кастберг посоветовал ему не выступать и сказал, что в настоящее время долг каждого — сплотиться вокруг стортинга и правительства и всячески содействовать им. Кастберг пишет, что Нансен якобы согласился с ним и отсоветовал проводить митинг, но Кастберг все же рассматривает этот визит Нансена как попытку «прозондировать почву для создания коалиционного правительства во главе с Миккельсеном».

Под давлением обстоятельств и оппозиционных настроений правительство назначило нового министра вооруженных сил — генерала Кр. Хольтфота, и, по мнению Кастберга, это несколько улучшило обстановку.

Спустя несколько недель Нансен, выступая в Студенческом обществе, призвал студентов объединиться для защиты страны и, не торгуясь, примириться с несением воинской повинности в армии. В конце октября он делал доклад «О праве маленьких наций» в актовом зале университета. История, говорил он, доказывает, что маленькие нации дают человечеству величайшие ценности. Но когда крупные нации утверждают свое право насилия над малыми, их интересует не качество, а количество. Им не важно, где граждане лучше, им важно, где их больше.

«Есть вещь, куда более ценная, чем даже сама жизнь,— это культурное наследие, которое мы должны донести до будущих поколений. Оно дает маленьким нациям право на жизнь. Черен будет тот день, когда с лица Земли исчезнут маленькие нации.

Но где есть право, там есть и обязанность! Каждое маленькое государство обязано беречь свою культуру и передать это наследие грядущим поколениям».

В 1915 году, как уже много раз прежде, Нансен выступил с праздничной речью в честь 17 мая на Крепостной площади. Никогда еще страна не переживала столь критического момента. Почти вся Европа была охвачена пожаром, сметены все принципы международного права.

В этот яркий весенний день я стояла на площади рядом с Хелланд-Хансеном и другими друзьями. Солнце сияло над толпами людей, от легкого ветерка колыхались флаги и знамена. Какое-то необычное настроение царило на площади, все взоры были устремлены на трибуну. В то время еще неизвестен был микрофон, но голос отца, удивительно мощный, проникновенный, глубоко воздействовал на слушателей. Он сам был горячо убежден в правоте своих слов, а политические события за последние полгода отнюдь не позволяли успокаиваться.

«Мы, норвежцы, воображали, что мы передовой народ. У нас были свои великие писатели и художники, с которыми мы неважно обходились, но за чей счет прославлялись. Теперь их нет, и нам почти нечем похвастать. Но еще находятся простачки, которые бродят среди нас с баснями о том, будто мы передовая нация. Невольно хочется спросить, в какой же это области норвежцы и впрямь сейчас впереди. Где она, на суше или на море? Нет, гораздо лучше поступит тот, кто постарается разъяснить нашему народу, который отнюдь не является передовой нацией, что ему теперь грозит серьезная опасность оказаться за бортом, даже в сравнении с нашими ближайшими соседями, если только мы всерьез не возьмемся за ум. Пока еще не поздно. Сейчас же! Похоже, что мы, норвежцы, ищем себе задачу, вокруг которой стоило бы сплотиться. Есть одно такое дело, воистину важное в наше грозное время для будущего нашего народа,— это оборона страны».

Весь день 17 мая город жил эйдсвольским настроением<sup>[166]</sup>. Мы пошли отметить праздник в ресторан. Но просто есть и пить нам показалось мало, захотелось сделать что-нибудь полезное. Молоденькая скрипачка, которая была с нами, захватила с собой скрипку, и мы, как бродячие актеры, стали ходить из кафе в кафе. Профессор Хелланд-Хансен призывал укреплять оборону страны и напоминал об утренней речи отца, скрипачка играла, вкладывая в музыку всю душу, а я пела простые народные песни. Повсюду мы имели большой успех, и когда я потом обходила столики со шляпой Хелланда, в нее звонко падали скиллинги. В результате у нас набралась кругленькая сумма, и мне выпала радость возложить ее на алтарь дела обороны в «Тиденс Тейн». Ула Томмесен был очень растроган и на прощанье крепко меня обнял.

Но необходимо было неустанно твердить об обороне страны, и Нансен не сдавался. В этом же году при посредстве Союза обороны Норвегии<sup>[167]</sup>, председателем которого он был, он опубликовал большую статью «Пока еще не поздно».

Десять лет назад мы объединились для общего дела, писал он, то была борьба за нашу независимость от Швеции. Когда цель была достигнута, многие подумали, что для Норвегии настанут новые времена. В тот раз речь шла о защите от Швеции, если дело обернется плохо. А сейчас, когда нам грозят другие, и причем большие, опасности, сплочены ли мы, готовы ли?

Он указывал, как соблазнительна для великих держав Норвегия с ее хорошо укрытыми портами, лесом, залежами руды и избытком водной энергии. Неужели кто-нибудь верит, что можно уберечься от воров, оставляя двери без запора? Довольно почитать историю или посмотреть, что уже произошло в этой войне, чтобы понять одно: ни на какую мораль в международных отношениях положиться нельзя.

Он приводил ужасающие факты: например, что в начале войны нас можно было бы уморить голодом за несколько недель; что мы не в состоянии выставить и половины того войска, которым должны бы располагать; что внушает серьезное беспокойство нехватка вооружения и прежде всего амуниции; что наш флот слишком слаб для защиты побережья; что в наших укреплениях слишком мало пушек, да и те слишком маломощны и к тому же устарели; что у нас не хватает офицеров, что офицеры и солдаты одинаково слабо подготовлены.

Про нас говорят, писал Нансен далее, что мы политически просвещенный народ. Во внутривнутриполитической жизни это, может, отчасти и правда. Во внешней же политике мы совсем не разбираемся. Мы так долго находились под чужой опекой и привыкли думать только о наших внутренних разногласиях, что, еще в 1905 году став суверенным государством, самостоятельно строящим свои отношения с другими странами, мы до сих пор не сумели понять, какие это налагает на нас обязанности. Все время слышны разговоры о разоружении, но никто не думает о внешнеполитической стороне этого вопроса.

О том, что Нансен в своей борьбе за дело обороны страны не был поборником милитаризма и войны, свидетельствуют его собственные слова и вся его жизнь и все его поступки.

«Неужели где-то светит солнце?» — записано в отцовском дневнике в первый день пасхи 1915 года. Выдалось несколько свободных дней, и он смог наконец подумать о себе самом:

«О, хоть немного отдохнуть с теми, кто уже ушел. Осмунд, мой милый, любимый мальчик, вот уже два года, как тебя нет, — какая пустота в моем сердце! Всегда, до последней минуты, ты думал о других. Не было на свете души чище и благородней! А ты умер. Пусть бы умер я, а ты остался жить и показал миру, каков поистине хороший человек. Но и ты, и Ева ушли, а я, меньше всего созданный для жизни, остался — сколько это еще продлится».

В такие свободные моменты настроение у него бывало не слишком жизнерадостное, но теперь он проявлял, как видно из дневника, больше здорового цинизма и стойкости, чем несколько лет назад. Вот его слова, свидетельствующие об этом:

«Есть два рода женщин и два рода любви. Одни, просыпаясь утром, думают: что бы мне сделать сегодня такое, чтобы ему было хорошо? Таких мало, но они встречаются.

Другие просыпаются по утрам с мыслью: что бы мне сделать сегодня такое, чтобы мне было еще лучше, как бы мне для этого его использовать? Таких много.

О господи, зачем еще сокрушаться. И горести наши — всего лишь тени, пролетающие мимо. Через сто лет уже все будет забыто, и нервы давно успокоятся.

Мы — не пуп земли».

После продажи Сёркье отцу негде стало охотиться на куропаток, и он теперь часто отправлялся в летний домик дяди Александра, что в Халлингдале. Дядя Александр всегда радовался, если отец уходил с ним в горы. В городе их пути все более и более расходились. В горах они вновь становились близки, почти так же, как в детстве в Нурмарке.



Отец записывает в дневнике:

«Как нужны мне горы, одиночество, как нужно мне время, чтобы вновь узреть ценности жизни. Какой покой, какая дивная красота! Взору открываются просторы и высокое небо, и великолепные краски осени. О, неужели эта красота, в которую погружается душа, минет, не оставив следа, как золотистое облачко? Я хочу, чтобы каждая минута превратилась в кристалл, который светился бы во мраке моих воспоминаний. Горы переживают сейчас лучшую пору, и, как все лучшее, она недолговечна. Как жаль, что блистательная осень до сих пор никем не воспета!».

Мне часто бывало жаль, что я больше не ходила на охоту с отцом. Осень в Сёркье вспоминалась мне в праздничном сиянии. Но, как и многое другое, она принадлежала той, «нашей прежней» жизни, когда еще была жива мама и все было иначе. Правда, отец иногда брал нас с собой в горы, но для таких прогулок у него слишком редко находилось время.

В 1915 году он съездил с нами в Йеннесхейм, где снял для нас на все лето избушку у озера Йендина. Как сейчас вижу — вот он шагает в распахнутой на груди рубашке, сдвинув шляпу набекрень, щурится от солнца и показывает на знакомые вершины и края вдаль. Когда мы сделали привал у ручейка и разложили снедь, я невольно вспомнила прежние дни. Отец подарил нам кофейник для летних прогулок по горам, и сейчас мы его обновили. Мы набрали хворосту, отец разжег костер, поставил на камнях кофейник. Потом мы положили в кофе масло вместо сливок и помешали его веточками голубики, совсем как прежде. И отец пришел в лирическое настроение и декламировал стихотворение Ибсена «На высотах» и отрывки из «Пера Гюнта».

А вечером он принялся учить Одда, как нужно обращаться с удилищем, которое он ему подарил, и тут идиллия кончилась. Леска запутывалась, и Одду никак не удавалось ее распутать. У отца лопнуло терпение: «Рыбак из тебя никудышный, парень!» — взорвался он. Одд расстроился, а глядя на него, и я.

Потом отцу пришлось взять свои слова обратно. Уже на другой день после его отъезда Одд ушел на реку с новым удилищем. Часы шли, Одд не появлялся. Я бегала по берегу, звала Одда, пока не охрипла, и совсем было отчаялась. Наконец уже в сумерках я заметила далеко впереди точечку. Конечно, это Одд, он раз за разом забрасывал леску, а потом медленно, как учил отец, выбирал ее.

«Одд, где это ты пропадал целый день?» — еле выдохнула я, добежав до него. «Я? — Одд удивленно поднял на меня глаза. — Я просто удил рыбу». — «Ну, и поймал что-нибудь?» — «Нет, даже не клюнуло ни разу!» — «Неужели же ты не проголодался?» — «Ага, а разве уже так поздно?».

Потом, когда я рассказала отцу, как Одд просидел целый день на реке, забыв о времени и о еде, хотя у него даже не клевало, отец довольно улыбнулся: «Ну, что ж, пожалуй, я поторопился. То, что ты говоришь, звучит неплохо. Вот увидишь, из него все-таки получится рыбак». Так и вышло, к великой гордости отца.

Вернувшись домой, отец с первой же почтой прислал мне сборник стихов Ибсена с подписью «Нежно целую, папа». Хотя Ибсен и побывал в горах всего один раз, писал мне отец, его стихи об этой единственной прогулке очень подходят к Йотунхейму. Еще во время сборов отец положил в мой чемоданчик немало книг. Несколько книг Ханса Е. Кинка[168], которым он особенно увлекался в те годы, а также «Викторию» и «Пана» Кнута Гамсуна. Я не знаю, нравились ли отцу другие книги Гамсуна, но от этих двух он был в восторге. Я проглотила их, и не раз, но должна признаться, что книги Кинка так и вернулись домой нечитанными. До них я еще не доросла. Я наказала отцу писать мне обо всем, заранее зная, что он этого не исполнит, но он все-таки написал, что сейчас позирует Вереншельду. Обычно он в этом отказывал художникам. По его словам, это отнимает слишком много времени, а ведь есть куда более важные дела. Но Вереншельд — дело иное: «Мы ведь можем разговаривать, пока я стою». Вереншельду разрешалось рисовать и писать отца, когда бы ему ни вздумалось, а это случалось не раз за все эти годы. Мне кажется, что лучше всего он изобразил отца в облике Улафа Трюгвассона[169].

Отец писал также о том, какой радостью было для него новое свидание с Йотунхеймом, и сообщал, что он сам приедет за нами. «Здесь свобода и бог. Их обрел я один. Все другие бредут в долине»,— цитировал он Ибсена[170].

По его дневнику я вижу, что он понимал эти слова буквально. Однажды вечером, отправившись верхом за город, в Клевстуен, он записал:

«Меня влечет лишь в тот лес, куда не ступала нога человека. Там бродил бы я до изнеможения и слышал бы тихое гудение вершин — то дыхание вечности, чье воздушное царство вздымается над сумрачными елями. И там услышал бы я милый голос, трепетный от любви и нежности,— только его я бы слышал. И радостные крики моего Осмунда встретили бы меня, как в последнее мое возвращение с севера. А после уснуть, уснуть непробудным сном.

Какая ночь в лесу! Мрачно и тихо под хмурым ночным небом, но которому несутся тучи. Станный полумрак под сенью безмолвных елей. Воздух после дождя мягок и влажен. Пахнет лесом и одиночеством.

Так ли уж никчемна жизнь, если она дарит такую ночь? Две белые бабочки порхают меж темных елей и странно как будто бы светятся в ночной тиши. Садятся то на одну ветку, то на другую, миг — и уже полетели дальше, все выше и выше — и вот улетают в самое небо, как белые мысли. Но небо так мрачно, все серо от нависших туч».

На этом кончается дневник, летним вечером 1915 года. Остальные белые его листы рассказывают, что с тех пор отец перестал вести дневник. Свои впечатления и мысли, вызванные многочисленными поездками, он записывал всегда, и мы встречаем их позднее в его речах и статьях. Но ни слова нет больше о том сокровенном, что касается его самого. Он как будто сознательно порвал с чем-то.

## VIII. НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Встречать Новый год мы любили у тети Малли и дяди Ламмерса, там всегда бывало хорошо и весело. Собирались обычно дядюшки со второго этажа, тетя Андреа и дядя Улаф со своими детьми Ингеборг и Микаэлем, Анна Шёт и профессор Торуп, Майя Миккельсен, а также мы, обитатели Пульхёгды, иногда приходили и другие гости, все, кого хотела порадовать тетя Малли. Она угощала индейкой, гусем или куропатками и всем, что дарили ей на рождество друзья и ученики — хорошим вином и сигарами, огромным количеством леденцов и всяких лакомств. После обеда обязательно затевались игры, хотя дети давно уже стали взрослыми.

Дядя Эрнст очень одряхлел, и общество теперь мало его интересовало. Утонув в своем кресле, отсутствующим взглядом смотрел он куда-то вдаль. Но если отец заводил речь о политике, то дядя Эрнст по-прежнему очень решительно отстаивал свои мнения.

В канун 1916 года отец работал над статьей «О положении скандинавских стран до и после войны» и обсуждал с дядей Эрнстом различные проблемы. Доддо тоже принял участие в спорах и, войдя в азарт, они так расшумелись, что тетя Малли перестала смеяться: как жаль, что отец вечно нападает на правительство. Наш замечательный Нансен вообще-то, как всегда, прав, и мы, конечно, гордимся, что он член нашей семьи. Но самой тете Малли так нравится Гуннар Кнудсен. «Ведь это добрейший человек,— грустно говорила она,— исключительный семьянин, верный друг, всем готовый помочь». Ну разве не может Нансен быть немножечко к нему подобнее?

Отец все это терпеливо выслушивал. Ему, конечно, жаль разочаровывать тетю Малли, но хорошие качества в личной жизни не имеют к политике никакого отношения! К сожалению, во взглядах на управление страной они с Гуннаром Кнудсеном расходятся, и тут все другие соображения отступают на задний план.

В январе 1916 года статья Нансена появилась в журнале «Самтиден». Он писал, что, хотя сейчас рассуждения о том, какое положение сложится в Европе и у нас после войны, и могут пока-



заться досужим занятием, однако как бы то ни было, а перед нами наверняка встанут трудные задачи, независимо от того, попадем или не попадем мы в общий водоворот. Европа будет лежать в руинах, потеряв цвет своей молодежи. История показывает, что после каждой крупной войны требуются усилия многих поколений, чтобы вновь обрести силы и восстановить все, сметенное войной. «Совершенно очевидно, что, когда мы вновь примемся за мирные дела, решающее значение будут иметь нейтральные народы — если таковые найдутся в Европе,— способные справиться с этой задачей».

Нансен писал далее, что, отнюдь не желая умалять значение индустрии и коммерции, сам он, однако, убежден, что величайшее значение для возрождения Европы будет иметь духовная культура. В этом деле нейтральным народам предстоит стать не просто посредниками между враждующими лагерями, но носителями духовного прогресса. Они должны обеспечить непрерывность культурного развития.

«Если взглянуть на обстановку в нашей стране, каждому мало-мальски сведущему человеку станет ясно, что необходимо в корне изменить нынешнее убогое положение вещей».

Нансен берет близкий для него пример: состояние науки. «С полным правом можно говорить о том, что будущее любой нации и ее место в ряду других народов зависят от уровня и интенсивности ее научной мысли. В наш век это играет немаловажную роль. Всякому дальновидному государственному деятелю это понятно. Как же обстоит дело у нас? Государственных деятелей в Норвегии не хватает, зато политиканы у нас есть. Но ни один из них еще ничем не доказал, что понимает всю важность вопроса».

Первое условие успешного развития научных исследований в любой стране — постоянный приток новых сил. Второе — об этих новых силах надо заботиться. Им нужно создать настолько благоприятные условия для работы, чтобы они не выбивались из сил в заботах о хлебе насущном, заботах, которые не приносят им никакой радости, а отечеству — никакой пользы. Понятно, что существующие условия отпугивают молодых, и они более охотно обращаются к практической деятельности. Поэтому ослабевает приток в науку молодых сил. В результате наша наука пришла в упадок, и мы прямым путем приближаемся к застою.

«Правда, ходят слухи, будто бы наши политики собираются кое-где увеличить на несколько сот крон жалование и что это несколько поможет в борьбе с бедностью. Но это никоим образом не разрешит наших основных трудностей и не поможет начать новую эру в развитии нашей науки. Для норвежской науки, как и для всей скандинавской науки, наступает время расцвета. И сумеем ли мы воспользоваться благоприятным моментом — в значительной степени зависит от наших политиков».

Нансен по-прежнему считал очень важным для всех северных стран поддерживать нерушимое единство. Это необходимо как для сохранения нашего нейтралитета, так и для решения наших задач в области культуры. Мы должны крепить наше сотрудничество, а тем самым увеличивать наш вклад в мировое развитие.

«Норвежскому народу сейчас нужнее всего, чтобы во всех областях его руководителями были самые способные люди страны. Необходимо руководство, обладающее должной проницательностью и твердой рукой,— чтобы сначала уверенно провести нас сквозь все грядущие трудности военного времени, а они все возрастают, а затем, по окончании войны, разрешить вставшие перед нами огромные задачи».

Временами и у премьер-министра Кнудсена, и у министра иностранных дел Илена возникало чувство, что Нансен ополчился лично против них. Но это было не так. Нансен боролся открыто и думал прежде всего о стране. Он считал делом чести говорить правду и видел в этом свой долг, хотя и крайне малопривлекательный. И подлинным облегчением бывала для него всякая возможность вернуться к своей «настоящей жизни» — к науке. Хелланд-Хансен, так же как и отец, купивший сезонный билет

для проезда по Бергенской дороге, частенько наведывался к нему, и в эти тяжелые годы было напечатано немало научных работ.

Чтобы им не мешали спокойно работать, отец придумал встречаться с Хелландом на полпути. Иногда они останавливались в Халлингдале, но чаще отправлялись в горы, или в Финсе, или в Хаугастель[171]. Сразу за дверями начинались горы, и работа великолепно сочеталась с отдыхом на открытом воздухе. Случалось, что им и здесь мешали, но тут уж не иначе, как с их доброго согласия.

Однажды произошел такой случай. В Финсе жили тогда две дамы, знакомые отца, работа была отложена. Каждый день он ходил на лыжах и каждый вечер танцевал. Началась метель, и Хелланд надеялся, что наконец-то Нансен возьмется за работу. Куда там! Дамы все-таки решили кататься на лыжах, и Нансен сослался на то, что непростительно отпустить их одних в такую погоду. Они захватили с собой завтрак и снарядились, точно на Северный полюс. Но в пятидесяти метрах от отеля стоял сарай, который зима превратила в снежную хижину. И, укрывшись там от яростной метели, они в тепле и уюте проболтали полдня. Поневоле Хелланд-Хансен сам взялся за работу. За окном мело все сильнее, и он стал беспокоиться. Гонг позвал обедать, а великих лыжников все нет и нет. Скоро беспокойство охватило весь отель, и стали уже подумывать, не пора ли отправляться на поиски, как вдруг все трое вернулись, оживленные и хохочущие. И ни от одного не добиться разумного слова. Понятно, что остальные обитатели отеля не разделяли этого веселья. И как только Нансен додумался взять с собой дам в такую опасную погоду! Ему просто незаслуженно повезло, что они вернулись живыми и невредимыми.

«Верно, на дворе непогода, но дома и того хуже»,— отшучивался Нансен, и не думая оправдываться.

В другой раз друзья поселились в Хаугастеле, это было в марте 1916-го, и славно поработали. Ежедневно они ходили на лыжах, ведя дорогой ученые разговоры. Как-то вечером заглянули в Финсе и, пока сидели в гостиной, глядя на открывающийся из окон вид, Нансену пришла в голову одна мысль. В нем уже давно шевелилось желание повторить лыжный переход 1885 года, и теперь он не устоял. Андреас Клем, директор отеля в Хаугастеле, сразу же запросил по телефону прогноз погоды на следующий день. Прогноз для западной части страны был таков: «Весь день ясная погода». Директор Клем и сам не прочь был составить Нансену компанию, если тот надумает отправиться в путь.

На следующее утро, пока все еще спали, они отправились поездом к Халлингскейду, расположенному как раз там, где тридцать один год назад Нансен не мог отыскать под снегом ни одной пастушеской хижины. Опять с ним была собака, наст был такой же, и все тот же поразительный вид открывался с вершины Воссескавлен на освещенные утренним солнцем зубцы гор. Но вот начался спуск. Нансен чувствовал, что тело его уже не так тренировано, как в молодости. Спускаясь к озеру Калдеватн, он не раз падал на крутых поворотах, и все тело у него ломилось. От этого озера можно было выбрать более удобный маршрут, чем тот, которым шел Нансен в 1885 году. После постройки Бергенской дороги здесь стало бывать много лыжников, и они нашли более удобные спуски, но отец хотел идти старым путем. И чуть было не раскаялся. Таких трудностей он, казалось, не встречал ни разу в жизни. И невольно с уважением вспомнил собственную молодость. Взяв лыжи под мышку, они вырубали во льду ступеньки и понемногу спускались. Отец нахваливал свою единственную, зато надежную палку, которая глубже врубалась в лед, чем две палки Клема с кольцами. Они, вероятно, хороши на плоскогорье, но в такой местности от них толку мало. Один спуск был настолько крут, что пришлось бросить рюкзаки. Они швырнули их вниз и увидели, как те исчезли в долине. Становилось все труднее, не раз приходилось им карабкаться вверх и искать другой спуск. Нансен припомнил, что и в прошлый раз было то же самое, но теперь это давалось ему куда труднее.

Наконец они спустились и разыскали рюкзаки. Потом лыжня вывела их на дно долины к станции Упсете. Вскоре, пыхтя, подошел паровоз и поднял их в Финсе, где они наелись доотвала и пришли в превосходное расположение духа.

«Подумать только, что он вообще оказался в состоянии повторить эту рискованную прогулку!— писал об этом Йоханнес В. Йенсен.— Хотел бы я быть на его месте и иметь возможность не поминать о подвиге тридцатилетней давности, не пропавшем зря. Подумать только, каким надо обладать верным инстинктом, чтобы сохранить вкус к делу, совершенному из молодого буйства, из простого желания дать волю своим порывам, и суметь повторить его в годы, когда сам уже стал отцом взрослых детей».

Война шла своим ужасным чередом, и будущее Норвегии было мрачным. Усилилась подводная война, все чаще суда подвергались атакам, и вместе с ними погибали наши моряки. Германия угрозами добила заключения торговых договоров, и Англии все труднее было присылать нам уголь. Вооруженные силы страны были значительно укреплены, но далеко еще недостаточно. Наши политические деятели уверяли также, что заботятся о снабжении страны, что хлеба у нас достаточно, и нет, никакой необходимости вводить хлебные карточки и ограничения.

Нансен был иного мнения. Необходим жесткий контроль, хотя бы для того, чтобы приучить народ к бережливости и укрепить в нем уверенность в руководстве, чего вряд ли можно добиться, пока правительство не желает действовать гласно.

Нансен призывал помнить о том, что, хотя обеспечение страны продовольствием связано с большими трудностями, но, пока истинное положение вещей неясно, не может быть никакой уверенности в будущем. «Может быть, втайне все уже сделано и готово? Мы спрашиваем все более настойчиво, но не получаем ответа».

Доверия к правительству не вызывало и то, что оно всякую критику воспринимало как сведение партийных счетов. «Нужно действительно обладать душой торгаша от политики,— писал Нансен,— чтобы сейчас думать об интересах своей партии». Сейчас перед нами встали вопросы совсем иного масштаба, вопросы, от которых зависит, «быть или не быть» Норвегии ныне и впредь.

Нансен часто бывал у короля и имел с ним продолжительные беседы. Обоих волновали одни и те же проблемы. Если Норвегия окажется втянутой в войну — что тогда? Если же нам повезет и мы останемся в стороне — что будет, если наши гавани заблокируют? Готовы ли мы к такой ситуации?

Имми и Одд отправились со мною на лето в горы. Коре, который собирался стать лесоводом, уехал далеко в леса, к северу от Стейнкьера. Отец остался в Пульхёгде один, но никак не мог сосредоточиться на своих научных занятиях. Никто не мешал ему. Меньше всего политики — они были только рады, что он молчит. Они говорили, что он не разбирается в политике. Легко со стороны указывать, как следовало бы поступить, куда труднее тем, на кого возложена ответственность.

У отца были острые углы, и время не сгладило их. К тому же обтекаемость была вовсе не в его характере. И до того надоела ему эта обтекаемость, встречавшаяся вокруг на каждом шагу, что он не выдержал и отправился в горы глотнуть свежего воздуха. Как-то в июле мы получили от него открытку из Отты, что он в долине Гудбрансдаль[172]. Он просто сунул в рюкзак работу и захватил с собой удочку.

Через перевал он пошел один, вот и вершина, и у ног расстилается все плоскогорье, то поросшее кустарником, то совсем безлесое, прямо напротив куполами вздымается к нему цепь Рондских гор, позади осталась долина и люди. Здесь дышишь легко, полной грудью. Здесь отдыхаешь и мыслями, и душой. Но всплывают другие картины. Они рисуют окопы, танки, груды изувеченных человеческих тел.

«Нет, нет, от этих ужасов никуда не денешься. Они не оставят в покое. Кошмар безумия, и никто не в силах прекратить его. За что они воюют? За власть! Только за власть, во всяком случае те, кто начал. А разве могло быть иначе? Мы ведем постоянную борьбу, чтобы овладеть силами природы, но в несравненно более ужасных бедах повинен сам человек. И до сих пор мы не можем с ними справиться. Какая страшная, унижительная истина.

Неужели придет конец европейской культуре? Неужели переместится центр мира? Или народы еще найдут в себе силы для обновления? Мир уже видел примеры тому, как народ, сражающийся за свою свободу — а не за власть!— достигал величайшего расцвета, как,

например, греки после войн с персами. Но мир видел также, что, если победу одерживало милитаристское государство — будь то Спарта или Рим,— это означало упадок культуры. Да, кто знает, что нас ждет...»

Спускаясь с горы Бьёнхолл, он вышел на пастбище и зашел в избушку отдать найденный на тропинке карманный нож и попросить молока. Он застал там хозяев, разговорился с ними. Хозяин рассказал, что его хутор самый верхний в долине Атнедаль. Они заготавливают сено и зеленые корма, хлеб и картофель не родятся так высоко в горах. Конечно, жизнь тут нелегкая, зимы стоят долгие и суровые. Зато воздух чист и вода вкусна. Они с женой здоровы и душой и телом. Словом, жаловаться им не приходится.

Нансен ответил, что приятно слышать такие слова. Ведь хватает нытиков, особенно жалующихся на крестьянскую долю. Молодежь уезжает в Америку или в города.

«О, в здешней долине с этим не так страшно,— сказал хозяин.— Наоборот, даже новоселы появились. И с какой стати уезжать в эти дрянные города, когда и в горах можно жить привольно и по-человечески? К тому же, сказать не хвастаясь, так в горах и для здоровья лучше. Мать у меня дожила до девяноста двух лет и в восемьдесят девять еще сама пасла скотину на летнем пастбище.»—«Да, такие речи подбадривают»,— ответил Нансен. Он поблагодарил за приятную беседу и отправился дальше по долине.

На пастбище Мусволл было полно городских, эти ему неинтересны. Но чуть дальше на горном склоне по ту сторону озера Атна он наткнулся на хутор новоселов и решил расспросить их поподробнее. В прошлом году двое мужиков объединились и взялись обрабатывать этот участок. Дом уже стоял под крышей, на ветру колыхался хорошо возделанный ячмень, картофель также уродился. Нансен спросил, какие виды на урожай. Ну, по их мнению, здесь их труд себя оправдывает. Сено тут сочное, доброе, картофель родится всегда; с хлебами еще неизвестно, но в крайности их можно на корма пустить, если уж иначе нельзя. А в озере рыбы полно. Отца особенно поразило в этих людях их упорство.

На следующий вечер он пришел в хутор Осхейм в долине Итре Рендаль. Он знал, что там в реке Мистре водится крупная форель, и хотел попытать счастья. Но местность вокруг реки была труднопроходимая, и он решил взять провожатого из здешних жителей. Конечно, Улаф Осхейм тут же принялся звонить по телефону.

«Ну вот, нашел тебе хорошего проводника,— сказал он наконец.— Хромого местного портного. И лучшего рыбака здесь не сыскать».

Раз хромой, подумал Нансен, значит, пойдем потихоньку. Но портной на своей негнущейся ноге, которая только и годилась, что подпирать здоровую, так припустил в горку да под горку, да вброд по бурной речке, что Нансен еле за ним утнался.

Вдвоем они провели на рыбалке не один день и сдружились. Нансен побывал в уютном холостяцком жилище портного, тот рассказал ему всю свою жизнь, и о несчастье с ногой тоже. Доктор был уверен, что не ходить ему больше в горы. «Да не тут-то было!»— радостно засмеялся портной.

«Какая воля, должно быть, живет в этом теле!»— подумал Нансен.

От озера Стуршё он двинулся дальше на восток, вверх по течению Мистры и в глубину гор,— навстречу новым рыбалкам и новым размышлениям. По бесконечным сосновым лесам спокойно течет река Клара, местами образуя тихие заводи и черные омуты, в которых водится рыба. Затем она течет вниз к Трусилу и дальше, в Швецию.

«Наверное, не все, приходящее из Норвегии, и не всегда встречается так радушно, как встречают эти сверкающие водяные потоки и тысячи принесенных ими бревен,— размышлял Нансен.— Ведь доля этой норвежской воды есть и в крупнейшем шведском водопаде, и в крупнейшей электростанции Швеции — Тролльхеттен. Господи, если бы наши маленькие народы всегда видели, сколь многого мы можем добиться, если всегда будем готовы черпать силы друг в друге».

Со вздохом он подумал, что мог бы сейчас путешествовать по Тибету и Центральному Китаю, если бы не помешала война. «Какие у меня были задуманы грандиозные экспедиции, сейчас я был бы далеко, под тропическим солнцем, в джунглях, в неведомом краю... Но зачем так далеко? Здесь достаточно солнца и неба, и неоткрытого хватает — и здесь есть великое лесное безлюдье и печаль лесов. Люди не созданы для городской сутолоки. Как легко договориться с простыми, естественными людьми, живущими здесь, в горах, как они здоровы, цельны и как красивы. Достаточно посмотреть на любого встречного. А Бергльот с пастбища — где еще встретишь такую королеву!».

Отец не мог жить без леса и гор. Если он долго просиживал за работой, его начинало тянуть туда, и он не успокаивался, пока не отправлялся в путь.

Но прогулка у него всегда должна была иметь какую-то цель. Он никогда не уезжал, не взяв с собой хотя бы удочку или ружье и собаку — смотря по времени года. Каждую осень он отправлялся стрелять куропаток. Он совершал пешие переходы, чтобы сохранить спортивную форму, это и само по себе важно, но было у этих прогулок и другое назначение. На прогулках, как и во время своих полярных экспедиций и в поездке по Сибири, он делал заметки, а затем в своем кабинете размышлял над тем, какие из них можно сделать выводы. В результате этих прогулок в военные годы родилась книга «Жизнь на природе», бог знает, когда удалось ему ее написать, но вышла она в 1916 году. Это тоже по-своему очень важная работа, потому что в ней он пришел к целостным взглядам на многие вопросы культуры и цивилизации. Он был одним из зачинателей лыжного спорта и туристских походов и одним из тех, кто пробудил и воспитывал в современных горожанах любовь к природе, — и немалую роль сыграла в этом его книга.

Все, кто в те годы встречался с отцом, обращали внимание на его задумчивый взгляд и две морщинки, которые навсегда пролегли на его лбу. Он отгородился от мира и стал молчаливее прежнего. Если спрашивали его мнение об обстановке, он только качал головой. На вопрос, как дела, он отвечал: «Да ничего себе».

По-прежнему часто он виделся с Вереншельдом. Снова, как и прежде, мы с отцом часто сталкивались в ателье Старого Эрика, и, как и прежде, отец бывал этим очень доволен. Он всегда ратовал за то, чтобы я почаще заходила к Вереншельдам. Бывало, не успею я после летнего отдыха вернуться домой, как он уже говорит мне: «Я думаю, ты сразу зайдешь поздороваться с Вереншельдами».

Со своими собственными родственниками отец встречался реже. Тетя Ида переселилась в Данию, а тетя Сигрид тоже большей частью жила за границей. В эти годы с отцовскими родственниками поддерживала связь я, больше всего с дядей Александром и тетей Эйли. До войны они вывозили меня в свет, на балы, во дворец и всюду, где не желал бывать отец и где молодой девушке не полагалось появляться одной. Все светские увеселения из-за войны прекратились, но по-прежнему устраивались небольшие домашние вечера, и мы остались верны нашему обычаю выезжать вместе. Мои дорогие дядя и тетя считали также своим долгом учить племянницу «хорошему тону» и правилам поведения вообще, на что у нас в Люсакере не очень-то обращали внимание.

«Одно дело — твой отец, который может позволять себе все, — говорил дядя Алек, — и другое дело мы, прочие. Мы ему не чета».

Мне никогда не приходило в голову, что для отца могут быть какие-то особые законы, но дядя Александр с годами пришел к этому убеждению. Правда, и в молодости независимый образ жизни, «оригинальные» взгляды брата внушали ему беспокойство. Позднее, когда отец стал так ужасно знаменит, Александр не без сарказма стал именовать себя «братом Нансена». Но сейчас он сам больше всех восхищался Нансеном и те же слова «брат Нансена» звучали в его устах уже совсем иначе. Сам же Нансен восхищался младшим братом, особенно его прекрасным благородным характером, который часто ставил в пример нам, детям, и искренне любил Александра.

Дома, в Пульхёгде, отец по-прежнему жил уединенно, несколько не беспокоясь, что будут говорить другие. Просто невероятно, как много он таким образом успевал сделать. Я только удивлялась его огромной переписке. Каждое утро целая груда писем вырастала на столе, только

чтобы все это прочесть, и то нужно было потратить несколько часов. Но я знаю, что он отвечал решительно на все. Никто не должен был ждать от него ответа напрасно. Некоторые деловые ответы он диктовал секретарю, а сам только подписывался, но всем друзьям и приятельницам отвечал лично, и эти ответы не носят следов спешки. При чтении создается впечатление, что писать все эти письма было для него удовольствием. Обширную более или менее лирическую переписку со своими приятельницами он вел очень аккуратно, с годами этих приятельниц становилось все больше, однако он не забывал и прежних знакомых. И все же, при всем этом, он никогда не мог забыть Еву. Он часто говорил о ней, а ведь уже десять лет прошло с тех пор, как ее не стало.

«Вот бы Ева смеялась», — говаривал он; или: «Это было бы Еве не по душе». Я любила, когда он говорил мне: «Подумай, что понравилось бы маме, это-то и будет верным решением». Этого мне и говорить было не надо. Я и сама так думала, мне даже казалось, что ко многому мама отнеслась бы снисходительнее, чем отец, особенно к развлечениям. Конечно, отец прав, и время сейчас серьезное, но надо и меру знать, требуя серьезности от нас.

Само собой получилось так, что я никого к нам не приглашала, если знала, что отец дома. Однажды я попробовала устроить вечеринку, но пока мы танцевали, отец все время стоял в дверях мрачнее тучи, и гости поспешили распрощаться и уйти. Не будем уточнять, что испортило ему настроение, — серьезность нашего времени или мой партнер по танцам. Я не стала повторять эксперимента. Зато если отец уезжал, мы танцевали и веселились вовсю. Нужно было только не слишком нарушать семейный бюджет. Поломав голову, я обнаружила, что яйца — великолепная штука. У Вереншельдов держали кур, и добрая тетя Софи всегда выручала меня яйцами. Как-то однажды перед таким танцевальным вечером Дагфин спросил у меня, что мы будем есть, и я ответила: «А возьмем десяток яиц и сделаем уйму бутербродов». Его это так насмешило, что он всем об этом рассказал. Вскоре я узнала, что весь город говорит об этом как о примере «непритязательности детей Нансена». Я только надеялась, что отец об этом не узнает.

Хуже обстояло дело с напитками. Большинство из нас прекрасно обходилось фруктовой водой, но был среди нас и взрослый народ, и Доддо, например, считал, что нам уже нужно что-то покрепче. Однажды он прислал нам большую корзину красного вина и шерри, корзины хватило на два вечера. Но, как бы то ни было, — с напитками или без напитков — мне было ясно: лучше всего веселиться дома. Большой продолговатый холл был словно создан для приема гостей, и на его полу чудесно танцевалось.

Как-то в конце зимы 1917 года к отцу пришла старая фру Бьеркнес, мать профессора Вильгельма Бьеркнеса. Она беспокоилась о сыне, которому приходилось туго в Лейпциге, куда он еще до войны переселился со своей семьей, получив там место. Не поможет ли ему Нансен получить работу на родине? Отец тут же написал Хелланд-Хансену — нельзя ли устроить так, чтобы Бьеркнес получил то место, которого Хелланд добился для него, Нансена, год назад при создании Бергенского геофизического института. Хелланд позвонил члену правления аптекарю Лотте и спросил, нельзя ли раздобыть пятьдесят тысяч крон. Их бы хватило на переезд и на жалованье Бьеркнесу на три года вперед. Лотте сказал, что подумает, но уже через несколько часов позвонил, что деньги будут.

Так получилось, что профессора Бьеркнеса вызвали в Берген зимой семнадцатого года. По пути он ненадолго остановился в Христиании и часто приходил к нам ужинать. Его жена фру Гонория у нас не бывала, потому что Бьеркнес с отцом всегда говорили только о науке. Я тоже рта не открывала, хотя в четырнадцатом году была у Бьеркнесов в Лейпциге и теперь о многом хотела бы расспросить профессора. Вместо того я сидела, разглядывая его красивый чеканный профиль и удивительной формы кудрявую голову.

«Ага, заметила, значит, какая удивительно красивая голова у этого человека! — засмеялся как-то после ухода Бьеркнеса отец. — Что ж, я с тобой согласен».

Возможно, и глупо было жалеть отца за то, что он все время сидит дома и не видит людей. И уж, конечно, глупо было сказать ему об этом. Я пожалела о своих словах сразу же, как только они сорвались у меня с языка однажды вечером. Отец нахмурился, вид у него стал озабоченный, и он сперва хотел уйти, не ответив, но пересилил себя и вернулся:



«У разных людей и счастье разное. Для некоторых нет большего несчастья, чем оказаться в одиночестве, но это расписка в собственном банкротстве. Это доказывает только, что за душой у них пусто».

Крупно шагая, он поднялся в башню, а я села за рояль и стала играть. Но мысли мои были далеко, его слова задели меня. Наверное, я и впрямь пустая, потому что мне далеко не всегда нравилось быть одной. Сейчас мне очень хотелось, чтобы отец снова спустился. Как меня угораздило так бестактно заговорить с ним об его одиночестве! Я видела, что мы не поняли друг друга.

Тут на чердаке заскрипели половицы и спустился отец, все еще серьезный, но уже не такой строгий: «Хочешь, я тебе почитаю вслух?».

Еще бы! Я побежала к себе за сборником трагедий Шекспира, который отец подарил мне на рождество. Он полистал книгу и выбрал «Короля Лира». Затем мы уютно уселись у камина, и отец начал читать. Голос его то гремел, то затихал в полутемном холле, как будто бы отец читал для большой аудитории. Иногда он умолкал, поглядывая на меня, и довольно улыбался, видя, что я внимательно слушаю.

Таких вечеров было много. За эту и следующую зиму отец прочел мне всего «Короля Лира» и большую часть «Гамлета». Сперва я следила за содержанием, но постепенно стала так же внимательно вслушиваться в отцовский голос. Было в этих произведениях что-то такое, что заставляло думать об отце. Да ведь отец и сам такой, думалось мне. Точно такой же сложный и странный, как Гамлет.

Впоследствии я пришла к мысли, что была тогда недалеко от истины. Отца тоже мучили гамлетовские противоречия. Он был реалистом и практиком, прост и ясен как день, как настоящий ученый он отлично разбирался в фактах; и однако же не в меньшей степени ему были свойственны самоуглубленность, вечные искания, лиризм и причудливая изменчивость настроений; это был человек свободнейший и в то же время глубоко связанный, уверенный в себе и смиренный, юморист и меланхолик — все вместе, одним словом, характер самый что ни на есть шекспировский. Верный и горячий в дружбе, он почти всегда был одинок. Человек деятельный и в то же время мечтатель: человек, разносторонний по своим способностям и интересам, и в то же время простой и обыкновенный. В нем была огромная жажда жизни, но еще сильнее было его стремление к духовной гармонии и целостности. Дитя, все время мечтавшее о тепле и нежности, но сумевшее без них прожить. Он всегда предпочитал думать о людях только хорошее, но полагался лишь на себя самого. В любой вопрос он вникал так, чтобы уж исчерпать его до дна, а себя самого так и не познал до конца.

## IX. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОРВЕГИИ В ВАШИНГТОНЕ

В 1917 году в войну вступила Америка, и у нас в Норвегии возникла та ситуация, которую давно уже предвидел и от которой предостерегал Нансен. До этого времени Норвегия, можно сказать, весь свой хлеб получала из США и теперь оказалась полностью от них зависимой в этом вопросе. Американское же правительство решило оказать сильное экономическое давление на нейтральные страны. Норвегия сразу же его почувствовала. В июле американцы приостановили весь экспорт, и каждое государство вынуждено было заключать самостоятельное торговое соглашение с американскими экспортными властями. Комиссия по норвежско-американским торговым договорам оповестила об этом правительство Норвегии, и министр продовольствия забеспокоился. Гуннар Кнудсен и тут не спешил. Но пришло второе напоминание, на сей раз от нашего посла в Вашингтоне Хелмера Брюна. Он советовал как можно скорее направить в Вашингтон для переговоров с Военно-торговым советом специальную комиссию. Америка собиралась наложить запрет на весь экспорт в Норвегию, если та со своей стороны не прекратит поставлять рыбу Германии.

Таково было наше положение. Подводная война вынудила Норвегию заключить с Германией торговый договор, который не так просто будет аннулировать. Правительство оказалось в крайне затруднительном положении. В магазинах ощущалась нехватка товаров, и запасы угля в стране были уже так малы, что стали закрываться церкви и начали экономить на всем, даже на освещении магазинов и улиц. Росло недовольство, и в июле в Христиании состоялась демонстрация протеста против состояния снабжения страны, в которой участвовало тридцать тысяч рабочих.

Другого выхода не оставалось. Была выбрана комиссия, и правительству пришлось скрепя сердце просить Нансена возглавить ее. Он обещал свое согласие при одном условии: он будет направлен в США как «полномочный посол для особых поручений» и таким образом будет вести переговоры непосредственно с американскими властями, минуя норвежскую дипломатическую миссию в Вашингтоне. Требование было встречено в штыки. После многочисленных стычек между премьер-министром Кнудсенем, министром иностранных дел Иленом и Нансеном, в которых отец твердо стоял на своем, его условие было принято.

В комиссию вошло восемь представителей, каждый из них был экспертом в своей области. Правительство считало, что этим самым уже гарантирован успех дела и комиссии можно немедленно отправляться в путь. Но тут снова произошло столкновение с Нансеном. Как всегда, он придавал огромное значение предварительной подготовке, а ее в один день не закончишь. Он основательно углубился в изучение всевозможных вопросов, начиная с потребления и спроса в Норвегии и возможностей удовлетворения его из собственных ресурсов и кончая ценами и ассортиментом товаров. Тут ему снова потребовалась помощь профессора Торупа. Вместе они вновь углубились в подсчет калорий и питательности различных продуктов, как перед первой экспедицией «Фрама». И вот в июле семнадцатого года Нансен отбыл в Америку на борту «Святого Улафа».

В Вашингтоне выяснилось, что Военно-торговый совет желает, чтобы с норвежской стороны в переговорах участвовало не больше лиц, чем намерена выставить американская сторона, то есть двое. Поэтому «лишним» норвежским представителям пришлось вернуться. С Нансеном остались коммерсант-оптовик Юхан Бауман и секретарь комиссии Вильгельм Моргенштерне, нынешний посол Норвегии в Вашингтоне.

Отец отлично сознавал, какую взял на себя трудную миссию, но полагал, что покончит с нею за две-три недели, в крайнем случае за месяц, а потому не хотел брать меня с собой. Будет лучше, если я в его отсутствие присмотрю за младшими. Но мы столько раз обсуждали все это, взвешивая все «за» и «против», что когда пришло ему время уезжать, мне все-таки взгрустнулось. Его первое письмо, рассказывавшее о великолепном плавании через Атлантику, нисколько не поправило моего настроения. Он писал о том, как бы мне понравилось на корабле и как он «жалеет», что не взял меня с собой, но теперь, увы, дела не поправишь.

Я сомневаюсь, чтобы отец так уж скучал по мне во время этого плавания. Позднее я узнала, что среди пассажиров были две веселые очаровательные шведки, за которыми ухаживала вся комиссия. Отец был самым настойчивым кавалером, и остальные тактично уступили поле брани шефу.

Ситуация складывалась все менее благоприятно для нейтральных стран. 3 августа Комитет по судостроению США издал постановление о реквизиции всех судов, строящихся на американских верфях. Больше всего должна была пострадать от этого решения Норвегия. Далее, было выдвинуто требование, чтобы каждое судно, построенное в США, бункеровалось только в американских гаванях. Таким образом, Комитет по судостроению получал возможность диктовать свои условия относительно фрахтов и портов назначения.

Норвегия оказалась между двух огней. С одной стороны, Германия и подводная война, с другой — Америка с ее жесткими требованиями. На запрос Нансена министр продовольствия сообщил, что хлеба в Норвегии хватит только на два с половиной месяца. Нансен телеграфировал в ответ, что Норвегия не получит хлеба от союзников, пока не будет введена карточная система. Только таким путем можно будет убедить американское правительство в том, что над Норвегией нависла угроза голода. Карточки на хлеб и мучные товары, кофе и сахар вводились лишь с нового года, а до тех пор и речи не могло идти о заключении общего торгового соглашения, но норвежской

комиссии удалось добиться уступок по отдельным пунктам. Вскоре после приезда Нансен добился лицензии для снабжения экспедиции Амундсена на шхуне «Мод». Это была самая первая из всех выданных Военно-торговым советом лицензий, она шла под номером «1». (32)

Несколько позже Норвегия получила лицензию на 400 тонн смазочных масел для государственных железных дорог и почти одновременно заключила торговый договор с организацией Гувера[173] «Помощь Бельгии» о торговле на основе клиринга. Норвегия сдавала во фрахт определенное число судов и взамен получала 68 тысяч тонн зерна. Нансен признавал, что это соглашение было достигнуто благодаря Бауману.

Письма от отца приходили регулярно. Он мечтал скорее вернуться домой и говорил, что если бы заранее знал, как затянутся эти скучные переговоры, то взял бы меня с собой. И тут я решилась. Последнее отцовское письмо прибыло в середине октября с «Бергенсфьордом» и я телеграфировала, чтобы он встречал меня с обратным рейсом. Потом я узнала от Баумана, что отец долго ходил из угла в угол, шурша телеграммой в кармане, не зная, как быть. Наконец он ответил: «Приезжай. Но только две недели. Папа». Эти «две недели» растянулись на полгода для отца, а для-меня — на много лет.

Не один день наша гнедая лошадка возила меня от консульства к консульству, от учреждения к учреждению, пока я не выправила все документы и паспорт. Нигде мне не встретилось никаких осложнений, все были внимательны и отзывчивы. Даже на «Бергенсфьорде», на котором все места были проданы заранее, каким-то чудом нашлось для меня место. Я была так занята предстоящей поездкой, что не могла уже думать ни о чем другом. Между делом условились, что Имми поживет у супругов Мюнте, а Одд — у одного из своих школьных друзей. Анна Шёт жила тогда у нас, и в вечер накануне моего отъезда мы все вдруг ужасно загрустили. Меня мучила совесть, что я такая эгоистка и только о себе и думаю.

Трюмы «Бергенсфьорда» были мало загружены, и его швыряло как скорлупку. Мы угодили в настоящий шторм, и на пароходе свирепствовала морская болезнь. В столовой пустовали накрытые столы, и сама я не вставала с койки первые пять суток пути. Зато потом я все наверстала — и в еде, и в танцах. Несмотря на волнение и фонтаны брызг, оркестр пытался играть на палубе, но танцующих швыряло от одного борта к другому и танцы очень скоро прекратились. И только на торжественном обеде, устроенном по традиции в последний вечер, капитан Иргенс рассказал нам, что у норвежских берегов «Бергенсфьорд» прошел всего в нескольких метрах от мины.

Отец собирался целую неделю развлекать меня в Нью-Йорке, прежде чем ехать в Вашингтон, и на время мы позабыли спартанские обычаи Фрёена и Пульхёгды. Решено было, что я попробую пожить на широкую ногу. Отец снял комнаты в одном из роскошных отелей на Пятой авеню, и когда я вошла, там прямо на полу уже ждала меня ваза с американскими розами на длинных черенках. Появился слуга с моим маленьким саквояжем. Отец рассмеялся: «И это все, с чем ты приехала в Америку?» Когда тут же вошла горничная и спросила, не нужно ли помочь распаковывать вещи, отец все так же весело ответил: «Нет, благодарю вас, мисс, я думаю, мы справимся сами».

Потом мы взяли машину и поехали в город, в район небоскребов. Мы остановились у Вулворт-билдинг, самого высокого тогда здания в Нью-Йорке. Лифт молниеносно примчал нас на пятьдесят четвертый этаж — само по себе уже волнующее ощущение! — а наверху у балюстрады я невольно схватилась за перила. Другой рукой для верности я вцепилась в отца. Он был в восторге.

«Все к твоим ногам кладу я! — И он, смеясь, простер руку. — Я так и думал, дружок, что это произведет на тебя впечатление».

Он стал объяснять и показывать мне, что где. Прямо перед нами порт, и там тысячи судов. Вон там заводы, там набережные, а там — в самой гуще входящих в гавань и уплывающих пароходов — статуя Свободы. А еще дальше сверкает на солнце океан. Ну, а теперь посмотрим с другой стороны: река Гудзон, широкая и могучая, и на том берегу скалы Пэлисейдс. Если повернуться кругом — Ист-Ривер и Бруклинский мост. И все же интереснее всего было смотреть прямо вниз. Небоскребы сверху казались игрушечными ящиками разной величины. Здесь и в самом деле можно изучить тот мир коробок, картину которого нарисовал однажды Вереншельд, правда, не

кистью, а словами, в разговоре с отцом: «Посмотри только, как зверюшки, называемые человеками, торопливо бегут по узким улочкам и скрываются в своих коробках. А если хотят хорошенько повеселиться, тогда заползают все в одну и ту же коробку, чтобы вместе налопаться. И так будет ко веки веков».

Да, и мы собирались провести ближайшие дни точно так же: театры, магазины, званые вечера. Для той «коробочной жизни», которую мне предстояло вести в Вашингтоне, нужно было изрядно пополнить привезенный из дома гардероб. И тут отец проявил совершенно неожиданное для меня терпение. Вдобавок обнаружилось, что он понимает толк в дамских нарядах. Платье должно иметь хороший фасон и подчеркивать фигуру, цвета он любил сдержанные, но хорошо гармонирующие друг с другом. А чего стоит элегантно платье без элегантных туфель? Но зато большинство шляп он находил дурацкими, и в этом я узнавала его прежнего. Больше всего ему нравилась та шапчонка, в которой я приехала, она хоть простая.

Из магазинов мы шли в ресторан, и отец выбирал для меня блюда, которых раньше я никогда и не пробовала. А из ресторана ехали в оперу, где пел Карузо и другие знаменитости. Отец был неутомим, и я от души завидовала его выносливости. Мне ее не хватало — и я отличилась, уснув на ипподроме, на огромной арене которого одновременно шли три представления. Хуже всего, что я спасовала в последний вечер, когда наши земляки, жившие в Америке, устроили банкет в честь отца в Бруклине. Он трогательно огорчился. Но совершенно ясно было, что я вконец выдохлась, и чтобы немного подбодрить меня, он заказал мне в номер шампанского. Я пообещала выпить его, но так и не притронулась.

В Вашингтоне тоже устраивались банкеты, но в основном официальные. Совсем неинтересно, когда тебя представляют как «дочь знаменитого путешественника»! Я не имела никакого представления о разных формальностях и этикете и нередко читала во всех этих немых взглядах: «Так вот она какая — дочь великого человека, ну и ну!»

Сам отец, к счастью, не любил приемов, да и нанятая нами квартирнка совсем не годилась для этого. Вообще у нас было очень уютно, у каждого была спальня и хорошенькая крохотная гостиная, где мы развесили картины, постелили собственные скатерти и расставили вазы с цветами. Мы даже поставили пианино. Книги и бумаги отца разместились на полках и на письменном столе, стало почти как дома в Пульхёгде.

Был у нас свой автомобиль и шофер. Машина была в моем распоряжении, пока отец был занят в комиссии, то есть почти все время. Симпатичный шофер-негр тайком учил меня водить машину. Я почти наверняка знала, что отец запретил бы подобные эксперименты на такой хорошей машине. Поэтому я пришла в совершенный ужас, когда однажды столкнулась с другой машиной. Ее разъяренный владелец вылез и, оглядев помятое крыло на своей машине и царапины на нашей, отпустил несколько лестных замечаний о женском умении водить машину. Потом он спросил мою фамилию и адрес, и я послушно протянула ему визитную карточку. И тут его поведение совершенно переменялось: «О! Мисс Нансен! Извините, вы не дочь ли знаменитого путешественника?» Ничего не оставалось, как только признаться.

«Ах, я просто счастлив познакомиться с вами, мисс Нансен!»

Он заверил меня, что вмятины на его машине сущие пустяки, не о чем беспокоиться. И даже наоборот — чуть было не сказал он. И снова повторил, что просто счастлив со мной познакомиться. Прелестный мой шофер и сам был почти так же счастлив. Мы с ним решили, что удачно отделались. Но когда я вернулась домой, на пороге меня встретил «знаменитый путешественник».

«Вот как, ты, значит, водишь машину?». И он рассказал про странный телефонный звонок. Мужской голос без всякого вступления спросил: «Скажите, вы знаменитый и т. д., и т. д.». Отец несколько уклончиво отвечал: «Не знаю, знаменитый ли, но когда-то я был путешественником.»;—«Но вы ведь Фритьоф Нансен?» «Совершенно верно».

И так как отец ничего не мог понять, то мужчина, захлебываясь от восторга, поведал, что только что имел удовольствие столкнуться с машиной «очаровательной дочери доктора Нансена».

Как ни странно, наказания не последовало. Мне не запретили брать машину.

Со временем у нас появились добрые друзья в Вашингтоне, среди них шведские представители Нурвалль (с супругой) и доктор Люндбом. Эти трое жили одним домом, и к ним было приятно приходить. По-матерински добрая, ласковая фру Герда Нурвалль была радушной хозяйкой, а ее муж всегда изысканно любезен. Что до старого Яльмара Люндбома, то его сдержанность всегда очень успокаивающе действовала на отца. Внешне в нем не было никакого величия — маленький человечек, хотя и ладно сложен. Но зато голова невольно привлекала к себе внимание. Держал он ее высоко, так что черная козлиная борода стояла торчком. Прищуренные глазки и лукавая улыбка светились умом и добротой. И никогда не покидало его чувство юмора, даже когда случались крупные неприятности в ходе переговоров. На родине его называли «королем Лапландии» и другом и защитником всех лопарей. Несмотря на его весьма скромный запас английских слов, господа из Военно-торгового совета понимали, что имеют дело с личностью выдающейся, и относились к нему с большим уважением. [\(36\)](#)

И отец, и Люндбом рады были, что могут поделиться друг с другом своими затруднениями. Вдвоем они обдумывали, какие товары нужно отправить на родину в первую очередь, когда наконец тому придет время. «Сначала целый пароход с кофе», — говорил Люндбом. Отец негодовал. Неужели Люндбом и впрямь считает, что народу можно помочь в беде этим ядом, разрушающим здоровье? Нет, рыбий жир — вот что нужно. Целый пароход с рыбьим жиром — вот о чем надо подумать в первую очередь. Люндбом твердо стоял за кофе. Его народ падет духом, если опустеют кофейники. Так они и не договорились.

Обоих угнетало, что переговоры идут так вяло. А к концу осени положение еще ухудшилось. Великобритания отказалась делать поставки, под угрозой очутились не только продовольственное снабжение, но и те отрасли норвежской промышленности, которые работали на привозном сырье.

В какой-то момент Нансен отчетливо почувствовал, что кто-то всячески мешает работе норвежской комиссии, и случайно это ощущение подтвердилось. Вильгельм Моргенстьерне был давним другом лорда Юстаса Перси, который теперь стал вашингтонским представителем британского министра лорда Роберта Сесила, проводившего политику экономической блокады. Однажды за ленчем они с глазу на глаз поговорили начистоту. Лорд Перси весьма неодобрительно высказался о политике Норвегии во время войны. Он сказал, что у английского правительства такое впечатление, будто Норвегия не желает обсудить сложившееся положение. Норвежские политики пытаются увильнуть от этого, балансируя между двумя лагерями, выторговывая себе уступки то у одной, то у другой стороны, и надеются продолжать так до конца войны. С горечью он упомянул норвежский договор с Германией о рыбных поставках. Моргенстьерне, как умел, защищал норвежскую политику, но не счел возможным скрыть от отца сказанное лордом Перси. Поэтому на другой день он устроил их встречу.

В двухчасовой беседе в кабинете Нансена Перси более подробно изложил точку зрения британского правительства. И Нансен понял, что все это британская сторона высказала американским властям. Это отчасти могло объяснить довольно холодное отношение со стороны Вашингтона. К тому же у Нансена сложилось впечатление, что британский посол сэр Сесиль Спринг Райе недоволен тем, как много сумел добиться Нансен (лицензии на поставки зерна и на другие товары), и что его самолюбие немножко задето тем, что Нансен приобрел в Вашингтоне такой вес.

Нансен послал в Норвегию длинную телеграмму, где изложил сказанное лордом Перси. Тогда правительство оказалось вынуждено обсудить внешнеполитические вопросы при открытых дверях. По-прежнему камнем преткновения оставался вопрос о поставках рыбы Германии. Напрасно твердил Нансен о том, какие печальные последствия грозят Норвегии, если не будут прекращены эти поставки. Переговоры зашли в тупик и не возобновлялись, пока Нансен не добился согласия на ограниченные поставки. Вскоре, однако, вожжи опять натянулись туже. Теперь было выставлено требование вообще прекратить всякий экспорт в Германию и рыбы, и молибдена, и ферросилицикарбида и нитрата кальция. От норвежского правительства, как и следовало ожидать, последовал отказ — это невыполнимо, так как означало бы разрыв с Германией.



Перспектива открывалась мрачная, и оставалось утешаться лишь тем, что почти все нейтральные государства оказались в таком же положении. Не легче было и положение шведов, которых попросту считали прогермански настроенными. Нансену не раз случалось замолвить за них доброе словечко в Военно-торговом совете. Тогда англичане решили, что мы уж слишком с ними подружились, и потребовали, чтобы шведская комиссия находилась в Лондоне. Супруги Нурвалье переехали туда в начале декабря, но доктор Лյондбом остался. Нансен серьезно подумывал, не отправиться ли ему самому в Лондон и не попытаться ли там заручиться британской поддержкой в Вашингтоне. Ведь в Англии у него сохранились хорошие связи, завязавшиеся в те времена, когда он был там послом. Среди знакомых англичан он особенно выделял сэра Чарльза Дилка, которого глубоко уважал. Но в конце концов все-таки решил не ездить.

Приближалось рождество.

«Куда бы здесь можно поехать подышать свежим воздухом?» — поинтересовался отец. «Можно в Адирондакские горы, — посоветовал любезный Моргенштерне. — Там сколько угодно свежего воздуха, а если повезет, то и снег будет». У нас не было с собой лыжного снаряжения, и пришлось задержаться на день в Нью-Йорке, чтобы купить все необходимое. Там в великолепном магазине можно было найти снаряжение для всех существующих в мире видов спорта. По мере того как раскрывалось перед нами все великолепие этого магазина, возрастал восторг отца. Никогда еще, наверное, торговля не шла здесь так хорошо и весело. Все продавцы, во главе со своим шефом, провожали нас из отдела в отдел. Отец прочел целую лекцию о лыжах и туристском снаряжении, предлагал усовершенствования и улучшения и, забыв обо всем на свете, снова был спортсменом и путешественником. Мы закупили не только все необходимое для нашей поездки, но еще и палатку, спальный мешок, удилища и охотничьи принадлежности, которые мы потом послали в Норвегию. Под конец отца восхитил комплект удивительно красивых галстуков, и он купил дюжину.

А наутро, сойдя с поезда на станции Лейк Плесид, мы оказались среди лесов и гор. Мы постояли, глубоко вдыхая чистый, легкий воздух. Моргенштерне не обманул нас.

Отель «Лейк Плесид клуб» был в то время куда скромнее, чем теперь. Там еще не устраивались международные соревнования. Леса заросли кустарником, человек еще не успел там похозяйничать, горы сверкали на солнце, но ими можно было только любоваться. Самые храбрые из отдыхающих ходили на лыжах по площадке для гольфа, большинство же мирно прохаживались по дороге, нагуливая аппетит к ленчу. Ударили сильные морозы, и никто кроме нас, «потомков викингов», не решался даже нос высунуть из дома.

Каждый раз, когда мы отправлялись в путь, обитатели отеля толпились у окон. Всем хотелось посмотреть на «доктора Нансена на лыжах». Зато в лесу мы были одни. Мы брали с собой кофейник и бутерброды и уходили на целый день. В сочельник мы срубили в лесу елочку и отнесли ее в отцовскую комнату. Мы разукрасили ее свечами и всем, что нашлось в деревушке. Несмотря на сухой закон и строгие нравы отеля, нам с Моргенштерне удалось раздобыть на рождество бутылку водки, и настроение у нас было праздничное, когда мы водили хоровод вокруг елочки и пели рождественские песенки в комнате отца, пока остальные отдыхающие галдели внизу.

Мы познакомились с симпатичной супружеской парой из Нью-Йорка. Отец на время отложил дальние прогулки, чтобы научить даму ходить на лыжах. Как-то вечером она от имени всех отдыхающих попросила отца рассказать о его полярных экспедициях, Отец согласился, и в мгновение ока зал оказался битком набит. Когда отец решил, что уже хватит рассказывать, все наперебой стали просить: «Нет, пожалуйста, доктор Нансен, еще!»

Отец смущенно пожал плечами и продолжил. Потом пошли всяческие восторги, и все стали расспрашивать, какие морозы бывают на Северном полюсе. «Ну, — сказал отец, — около минус сорока двух по Цельсию, чуть больше — чуть меньше».

На следующий день в Лейк Плесид было как раз сорок два градуса мороза, и вот по очереди все потянулись допрашивать его — правда ли он сказал, что средняя температура у полюса минус сорок два градуса. Отцу пришлось подтвердить, что так оно и есть. Пожалуй, трепет перед арктическими морозами поуменьшился. Однако все забыли о том, что там совсем не то, что здесь,

где от мороза можно спрятаться в натопленной гостинице. Другое дело, что при сорока двух градусах в Лейк Плесид делается очень холодно. Но в этот день из всех норвежцев как раз полярнику совсем не хотелось отправляться на прогулку. Мы с Моргенстьерне отважно, как всегда, вышли из отеля, но думаю, что и мы тоже упали в глазах обитателей отеля, когда, еще до ленча, вернулись домой продрогшие и жалкие.

Однажды, вскоре после Нового года, мы забрались на самую высокую гору — Уайт Фейс и мало-мальски восстановили свой престиж. Белая вершина высоко вздымалась над лесом. Отец давно уже приглядывался к ней в бинокль, намечая подходы. К подножью горы мы подъехали по льду озера на широких старинных саниах, запряженных двумя лошадьми, которыми правил одетый в волчью шубу кучер. Ехать было холодно. У отца усы заиндевели и нос стал багровым, и он стал неузнаваем в платке, который надел поверх шапки и завязал под подбородком. Моргенстьерне весь посинел от холода в своем широком пальто, да и я, наверно, тоже. Ветер продувал все одежды, которые мы натянули на себя. Начав с подножья горы, мы на лыжах стали продираться сквозь почти непроходимую чащу. Отец прокладывал лыжню, и холода мы не замечали, пока не вышли на опушку. Тут ветер пронизывал нас до костей, и нелегко было устоять на ногах. Мы сняли лыжи и на четвереньках поползли по обледенелым камням к вершине. Оттуда, лежа на животе, мы глядели на простиравшиеся кругом леса, горы, покрытые льдом озера. Мы в один голос решили, что пейзаж совсем норвежский. Но холод согнал нас вниз, и с каким же небывалым наслаждением пили мы потом обжигающий кофе, сидя в безветренном лесу у костра! Наконец на хорошей скорости мы съехали на озеро, где нас уже дожидались сани и лошади нетерпеливо били лед копытами.

«Эй, девочка! — крикнул мне отец, проносясь мимо. — Вон коляска для старика!»

Как же, подумала я, «старика»! Да он самый молодой из нас! Самым молодым был он и вечером в клубе, когда в паре с очаровательной дамой из Нью-Йорка открывал бал.

После рождественских каникул комиссия с новым подъемом продолжила борьбу. Но Военно-торговый совет не стал покладистее, и по-прежнему трудно было добиваться из Норвегии ответа на разные важные вопросы. Вашингтон обо всем требовал подробных сведений, а норвежское правительство упорно не желало посвящать Нансена во внутренние дела Норвегии. Это Нансен обязан докладывать обо всем правительству, а не наоборот.

«Твое письмо очень меня подбодрило, наконец-то я хоть немного узнал, как обстоят дела на родине, — писал отец Эрику Вереншельду в январе 1918 года. — Нас, мягко говоря, очень редко ставят о чем-то в известность. От правительства мы не получаем вообще никакой информации, и остается только гадать о положении в стране и о том, чего мы можем требовать здесь. Да не всегда ведь догадаешься верно».

Отца страшно тяготило, что столько времени уходит на бесплодные препирательства. Он всерьез подумывал, не лучше ли уехать домой, передав дела в Вашингтоне кому-то другому. Но бросать дело на полпути тоже было не в его привычках, и он решил остаться и нажимать на обе стороны.

У него была колоссальная работоспособность. Если нужно было закончить что-то к определенному сроку, то и сам он просиживал за работой полночи, и другим спуску не давал, и временами я даже жалела Моргенстьерне: иногда он выглядел невероятно утомленным. Впоследствии я спросила у него, не слишком ли их замучил тогда отец, но он ответил отрицательно:

«Нансен никогда не щадил самого себя, но ему было свойственно необыкновенно внимательное отношение к своим сотрудникам. Бывало, конечно, и трудновато, особенно в первое время, когда, как известно, комиссия состояла из семи человек, а секретарь один, которому вдобавок приходилось выполнять обязанности личного секретаря всех членов комиссии. Нансен всегда следил, чтобы я не засиживался за работой допоздна, и часто сам отправлял меня спать».

Бауман тоже не щадил себя, но все сильнее тосковал по семье. Каждый день, показывая мне фотографии жены и детей, он грозился, что уедет, — он не собирается дольше терпеть разлуку с

ними. Но хорошее настроение ему не изменяло. Он тоже жил в Апартамент-Хаусе, и мы часто завтракали вместе. Отец не из тех, кто каждый день встает с радостной улыбкой, однако и он приходил в хорошее настроение, услышав в столовой жизнерадостное «здрасьте» Баумана.

Надо сказать, что жизнь Баумана в Вашингтоне проходила более однообразно, чем наша. Если переговоры заходили в тупик, все, не исключая отца, приходило в уныние, но отец обладал счастливой способностью забывать о заботах в кругу друзей и приятелей. Бауману это удавалось хуже. Он тоже бывал на всех вечерах, которые затевали норвежцы и американские норвежцы в Вашингтоне. Иногда отец приглашал их всех в какой-нибудь ресторан. Но когда отец с увлечением, как юноша, кружился в танце, Бауман смотрел на него со смешанным чувством восхищения и превосходства. Даже я, хоть и сама танцевала, иногда поглядывала на отца критически, а он, в свою очередь, не менее бдительно присматривал за мной. Однажды в меня прямо бес какой-то вселился. Мне не очень нравилась дама, которой был увлечен тогда отец, и я придумала ответный ход. Кружась со своей дамой в вихре вальса, отец вдруг увидел в углу комнаты на диване свою дочь. Я сидела, демонстративно держа за руку пожилого женатого мужчину. Это подействовало моментально. Отец бросил свою даму среди танца и подсел к нам:

«А не пора ли нам домой?»—«Ну что ты, здесь так мило,— невинно ответила я,— мы ведь никогда не уходим так рано».

Отец походил немного по залу, совсем забыв о своей даме. Затем взорвался: «У меня есть дела поважнее, чем торчать здесь всю ночь ради твоего удовольствия! Идем!»

Я не призналась в своей маленькой хитрости, и отец не подозревал, насколько по-человечески понятно было его волнение и как мне нравится в нем эта черта.

Больше всего мы с отцом любили бывать в швейцарском посольстве, там мы чувствовали себя как дома. В отличие от других нейтральных стран, Швейцария не назначила специальной комиссии для решения вопросов военного времени, и все вопросы этого рода решались постоянными сотрудниками посольства во главе с Гансом Зульцером. Как и отец, он не был дипломатом по профессии, но его посылали в Америку каждый раз, когда он был нужен стране по особо важным делам.

Лили и Ганс Зульцеры составляли прекрасную пару. Ганс был выше и худощавее, чем мой отец, у него были умные голубые глаза, а лицо светлело и делалось совершенно мальчишеским, когда он улыбался,— а он почти всегда улыбался, находясь вместе с нами. Как-то я случайно заглянула к нему в кабинет, тут он был куда внушительнее. Почтительность была написана на лицах сотрудников посольства, которые по вечерам смеялись и шутили в его просторном доме. Лили, такая красивая и очаровательная, без сомнения, была самой элегантной дамой в Вашингтоне. Излишне говорить, что отец был совершенно очарован ею. Присутствие трех маленьких сыновей придавало этому дому семейный уют.

И отец был рад, что есть такой дом, где он может поиграть с детьми. Все мы очень сдружились, чуть ли не каждое воскресенье отправлялись с ними и другими славными швейцарцами из посольства в дальние прогулки.

Мы с отцом всегда с нетерпением ждали, когда можно будет, захватив корзинку с едой и прочую поклажу, отправиться на машинах за город и забыть на время все заботы.

Отец проявлял изумительное терпение в том, что касалось внешней стороны дипломатической жизни. Встречаться с представителями других стран тоже было важно, к тому же эти обеды и ленчи длились не более двух-трех часов и потому не очень утомляли. Они всегда проходили одинаково. После десерта мужчины удалялись со своими сигарами поговорить о политике, а дамы, оставшись одни, болтали о женской эмансипации, о платьях, о пустяках. Когда же к ним возвращались мужчины, чтобы вновь стать кавалерами, дамы окружали отца и просили: «О, доктор Нансен, пожалуйста, расскажите про медведей!»

Я, словно это было вчера, вижу, как отец, смущенно улыбаясь и чуть склонив голову набок, сидит в центре группы, окруженный дамами, а сзади, дымя сигарами и тоже внимательно слушая, стоят мужчины. Без конца повторяет он одни и те же истории про медведей в Ледовитом океане и

каждый раз раздаются одни и те же восклицания: «Господи! Как интересно!», «Боже, какие приключения!»

Случалось, мне надоедали все эти поклонницы, и однажды я пожаловалась на свои горести Яльмару Люндбому. Предстоял обед «в честь доктора Нансена», и я решила забастовать.

«И не надо тебе уставать от этих людишек,— сказал Люндбом,— оставайся-ка у меня, мы славно проведем время». Он пошел позвонить отцу и вернулся очень довольный: «Видишь, как все просто». Отец разрешил мне не ходить на обед, раз у меня «болит голова».

Я была уже в постели, когда отец вернулся, но он не зашел пожелать мне доброй ночи. И едва-едва поздоровался на следующее утро. Позже позвонил Люндбом, который, наверно, проснулся с угрызениями совести: «Ну, как дела?»—«Дела плохие,— ответила я, чуть не плача,— отец сказал, что мы оба бессовестные эгоисты».—«Конечно, эгоисты,— сказал Люндбом, и я услышала, как он посмеивается на том конце провода.— По-моему, иногда нельзя иначе...» Мне не удалось его дослушать. Я почувствовала, как меня обнимают сильные руки. Нет, дуться отец не умел. Но и я больше не бастовала, когда устраивались обеды в его честь.

В конце зимы умер один из французских дипломатов, и в католической церкви должна была состояться торжественная панихида. Ничего не зная об этом, я вдруг увидела в дверях комнаты отца в парадном, сверкающем золотом мундире еще лондонских времен. В наполеоновской треуголке, лихо сдвинутой набекрень, отец имел вид человека, весьма довольного собой.

«Боже, что за вид! Ты на маскарад?»— спросила я со смехом.

«Нет, я иду на похороны,— угрюмо ответил отец,— ты тоже. Надень-ка что-нибудь черное, если у тебя есть».

Когда мы пришли домой, к отцу вернулось чувство юмора: «Значит, по-твоему, мой роскошный мундир похож на карнавальный костюм? Пожалуй, ты права».

С тех пор он никогда больше не надевал его. Даже во время визита к президенту Вильсону в Белом доме. Он бывал там много раз, но, насколько я знаю, только на официальных встречах, и мне не довелось там побывать. Только после отъезда отца внимательный Моргенштерне взял меня с собой на прием. Он считал, что нельзя уехать из Америки, не побывав в этом здании.

В Вашингтоне отцу нечасто удавалось почитать мне вслух. Но этой зимой он «открыл» для себя Роберта Сервиса[174] и вдохновенно декламировал порой его стихи. Вот кто знает ледяные пустыни, говорил о нем отец. К рождеству нам прислали «Соки земли» Гамсуна, эту книгу мы рвали друг у друга из рук. Отцу попало также несколько старых исторических романов. Стенли Веймана[175], он читал их на сон грядущий, если уставал так, что не мог уже читать более серьезную литературу. От такого захватывающего чтения он не мог оторваться и, случалось, так и засыпал с очками на носу, не погасив свет.

Бауман выдержал только до середины марта, и Нансену с Моргенштерне пришлось бороться с волнами одним. Но сейчас и время созрело для заключения договоров. Почти восемь месяцев прошло в непрестанной борьбе с Вашингтоном, с одной стороны, и собственным правительством — с другой. Теперь Нансен решил с этим покончить. Он потребовал от правительства особых полномочий для подписания договора под свою личную ответственность в наиболее благоприятный, по его мнению, момент. По собственному горькому опыту он знал, как быстро меняются настроения и что в любое мгновение могут быть выставлены гораздо более жесткие требования. Но правительство хотело оставить окончательное решение за собой и отказалось выдать ему такие полномочия.

В конце апреля Военно-торговый совет сделал такое выгодное предложение, что, по мнению Нансена, нужно было соглашаться немедленно. Он телеграфировал в Норвегию и получил полномочия подписать соглашение при условии, что будут гарантированы уступки по определенным пунктам. Но это были как раз те пункты, по которым ему так и не удалось договориться. Нансен расвирипел. Его нарочно не хотят понять. Он ясно видит, в чем дело. Правительство хочет обеспечить себе козла отпущения, если народ будет недоволен соглашением. Но он уже принял решение. Не дожидаясь согласия своего правительства, он предложил Военно-торговому совету подписать соглашение, при условии что США пойдут на некоторые уступки.

Военно-торговый совет согласился, и Нансен послал на родину новую телеграмму. Никакого ответа. И тогда под свою ответственность 30 апреля 1918 года отец подписал соглашение с США.

Судьба — вернее, война — сделала так, что телеграмма, в которой он сообщал об этом, сильно запоздала. И получилось так, что на следующий день после подписания соглашения правительство и стортинг на совместном заседании решали, какую позицию им занять в переговорах с Америкой.

Норвегия первой из нейтральных стран заключила договор с США, причем самый выгодный. Неудивительно, что высокопоставленные господа из Военно-торгового совета поздравляли Нансена с такими результатами. На последней встрече, во время которой состоялось подписание договора, присутствовали, помимо двух постоянных представителей — мистера Уайта и доктора Тейлора, мистер Томас Чадборн и представитель Военно-торгового совета мистер Вэнс Маккормик[176]. Вильгельм Моргенштерне рассказывал мне об этом:

«У нас было определенное впечатление, что, несмотря на принятые нами предосторожности, американцам стало известно о телеграмме Нансена правительству Норвегии относительно подписания соглашения. До последней минуты мы надеялись получить телеграмму, предоставляющую Нансену особые полномочия, но она так и не пришла к началу встречи. Нансен просил сотрудников норвежской миссии немедленно позвонить ему по телефону, как только придет телеграмма. Когда церемония торжественного подписания соглашения закончилась, напряжение сразу ослабло. Мистер Маккормик подарил Нансену ручку, которой был подписан договор, царило приподнятое настроение, все поздравляли друг друга, обменивались рукопожатиями. Американские представители дали понять Нансену, что без его настойчивости и умения вести переговоры Норвегии не удалось бы добиться такого выгодного договора».

Дальнейшие события показали, что Нансен выбрал психологически верный момент. После заключения соглашения с Норвегией остальным нейтральным странам потребовалось гораздо больше времени для достижения цели. (34)

Министр иностранных дел Норвегии Илен[177] сознательно проводил так называемую политику проволочек. Он считал, что полное прекращение экспорта в Германию означало бы войну, поэтому следует как можно дольше тянуть с ответом Америке. Именно эта «политика проволочек» так действовала на нервы отцу и вызывала столько осложнений. И все же Илен, да и не он один, считал, что они с Нансеном лучше бы поладили, если бы не вмешательство прессы, которая восстановила их друг против друга. С другой стороны, в Норвегии трудно было судить о том, какие препятствия пришлось преодолеть комиссии и как много ею было достигнуто. Уже в марте 1918 года один норвежский предприниматель писал из Нью-Йорка в газету «Моргенбладет»:

«Интересно отметить, как изменилось отношение к Норвегии здесь благодаря стараниям комиссии, которая столько сделала для того, чтобы разъяснить Америке истинное положение Норвегии. В прошлом году только очень немногие бизнесмены соглашались поставлять товары в Норвегию, потому что большинство считало, что Норвегия слишком тесно связана с Германией. Теперь все предприниматели относятся к Норвегии гораздо более сочувственно. Из отечественных газет мы видим, что в Норвегии не вполне представляют себе, какие трудности пришлось преодолеть комиссии, зато здесь это понимают».

Нансен воздавал должное своим сотрудникам — и в своих выступлениях, и в душе. Я была живым свидетелем того, как искренни были сотрудничество и дружба между ними во все время пребывания отца в Вашингтоне. Нансен писал Илену:

«В целом хочу сказать, что не могу представить себе сотрудников более умных и способных, чем Бауман и Моргенштерне. Поистине пребывание здесь этих двоих сослужило хорошую службу Норвегии. С чем они не справятся, с тем, значит, вообще никто не может справиться».

А Моргенштерне рассказывал Иону Сёренсену[178], когда тот работал над «Сагой о Нансене»:



«Благодаря редкому дипломатическому таланту и добросовестности, которые он проявил в ходе переговоров, и благодаря прямоте и искренности, которой дышит все его существо, Нансену удалось не только убедить американскую сторону фактами, но и прочно завоевать их доверие и сердца. Договор, заключенный Нансеном, явился победой того рода дипломатии, которую хоть и не всегда называют этим словом, но которая тем не менее знаменует собой ту форму международных сношений, что станет дипломатией будущего».

Министр иностранных дел тоже был рад долгожданной развязке. По возвращении Нансена из Вашингтона он сам встретил его на причале, выразил ему свою благодарность и сердечно поздравил с успехом. Вскоре он дал обед в честь Нансена, на котором не жалели ни хвалебных речей, ни шампанского.

Наша квартирка вся утопала в цветах, потоком шли поздравления. Цель была достигнута, и результат превзошел все ожидания. Не было лишь одного — радости победы. Десять драгоценных месяцев ушло на так называемое «спасение Норвегии от грозящего голода», и отец считал, что зря потерял так много времени.

Однако зима, проведенная в Вашингтоне, не пропала даром. Отец не представлял себе тогда, как пригодится ему опыт, приобретенный во время работы в комиссии, и какую практическую пользу для его послевоенной деятельности принесут завязавшиеся тогда связи с выдающимися деятелями Америки и Европы. Во многих отношениях месяцы, прожитые в Америке, оказались радостной содержательной главой его жизни, под которой жаль было ставить точку. Расставания всегда наводили на отца грусть, а теперь нам предстояло проститься с нашими норвежскими, американскими, шведскими и швейцарскими друзьями. Прощальный вечер в норвежском посольстве, последняя поездка на машине по берегу Потомака и по великолепному Рок-Крик-парку — и вот мы уже в нью-йоркском поезде: в Нью-Йорке нам с отцом предстоит прощание. Мы с отцом решили, что я еще поживу в Америке, но теперь я готова была об этом пожалеть. «Бергенсфьорд» уходил в Норвегию 10 мая, и в нашем распоряжении было еще пять дней. Отец собирался сделать кое-какие покупки до отъезда. Ему вдруг захотелось обзавестись автомобилем, и он купил маленький «форд» и двухместный электрический автомобиль. Последний ему скоро надоел, во всяком случае его уже не было к моему возвращению домой, а на «форде» отец ездил потом еще много лет.

В Нью-Йорке мы были вместе с Моргенстьерне и той милой супружеской четой, с которой познакомились в Лейк Плесид, и как могли «в шуме и гаме глушили наше горе». Зато уж последний вечер мы провели вдвоем, и если бы не предстоящая разлука, он стал бы самым лучшим за все время нашей жизни в Америке. Хотя, кто знает, возможно, именно предстоящая разлука позволила нам так открыто говорить друг с другом. Живя в Вашингтоне, мы не раз беседовали по душам и очень подружились, а сейчас совсем не осталось «запретных» тем.

Впервые я заговорила с отцом о маме, и он не скрыл от меня ничего. Он считал своим «тяжким грехом» то, что отдалился от мамы в 1905—1906 годах. По правде говоря, он так и не простил себе этого. А когда наконец благодаря маме все выяснилось, она сумела понять, что это действительно было недоразумение и что он никогда никого не любил по-настоящему, кроме нее. В последний год своей жизни мама опять была счастлива. Мама была воплощением всего, что он ценил в женщине. «Да, твоя мама была гордой», — не раз говорил он. Он весь ушел в воспоминания о своей жизни с ранней юности и до того ужасного дня, когда он получил телеграмму о том, что Ева при смерти.

Наконец-то мы с папой обо всем поговорили! Я думаю, этот разговор и ему принес облегчение. С кем еще он мог говорить о маме? «Жаль людей» — эту фразу Стриндберга я любила говорить кстати и некстати, но тут она была уместна.

«Да, — сказал отец, — это верно. Но самое страшное, что чаще всего мы сами виноваты в своих бедах».

Теперь я впервые захотела, чтобы отец нашел ту, которая смогла бы заполнить пустоту. После смерти мамы прошло одиннадцать лет, и я подумала, что хорошо бы отцу снова отыскать тихую

гавань. Отца порадовал мой взгляд на этот вопрос и то, что я не собираюсь препятствовать, если этому суждено случиться. Что, впрочем, по мнению отца, очень маловероятно. Тут отец несколько смущенно засмеялся. «Но мы уж так устроены, что, несмотря ни на что, может любить не один раз. А впрочем,— сказал он,— пора бы и тебе поискать тихую гавань». Больше всего он хочет, чтобы у меня был ребенок! У каждой женщины должны быть дети! Все прочее — эмансипация, борьба за равноправие с мужчинами, за право голоса — это все суррогат и глупости. Единственно подлинное — материнство. Каждая женщина имеет право стать матерью. Да, так он говорил, но я не совсем уверена, что он встретил бы меня, сияя от восторга, если бы я в один прекрасный день явилась домой с ребенком на руках и без мужа. Я спросила его об этом, но ответа так и не получила.

Полночи прошло за разговором, и едва мы заснули, как за нами приехал автомобиль. Грустно было смотреть, как уходит «Бергенфьорд». Конечно, я понимала, что стоит только захотеть и можно уехать домой следующим рейсом. Но я сама решила немного пожить самостоятельно, хотя у меня было неясное предчувствие, что это «немного» затянется надолго.

Друзья приехали к парцходу проводить отца, а потом отвезли меня домой. На прощанье отец сунул каждому из нас подарок, и дома мы развернули пакетики. В моем оказалась прелестная сумочка, которой я любовалась в одной из витрин Нью-Йорка. В ней я нашла записку: «Спасибо за все, доченька. Добро пожаловать домой, в Пульхёгду!»

У очаровательной дамы из Лейк Плесида сверток оказался потяжелее — драмы Ибсена в переводе на английский и записка от отца. Отец надеялся, что она с особым вниманием прочтает «Бранда» и поймет, какое влияние эта книга оказала на него самого и на всю его жизнь. Дама отважно, хоть и с немалым трудом, одолела книгу, но в ответном письме отцу, поблагодарив его за подарок, все же созналась, что так и не увидела в грубом аскете Бранде никакого сходства с ее знакомым — веселым и обаятельным Фритьофом Нансеном.

## Х. НАНСЕН В ЛИГЕ НАЦИЙ

«В течение десяти лет среди изжелта-бледных политических деятелей и маститых дипломатов можно было неизменно видеть высокого угловатого мужчину с белыми обвислыми усами и приветливыми внимательными глазами. Это был Фритьоф Нансен, представитель Норвегии в Женеве,— такими словами начинался некролог, посвященный моему отцу, в немецком журнале «Вельтбюне» в мае 1930 года.— С юных лет полюбили мы это усатое лицо, выглядывающее из-под медвежьей шапки. Столько приключений выпало на долю этого человека, что их с избытком хватило бы, чтобы наполнить целую жизнь.

Но величайшее событие жизни выпало на последние ее десять лет, когда он давно уже отказался от мыслей об Арктике. В первые, самые тяжкие послевоенные годы он стал добрым гением человечества. Он помогал военнопленным всех стран возвратиться домой. Он организовал помощь голодающим в России, он в пламенных словах упрекал господ из Лиги наций за их душевную черствость и бессердечие. Что случилось бы без него с миллионами европейцев в те безумные 1919—1923 годы? Этот норвежец, ставший космополитом, заслужил «нансеновский паспорт» в бессмертие».

Слова эти принадлежат перу Карла Оссецки<sup>[179]</sup>, одного из упорнейших поборников свободы в Германии, и написаны за несколько лет до того, как гитлеровский режим задушил и этот голос. Оссецки был представителем демократической Германии, той Германии, которая, по мнению Нансена, должна была быть представлена в Женеве и которая получила место в Лиге наций при активном содействии Нансена. Оссецки считает, что жизнь Нансена распадается на два периода, и, вероятно, так считал не он один. То, что норвежский ученый и полярный исследователь стал в послевоенные годы полномочным представителем Лиги наций в деле разрешения важнейших задач в области политики и международной помощи, казалось делом удивительным. А произойти это удивительное событие могло только потому, что он был хорошо к нему подготовлен. Деятельность

Нансена в Лиге наций была подготовлена всем жизненным и административным опытом, которым он обладал как ученый и полярный исследователь. Сам он давно уже пришел к убеждению, что подобные задачи следует решать на основе международного сотрудничества, главной целью которого должно быть обеспечение вечного мира и взаимопонимания народов.

Уже в конце 90-х годов, после экспедиции на Северный полюс, Нансена занимала мысль об установлении между государствами таких отношений, которые были бы основаны на международном праве. Выступая на международной конференции в Гааге в 1899 году с призывом бороться против войны, он сказал:

«Я совершенно уверен в том, что если бы все разумно мыслящие мужчины и женщины всех наций объединились в своих действиях, то они создали бы непобедимый союз, способный истребить самый дух войны, это наследие варварских времен, которым все еще одержимы народы. Невозможно создать истинную цивилизацию, пока народы не поймут, что куда достойнее подчинять себе природу, нежели друг друга».

Во время мировой войны он снова вернулся к этим размышлениям, а надвинувшаяся катастрофа заставила его задуматься над тем, как опасно положение малых стран между больших держав. По мере того как военные действия все расширялись и все новые народы ввергались к кровавую бойню, крепло его убеждение относительно роли нейтральных стран в предстоящем восстановлении мирового порядка на Земле. И если 15 ноября 1920 года он оказался в зале Реформации в Женеве и присутствовал в качестве норвежского делегата на открытии первого заседания Лиги наций, то он был, так сказать, кузнецом своей судьбы. Его настойчивые требования в известной мере способствовали тому, что нейтральные государства вошли в состав новой организации (Лиги наций). В этом вопросе Нансен был настойчивее и активнее, чем было бы на его месте любое другое частное лицо. Он проводил в жизнь идею, впервые сформулированную им в 1914 году.

Еще тогда он предостерегал об опасности, грозящей малым странам со стороны великих держав. «Конечно,— говорил он,— иногда мириться с таким положением даже удобно. Подчас бывает хлопотно отстаивать свои права и защищаться от превосходящих сил. Куда удобнее уступить давлению со стороны великих держав — пусть они тогда и защищают нас, а мы будем избавлены от этой заботы». В 1917 году он особенно настаивал на том, что как раз малые нации, в том числе и скандинавские,— в силу своей более выгодной позиции во время войны, своего способа правления, своей культуры — в первую очередь призваны возглавить возрождение Европы. Став в 1917 году представителем норвежской стороны в Вашингтоне, он, как мне известно, и тогда уже по собственному почину обсуждал этот вопрос с американскими политиками и с посланцами других государств в Америке.

Да, прав Оссецки — то, что на Нансена было возложено такое ответственное поручение Лиги наций, было замечательным событием, и мы, дети Нансена, так и воспринимали это — как сказку. Во всяком случае, так воспринимала это я. Находясь в Америке, я могла следить за событиями только издали — по газетам и письмам с родины. Прощаясь с отцом в Нью-Йорке в тот майский день 1918 года, я была уверена, что он едет домой с твердым намерением посвятить себя научной работе. Да и сам он, наверное, так думал, поскольку работа в Вашингтоне была наконец налажена. Он давно уже с нетерпением ждал отъезда, и, конечно, только ради своей научной работы он решительно отказался в ту осень стать ректором университета. Несомненно и то, что у него не было никакого желания стать министром иностранных дел от партии Хейре в случае отставки правительства Гуннара Кнудсена, хотя Юхан Кастберг утверждает в своем дневнике обратное. Зато очень знаменательно, что он отказался от поста ректора как раз в те дни, когда начал добиваться участия Норвегии в учреждении Лиги наций.

Правда, и на этот раз он дал свое согласие не сразу. Доктор Вильгельм Кейльхау[180] очень гордился впоследствии тем, что сумел уговорить Нансена. По их инициативе на митинге, происходившем в конце октября 1918 года, была основана норвежская Организация содействия Лиге наций. Это произошло за несколько недель до заключения перемирия. Отец выступил с речью на

учредительном собрании Организации и был избран ее председателем. Избрание на этот пост предопределило всю его деятельность на протяжении последних двенадцати лет жизни.

Хорошую службу сослужило ему теперь то, что он и раньше уже размышлял над этими проблемами. Он считал, что самое главное — добиться того, чтобы нейтральные государства не только стали членами новой Лиги наций, но и получили в ней те же права, что и великие державы. Он настаивал также, чтобы данной организацией были охвачены все страны — не исключая побежденных.

«В настоящее время первой и наиболее важной задачей Лиги является создание таких условий, которые обеспечили бы мир на Земле и навсегда исключили бы возможность новой войны и повторения пережитых ужасов,— писал Нансен в статье, опубликованной в «Тиденс Тейн».— Иными словами, это означает, что вместо анархии, царящей в международных отношениях, и самоуправства отдельных наций нужно создать в мире новый порядок, опирающийся на международное *право* и *законность*, а не на *силу*. Естественно, что для этого все *цивилизованные народы* должны войти в Лигу наций, объединенные общим искренним желанием перестроить мир по-новому. Легко понять, что значение Лиги наций будет сведено на нет, если какая-нибудь крупная нация останется вне Лиги».

Находились люди — особенно среди профессиональных политиков,— которые пожимали плечами в ответ на речи Нансена: они считали его мечтателем-идеалистом, который ничего не смыслит в международной политике. Мне кажется, что та программа дееспособной Лиги наций, которую мой отец помогал выработать как представитель Норвегии, опровергает подобные утверждения. Именно тот факт, что участие в Лиге Германии, России и малых стран он считал необходимым условием успешной работы этой организации, показывает, насколько реально отец смотрел на будущее.

Программа, разработанная норвежской Организацией содействия Лиге, требовала, чтобы все международные конфликты разрешались путем мирных переговоров, третейского суда или иной инстанцией; она включала требование отмены воинской повинности, запрещения частного производства оружия и установления международного контроля над вооружением отдельных государств. Все эти требования носят последовательно демократический характер. Дальнейшие события полностью доказали, что компромиссное решение этих вопросов привело к краху Лиги наций и к развязке второй мировой войны. «Мечтатель» Нансен отчетливо сознавал совершенную непригодность половинчатых решений. Еще в 1919 году он предсказывал, что слабая Лига наций не сможет противостоять насилию, не сумеет завоевать ни доверия, ни авторитета и тогда новая катастрофа будет неизбежна.

«Если уже эта война была более варварской, чем все предыдущие, то можно с уверенностью сказать, что в этом отношении она не пойдет ни в какое сравнение с последующими. В прежних войнах сражались армии и флоты. Теперь в борьбу втягиваются целые народы. Современные методы ведения войны означают массовое убийство всех граждан — военных и штатских, женщин и детей, стариков и мужчин в расцвете сил, никому нет пощады.

Можно предсказать, что наука будет полностью поставлена на службу войне, она будет занята изобретением действенных средств, необходимых для защиты побережий и морского транспорта от нападения подводных лодок, для защиты городов от воздушных бомбардировок и для уничтожения вражеских флотов и армий. А какой тяжестью ляжет на все население воинская повинность!

Каждый народ будет уверен, что его существование в будущем целиком зависит от степени этой подготовленности, и никогда нельзя будет сказать, что сделано уже достаточно,— ведь никто не знает и не может знать, какие новые дьявольские изобретения появятся у противника. Все нации Европы — да и Америки тоже — все ниже и ниже будут склоняться под ярмом Молоха войны. Все силы их пойдут на уплату старых военных долгов и на подготовку новой войны».



За три месяца Организация содействия разработала проект программы Лиги наций, и в феврале 1919 года Фритьоф Хансен отправился в Лондон с докладом о норвежском проекте.

На банкете в Крайтирион-холле, устроенном британской Организацией содействия Лиге наций, он выступил с речью, в которой призывал своих британских друзей принять норвежский проект. Но скоро он понял, что лучше ему перебраться в Париж, где в это время работала мирная конференция. Там можно было встретиться с теми людьми, которым предстояло принять решение о Статуте Лиги наций. Хансен встретился с ними, но оказалось, что в общем и целом Статут Лиги наций уже разработан. Решено было создать союз держав-победительниц. Россию не включали в союз за то, что она заключила мир с Германией, когда другие страны еще продолжали войну, и потому, что новая форма ее правления не была признана. О Германии не могло быть и речи, а нейтральные страны вовсе не упоминались. Все это представляло полную противоположность тому, что Хансен считал спасением мира. Создание союза стран-победительниц могло только обострить противоречия между народами, а попытка упорядочить международные отношения без участия нейтральных стран была обречена на провал.

Тогда Хансен решил сосредоточить все усилия на одной самой важной, на его взгляд, задаче — добиться права совещательного голоса для нейтральных стран при обсуждении дальнейших планов. В этом он встретил поддержку. Вильгельм Кейльхау и Якоб Ворм-Мюллер[181] единодушно утверждают, что посредничество Хансена сыграло большую роль; благодаря ему делегации нейтральных стран были допущены к подготовительной работе по учреждению Лиги наций. Хансен не являлся официальным членом норвежской делегации, но его точка зрения была известна и на родине, и за рубежом и сыграла определенную роль.

Год спустя на первой сессии Ассамблеи Лиги наций в Женеве Хансен представлял Норвегию, а ее работой руководили представители малых стран. Председателем совещания был избран Пауль Хюманс, бывший министр иностранных дел Бельгии, а приветственную речь произнес президент швейцарской Организации содействия Джузеппе Мотта. Все это очень порадовало отца.

Хансен в душе лелеял еще один замысел, который возник у него еще во время Парижской конференции весной 1919 года, и считал, что в случае его осуществления он станет образцом международного сотрудничества в будущем новом мире. Со времени своего путешествия по Сибири Хансен сохранял глубокую веру в русский народ и настаивал на том, что политические события должны идти своим путем согласно волеизъявлению народа. Насильственное вмешательство в виде вооруженной интервенции полностью противоречило бы тому духу, которым отныне должна быть проникнута международная политика. Такое вмешательство только содействовало бы изоляции России и нанесло бы тяжелый удар, а возможно, и непоправимый ущерб делу международного сотрудничества.

Зато в борьбе с голодом и болезнями, изнурявшими Россию, следовало принять участие. То была великая задача, разрешением которой участники Лиги наций должны были на деле доказать, что эта организация призвана быть олицетворением доброй воли. Гуманность и великодушная помощь, независимо от всяких политических соображений, скорее всего привлекут Россию в семью европейских народов.

Возможно, отец считал, что малые страны тоже должны выступить с каким-то положительным предложением. Будучи представителем малой страны, он мог значительно усилить ее авторитет, положив начало принципиально новому делу. И он, по обыкновению, шел напрямик и брал быка за рога. В Париже он отправился прямо к Герберту Гуверу и обсудил с ним свои планы. Они договорились предложить Верховному совету держав-победительниц учредить особую комиссию по оказанию помощи, которая организовала бы отправку в Россию продовольствия и медикаментов.

В книге «Россия и мир», вышедшей в 1923 году, Хансен рассказал, как разворачивалась эта акция. 3 апреля 1919 года он в качестве частного лица обратился с письмами одинакового содержания к главам четырех держав — Вильсону, Клемансо, Ллойд-Джорджу и Орландо. Как говорится в письме, поступая так, он действовал «с позиции нейтралитета и чистой гуманности». В своем



письме он говорил, что, отдавая себе полный отчет в том, какие важные политические проблемы затрагивает его предложение, он все же просит, чтобы главы великих держав сообщили ему, на каких условиях они согласны будут его принять. Результат был такой, какого он, очевидно, заранее опасался. Высокий совет соглашался, с человеколюбивой идеей помощи, но ставил условием прекращение всяких междоусобиц внутри России. Такое условие было равносильно политической интервенции, и русский нарком иностранных дел Георгий<sup>[182]</sup> Чичерин отверг эти условия. Обе стороны поблагодарили Нансена за инициативу, но уговорить никого так и не удалось.

Нансен выразил свое сожаление по поводу неудачи и сильную обеспокоенность политическим антагонизмом между Востоком и Западом. До самой смерти он был уверен, что в случае осуществления его плана Россия была бы привлечена на сторону Европы и тогда в Европе сложилась бы совершенно иная обстановка. Неудача политики, за которую он ратовал, сильно подействовала на Нансена, и, мне думается, в глубине души он надеялся, что его мнение восторжествует и он возьмет реванш: только поэтому он и согласился спустя два года возглавить в качестве полномочного комиссара Красного креста акцию помощи России. В сущности, тем самым он брался за выполнение своего собственного плана.

Деятельное участие Нансена в двадцатые годы в деле помощи беженцам и военнопленным, голодающему населению в России и бесприютным армянам и грекам известно всему миру. Мировой общественности он представляется человеком, который почти в одиночку, вопреки сопротивлению Лиги наций и многих политиков, спас миллионы людей от голодной смерти и вернул им родину. В известной мере это справедливо, потому что он действительно часто сталкивался с противодействием и недовольством со стороны Лиги наций и правительств отдельных великих держав. И все же такое представление ошибочно, потому что сам Нансен считал, что претворяет в жизнь ту идею, ради которой и была создана Лига наций. Он считал, что работа на благо человечества должна служить практическим доказательством дееспособности и доброй воли Лиги наций и что работа эта создает предпосылки мирного сосуществования народов. Он хотел показать, что международная организация может взять на себя осуществление таких задач, которые не в состоянии осилить отдельное правительство. Этим он думал поднять престиж Лиги наций. Личным примером он хотел доказать, что возможно сломать рамки того, что старые государственные мужи называли «реальной политикой», и что выполняемая им (Нансеном) миссия должна символизировать взаимное примирение народов. Его деятельность была направлена на благо человечества, и его гуманизм всегда носил политический характер.

Я не знаю, как моему отцу удавалось договариваться с профессиональными политиками и дипломатами в Женеве. Всю свою жизнь он поглядывал на них косо и далеко не всегда снисходительно. Дома он никогда на этот счет не распространялся, зато в публичных речах часто высказывался в их адрес. «В конечном итоге политики борются за власть», — говаривал он. А о дипломатах: «Намерения-то у них, наверное, хорошие, но сами они все-таки бесплодное племя».

Конечно, у него была своя линия поведения на заседаниях или собраниях и комитетах. Иначе и быть не могло. Но мне кажется, что он делал это сознательно, считая своим долгом сломать привычную форму секретных переговоров и открыто, во весь голос, говорить о любых, даже самых деликатных делах и отстаивать свою точку зрения независимо от того, с кем приходится ее разделять. Для него главное было в том, чтобы точка зрения соответствовала идее, лежащей в основе такого союза.

Представитель Англии в Лиге наций виконт Роберт Сесил обычно разделял воззрения Нансена в крупных решающих вопросах. Им не раз приходилось совместно решать важные вопросы, и они стали близкими друзьями. Сэр Роберт Сесил неоднократно высказывался по поводу того, как бесстрашно вел себя Нансен в Женеве. Когда дело шло о мире и об этической стороне деятельности Лиги наций, Нансен никогда не справлялся заранее, как смотрят на этот вопрос великие державы.

«Если мы будем настаивать на своем в данном случае, то рискуем настроить против себя и Францию, и Англию», — сказал однажды лорд Сесил. «Разумеется», — ответил Нансен. — Ну и что же?»

В это время отец часто писал, как он скучает по дому. Получала я письма и от тети Малли, и от Одда, и от Торупа, и от Анны Шёт, и от многих других и поэтому знала обо всем, что делается дома. Особенно меня мучила совесть из-за Одда. Он, верно, нуждается во мне, думалось мне. Отец постоянно был в отъезде и потому решил поместить Одда в какую-нибудь семью, где он будет вести более упорядоченный образ жизни, чем в Пульхёгде. Почти все гимназические годы Одд провел в семье доктора философии Кр. Л. Ланге в Виндерене. Ланге был генеральным секретарем межпарламентского союза, совет которого заседал в Женеве, и имел большие заслуги в сфере международной работы. Как и мой отец, он получил Нобелевскую премию. Его сын Хальвард, который после второй мировой войны стал министром иностранных дел, тогда учился вместе с Оддом, и они очень подружились. Фру Ланге заботилась о моем брате и не делала никакой разницы между ним и своими собственными детьми. Но, как ни хороши были «приемные родители», а все-таки у Одда было такое чувство, что его словно выставили из дому. Ведь у него был родной дом, был отец, которого он так чтит и по которому так тосковал.

Трудно приходилось в те годы и другому моему брату, Коре. Задолго до отъезда отца в Вашингтон Коре тоже «отправили в изгнание», и ему совсем несладко жилось вдали от семьи. Это тяжело отражалось на нем, он чувствовал себя бездомным и одиноким. Отец и сам страдал от всего этого. Он был предан нам всем сердцем и старался устроить нас возможно лучше. Но постоянные разъезды мешали ему по-настоящему сблизиться со своими сыновьями, которых он видел только от случая к случаю. Он очень горевал, что не мог поступать, как учил Бьёрнсон: «Все силы свои направь на решение ближайших задач!»

Имми с самого рождения была для всей семьи «ясным солнышком». Жизнь ее баловала, да и сама она была приветливой, открытой и не мучила себя никакими проблемами. Отцу она доставляла только радость и никаких огорчений. Осенью 1919 года она приехала в Америку изучать агрономию в Итаке. «Ведь надо было найти предлог, чтобы повидать белый свет, вот я и придумала эту поездку», — бодро и весело заявила она, сходя по трапу с «Бергенсфьорда».

В том же году перед рождеством отец женился на Сигрун Мюнте, урожденной Сандберг. Мы с Имми давно предвидели эту свадьбу, но сообщили нам об этом событии только задним числом. Имми получила телеграмму от Сигрун и переслала ее мне со своей припиской: «Что ты на это скажешь?».

Что я скажу на это? Не так-то легко было ответить. Как-то немного странно это было, но, как сказано, мы с Имми были к этому подготовлены.

Труднее всего приходилось Одду. Он как раз лежал в больнице, ему оперировали больное колено, и у него были сильные боли, когда отец навестил его накануне свадьбы. Одду показалось, что отец уж больно неразговорчив. Смущаясь и нервничая, сидел он у постели сына и не находил слов. Наконец решился и замогильным голосом произнес: «Завтра я женюсь, мой мальчик!» Потом встал, распрощался и ушел, не дожидаясь ответа.

Одду было всего 18 лет, и вряд ли он мог тогда понять, что неловкость отца объяснялась смущением, которое охватывало его, когда речь шла о его собственных делах. Если бы отец подозревал, как потрясут сына эти простые слова, то он постарался бы побороть свою застенчивость. Но он просто не догадался этого сделать.

Мало найдется на свете людей, которые проявили в своей жизни столько морального и физического мужества, как наш отец. Мало найдется людей, которые бы так смело и откровенно высказывали свое мнение. Но если дело касалось его личных, интимных переживаний, этот мужественный человек стеснялся и робел даже перед родными детьми.

Он, конечно, не делился своими планами и с друзьями, за исключением Торупа и Хелланд-Хансена, которых он пригласил быть свидетелями на свадьбе. Совершенно случайно узнал о предстоящем событии его зубной врач. Отец был у него на приеме как раз утром того знаменательного дня, и при прощании они разговорились. В комнате ожидания сидела длинная очередь пациентов, а зубной врач не решался прервать интересную беседу. В конце концов отец

спохватился, посмотрел на часы и заторопился: «Черт побери, мне надо торопиться, ведь через два часа моя свадьба!».

Десять лет мой отец оставался на посту представителя Норвегии в Женеве. Он принимал участие в работе Ассамблеи и с самого начала старался помочь поставить деятельность Лиги наций как можно прочнее и солиднее, выработать ясную и недвусмысленную ее позицию. По его инициативе Лига наций включила в сферу своей деятельности целый ряд новых задач, и Нансен неустанно боролся за то, чтобы к ней присоединились все нации. Начиная с первой сессии 1920 года он настаивал на приеме Германии в Лигу наций. Он сам поднял этот вопрос и постоянно привлекал к нему внимание участников ежегодно собиравшейся сессии. Страны, воевавшие на стороне Германии и решением Парижской конференции не допущенные вначале в Лигу наций, теперь одна за другой становились ее членами, и только одна Германия составляла исключение. Это мешало работе Лиги наций. В этом вопросе Нансен встретил сильное сопротивление как со стороны Лиги, так и со стороны самой Германии. Однако это его не отпугнуло. Неоднократно он вел на эту тему переговоры с графом Бернсдорфом, который впоследствии и стал делегатом Германии в Женеве. И когда наконец в 1924 году по инициативе Макдональда[183] дело приняло более благоприятный оборот, Нансен отправился в Германию для личной беседы с рейхсканцлером Марксом. Поездка принесла свои плоды: год спустя на конференции в Локарно Германия заявила о своем согласии присоединиться к Лиге наций, при условии что будет там равноправна с великими державами и в качестве постоянного члена войдет в Совет Лиги наций. Такое условие повлекло за собой крупные разногласия в Лиге наций. Если включить Германию в Совет Лиги наций, то и другие, более старые члены Лиги потребуют для себя того же. Лишь к середине осени 1926 года Нансену удалось уладить это дело.

Теперь Нансен направил свои усилия на то, чтобы доказать малым странам недопустимость политики компромиссов, которая грозила нарушить равновесие сил в Совете Лиги наций в пользу великих держав, а это могло уменьшить влияние Ассамблеи на политику Лиги наций. Он предложил включить в Статут Лиги наций параграф о переизбрании Совета большинством голосов в две трети. Это пришлось не по вкусу великим державам, и они требовали внесения изменений в этот параграф. Но нейтральные страны сумели настоять на нем, и в конце концов великие державы присоединились к этому решению.

По мнению большинства, и Нансена в том числе, договор в Локарно[184] и прием Германии в Лигу наций в 1926 году продвинули весь мир вперед на пути к прочному миру. В декабре того же года Нобелевская премия мира была присуждена американцу Чарльзу Дауэсу[185], французцу Аристиду Бриану[186], англичанину Остину Чемберлену[187] и немцу Густаву Штресеману[188]. При вручении премий в Нобелевском институте Фритьоф Нансен выступил с речью, в которой особенно ярко выразились его чаяния и надежды, связанные с Лигой наций.

«Локарно заставляет нас верить, что для Европы и впрямь настал новый день, вновь воскресли надежды и вера в лучшее будущее. Чтобы оценить по достоинству, каким вкладом в дело мира явилась деятельность этих людей в Локарно, надо вспомнить, какое сопротивление со стороны националистов пришлось большинству из них преодолевать в собственной стране, чтобы провести в жизнь мирную программу.

Вступление Германии в Лигу наций Бриан приветствовал замечательной речью, где между прочим сказал: «Никаких войн больше! Теперь суд будет решать, кто прав, кто виноват. Как отдельные граждане приходят к судье за разрешением своих взаимных недоразумений, так и мы будем разрешать все наши затруднения мирным путем. Долой оружие! Долой пушки и пулеметы! Откроем дорогу посредничеству, третейскому суду и миру!»

Вот чего мы достигли на сегодня. У нас есть средства для предотвращения угрозы войны. У нас не будет войн, если мы, люди, сами не пожелаем воевать. Война не есть порождение стихийных сил, она порождение воли человеческой, и это стыд и позор рода людского!

Но правительства как больших, так и малых стран должны всей душой, без колебаний встать на путь мирной политики. Никто не должен пытаться сохранить за собой право на

ведение локальных войн. Никто не должен втайне строить расчеты на слабости Лиги наций — что, дескать, ее можно использовать в частных интересах той или иной страны. Мы должны идти тем путем, который сами наметили для себя в Локарно, и мы должны сжечь за собой мосты, ведущие вспять к старой политике и к старой системе, которая довела нас до такого тяжелого поражения».

Упоминая о локальных войнах, Нансен, вероятно, имел в виду агрессию Муссолини в 1923 году, когда тот вообразил себя оскорбленным пограничным инцидентом между Грецией и Италией, в котором было убито несколько итальянских офицеров.<sup>[189]</sup> Дело не было толком расследовано, и, чтобы получить сатисфакцию, Муссолини отдал итальянскому флоту приказ атаковать остров Корфу, маленький гарнизон которого не смог оказать сопротивления. Греция обратилась с жалобой в Лигу наций и просила Совет о санкциях против Муссолини. Хотя Нансен не был членом Совета Лиги наций, он энергично обрабатывал представителей стран, являвшихся членами Совета, и страстно настаивал на том, чтобы Ассамблея заняла твердую позицию. Он был возмущен агрессией Муссолини и прекрасно сознавал, что Лига наций утратит свой авторитет, если посмотрит на нее сквозь пальцы.

Дело приняло весьма драматический оборот. Характерно, что в подобных случаях всегда находятся политики, предпочитающие замять конфликт, даже в случае такой явной провокации. Ко всему прочему, Италия была членом — учредителем Лиги наций, и конфликт с нею был нежелателен. Но уклончивая политика Лиги подверглась самому решительному осуждению со стороны Брантинга и Нансена, которые живо поставили все на свое место. Они решили продемонстрировать, что малые нации должны и могут мужественно сказать свое «нет». Стоит им уступить хотя бы однажды, как это поведет к тому, что в случае новой агрессии никто пальцем не шевельнет, чтобы вмешаться.

Нансен выступил на Ассамблее, и его речь неоднократно прерывалась бурными аплодисментами. Без всяких дипломатических околичностей Нансен в ясных выражениях обвинил Италию в самоуправстве и напомнил членам Совета об их ответственности перед Лигой наций. Итальянские делегаты подняли шум в зале, и председателю пришлось прибегнуть к неслыханному дотоле средству: он постучал молоточком и прервал оратора.

«Хорошо, я закончу,— сказал Нансен.— Я мог бы кое-что добавить к сказанному, но я успел высказать все, что было необходимо».

Один из британских делегатов потом рассказывал, что Нансен, опустив голову, сходил с кафедры при полном молчании зала: «Можно было слышать невысказанное. Выражение лица Нансена говорило яснее всяких слов».

Нансен был очень недоволен поведением Италии в этом конфликте, и его норвежские друзья, бывшие тогда вместе с ним в Женеве, рассказывали потом, как он порой давал волю своим чувствам в шутке.

Редактор Торальф Эксневад как-то завтракал с ним и еще с кем-то в небольшом ресторане. Официант подал им меню, где значились среди других блюд «ризотто» и «спагетти».

«Об итальянских блюдах не может быть и речи. Мы осуществим экономические санкции против Италии»,— заявил Нансен. И все вместе выбрали нейтральное блюдо — цыпленка.

«А можно быть уверенным, что этот цыпленок не вылупился из итальянского яйца?»— спросил Нансен. Официант понял шутку и поспешил ответить, что яйцо снесла самая что ни на есть швейцарская курица. Потом стали выбирать вино. Кьянти, разумеется, было отвергнуто. Скорее уж можно было предпочесть мозель.

Однако Нансен остановился на старом испытанном бордо — это не подведет.

Возмущение в Лиге наций было настолько сильно, что Муссолини не посмел ссориться с Женевой. Зато он попытался оказать давление на норвежское правительство, чтобы унять Нансена, но попытка не удалась. Умудренный опытом бурных событий 1923 и 1925 годов, Нансен выступил впоследствии в поддержку предложений, которые и легли затем в основу трактата о третейских су-

дах по улаживанию спорных вопросов — Генерального акта Лиги наций, вошедшего в силу в 1929 году.

Отец работал как никогда и успевал принять участие в самых различных делах, проходивших через Лигу наций. Кроме выполнения своих прямых обязанностей представителя Норвегии, он с 1920 года и до самой смерти участвовал во всех международных акциях помощи. Выполняя гуманитарную миссию в качестве полномочного комиссара Лиги наций и Красного креста, он в то же время непрестанно интересовался делами подмандатных территорий Лиги наций. Дела эти обсуждались Советом Лиги наций, а потом пересылались в специальную комиссию, в которой он состоял постоянным членом.

Он сам завел такой порядок, полагая, что подобные проблемы касаются также и Ассамблеи. Здесь речь шла о народах, подчиненных чужому иностранному правительству, которые не могли постоять за себя, защитить свои человеческие права. И, независимо от желательности или нежелательности этого для причастных к тому правительств, Ассамблея имеет право знать, какой порядок соблюдается в подмандатных странах, утверждал Нансен.

Во время своего перехода через Гренландию Нансен ознакомился с положением эскимосов и с тех пор весьма скептически относился к колониальной политике культурных наций. Он призывал государства уважать первобытные народы, улучшать условия их жизни и облегчать им путь к достижению большей самостоятельности. В 1923 году Нансен поставил на обсуждение вопрос о рабстве и до самой смерти неустанно боролся за окончательное искоренение этого позорного института.

Могу себе представить, что присутствие моего отца в Женеве доставляло кое-кому из делегатов немало хлопот; своей настойчивостью и неугомонностью он нажил себе много противников. Лорд Роберт Сесил рассказывал, что некоторые называли его *enfant terrible*<sup>[190]</sup> Ассамблеи. Зато другие, наоборот, называли его «совестью Европы». Отец не мог отказаться от активного проведения своей линии, а сознание лежавшей на нем громадной ответственности тяготило его больше, чем следовало. Ему исключительно помогала счастливая способность отключаться в перерывах между работой. Ему более, чем кому-нибудь другому, по душе было изречение: «отдыхать — значит заняться другим делом». Он умудрялся и в Женеве находить время для того, чтобы обдумывать научные работы и оставаться в курсе норвежской внутренней политики; он издали следил за подвигами Руала Амундсена во льдах и втихомолку готовился к экспедиции на Северный полюс. А когда не был занят делами, то, как в Вашингтоне, выходил «в свет», где танцевал, наслаждался обществом красивых дам и рыцарски за ними ухаживал.

Он всегда был в движении, по свидетельству людей, близко знавших его в Женеве. Во весь опор, через четыре ступеньки мчался он бывало вниз по лестнице, на ходу натягивая на себя пальто. Но во время заседаний он был спокоен и внимателен, вдумчиво слушал всевозможных ораторов. Сестра Имми, которая была с ним осенью 1926 года, рассказывает, что сразу по окончании заседания он мчался в своей известной всей Женеве широкополой шляпе, надетой набекрень, за женой и дочкой и они отправлялись в какой-нибудь уютный ресторанчик. Он придирчиво выбирал блюда по карточке, с удовольствием выпивал стакан хорошего вина, выкуривал сигару, прислушиваясь к оркестру, и это неизменно приводило его в хорошее расположение духа.

В первые женевские годы Нансен много времени проводил в обществе норвежских делегатов — премьер-министра Отто Блера и министра Микаэля Ли. Из числа иностранных представителей отец любил общество своего друга сэра Роберта Сесила и вообще любил компанию британцев. Он высоко ценил Бриана, причем симпатия была обоюдной. Но Бриан не любил говорить по-английски, а отец не очень был тверд во французском, поэтому им нелегко было вести непринужденную беседу и вне заседаний Ассамблеи они встречались редко. Когда Германия вступила в Лигу наций, отец (и Сигрун, когда бывала с ним в Женеве) часто встречался с Густавом Штреземаном и его женой. Отец ценил Штреземана и охотно беседовал с ним о политике. Они часто приглашали друг друга в гости к обеду или завтраку.



Председательствуя на заседаниях комитета, Нансен держался доброжелательно, но твердо. Один швейцарец, который некоторое время был секретарем комитета, рассказывал мне об одном таком заседании, где до прихода Нансена царило весьма оживленное настроение. Заняв свое место в конце стола, он немного посидел, собираясь с мыслями и оглядывая возбужденных членов собрания. Потом положил руку на край стола и очень любезно произнес: «Ну, а теперь, друзья мои, пора и *за дело* взяться!».

Вот что писал один журналист после смерти Нансена в 1930 году: «Его не хватало на озере Леман в нынешнем году, и в зале заседаний, и в кулуарах, и на променаде, и на празднике. Он был самой крупной достопримечательностью Женевы после Монблана. Мне случалось в прежние годы встречать его на набережной Вильсона в восемь часов утра. Стройный и прямой, возвращался он после холодного утреннего купанья — всегда первый в купальне и первый за рабочим столом. Поля его большой серой шляпы освещало солнце. Ранние пташки оборачивались и смотрели ему вслед».

Да, в Женеве Нансена с полным основанием считали незаменимым во многих отношениях. Якоб Ворм-Мюллер говорил, что его смерть оказалась большим ударом для внешней политики Норвегии. В тридцатые годы доверие к Лиге наций пошатнулось, отец давно уже предупреждал об этой опасности. Теперь то и дело возникала необходимость обуздывать агрессоров, не допускать локальных войн и т. д. Для Лиги наций эта задача оказалась непосильной. В те тяжкие годы многие вспоминали и приводили слова Нансена об обязанностях и ответственности Лиги наций. Роберт Сесил поместил в конце тридцатых годов в «Лё Нор» статью о Нансене и Лиге наций, написанную под впечатлением сложившейся в Европе напряженной обстановки. В ней лорд Сесил писал:

«Все, кому приходилось видеть Нансена в Лиге наций, единодушно признают то исключительное влияние, каким он пользовался в Ассамблее. Здесь собирались самые выдающиеся государственные деятели, дипломаты, юристы, промышленники, но большинство среди них составляли руководящие политики всех стран мира. Они говорили на разных языках, принадлежали к самым различным расам и исповедовали различные религии. И все они должны были целиком и полностью представлять свою страну. Они не верили в благородные порывы. И хотя сами были знатоками ораторского искусства и не прочь были поаплодировать хорошей речи, они редко давали увлечь себя. Они оставались холодны к потоку красноречия. Выступления Нансена в Лиге наций не имели ничего общего с ораторским искусством в обычном смысле слова. Он говорил по-английски просто и с детской прямоотой, говорил без прикрас, если ему надо было высказаться о чем-то важном, с убеждающей силой глубокой серьезности. Весь его облик производил ослепительное впечатление на мировую аудиторию, перед лицом которой он выступал. Его осанка и гибкая грация и, пожалуй, больше всего твердый ясный взор приковывали всеобщее внимание.

Несомненно, нации посылали в Женеву свою элиту. Но среди всех них выделялся Фритьоф Нансен — олицетворение идеи мира между народами и справедливости».

## **XI. РЕПАТРИАЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ**

«Неужели вам для этой работы обязательно нужен профессор?» — с несчастным видом спросил отец, когда ранней весной 1920 года Совет Лиги наций предложил ему взять на себя трудное поручение — отправку военнопленных на родину. — Неужели для этого нельзя найти более подходящих людей?».

С другой стороны, ему казался весьма многообещающим тот факт, что новая международная организация занялась этим вопросом одним из первых. Со времени заключения перемирия прошло уже полтора года, а массы военнопленных все еще томились в ожидании отправки на родину. Жили они в ужасных условиях и тысячами умирали в лагерях.

Правда, еще на Гаагской конференции 1899 и 1907 годов были предприняты попытки установить такой международный закон, по которому военнопленные не считались бы врагами, имели право на кров, еду и одежду и не должны были подвергаться дурному обращению. Но мировая война перевернула все правовые и моральные нормы. Во многих европейских государствах царил полный хаос и во время войны, и после, и ни Международная организация Красного креста, ни правительства союзников, несмотря на все их усилия, не могли оказать военнопленным никакой помощи.

В Германии условия были довольно сносные, но в конце концов и ее настиг экономический кризис. Тогда дело сильно осложнилось, особенно для русских военнопленных, которые после 1917 года потеряли связь с родиной.

В европейской части Советской России в каждом лагере содержалось от 2 тысяч до 10 тысяч человек, а в Сибири число их достигало 35 тысяч на каждый лагерь. Тысячи людей погибали от голода. Русские морозы, сыпной тиф, малярия, холера, чума и туберкулез уносили огромное количество жизней. Русские врачи и медики из числа военнопленных пытались бороться с эпидемиями, но им не хватало для этого дезинфекционных средств, медикаментов, топлива, воды и соломы для подстилки.[191]

Годы плена, отсутствие каких-либо занятий, холод и голод при полной безнадежности деморализовали пленных. Немногочисленные священники, жившие в лагерях, мало чем могли помочь своим товарищам по плену. «При ближайшем рассмотрении они быстро обнаруживали, как мало сами получают от своей религии»,— рассказывал один из членов комиссии по оказанию помощи. Но были и примеры самопожертвования и героизма. Один врач-немец, которому после долгих лет пребывания в плену представилась возможность выйти на волю, предпочел остаться в лагере, чтобы продолжать помогать другим.

Кроме военнопленных, было еще около 330 тысяч интернированных лиц из числа проживавших в России подданных европейских государств. В годы войны Международная организация Красного креста и другие организации помощи получали доступ в лагеря интернированных в Центральной Европе и в России. Была налажена раздача еды, одежды и медикаментов, создавались больницы, был организован обмен инвалидами. Особенно деятельны были общества Красного креста Дании и Швеции. Медсестры шведского Красного креста спасли тысячи жизней.

После Октябрьской революции всех пленных, находившихся в России, объявили «вольными» гражданами. Вековому царскому самодержавию был нанесен смертельный удар, и надо было создавать новое общество. В ответ на революцию началась контрреволюция, которую поддержали прежние союзники России. Несчастные военнопленные снова были интернированы и теперь уже лишены какой бы то ни было помощи извне. Американские и скандинавские общества помощи не могли до них добраться, бессильной оказалась и Международная организация Красного креста. Некоторые общества Красного креста обратились к своим правительствам с просьбой вмешаться во имя цивилизации и гуманности. Но отдельные правительства здесь ничего не могли сделать.

Лига наций видела единственный исход в том, чтобы поручить выполнение этой задачи какому-то одному лицу. Но нужен был человек, которому доверяли бы все и которому оказалось бы по плечу такое грандиозное мероприятие. Одному из секретарей Совета Лиги наций Филипу Ноэль-Бэйкеру[192] было поручено поехать в Христианию и уговорить Нансена взять на себя роль организатора этой работы в качестве верховного полномочного комиссара Совета Лиги наций.

Немедленно по прибытии в Христианию Филип Ноэль-Бэйкер дал знать в Люсакер, что он находится в британском посольстве и просит Нансена не отказать в любезности сообщить ему, когда тот сможет принять посланца Лиги наций. Не прошло и получаса, как Бэйкер увидел у подъезда посольства «форд», за рулем которого сидел Нансен. «Он был на тридцать лет старше меня и притом один из самых знаменитых людей своего времени, но он и не подумал послать за мной, а сам пришел приветствовать молодого посланца Лиги наций».

Нансен сразу же заговорил о деле. Не тратя лишних слов, он тут же попросил Бэйкера ввести его в курс дела и рассказать, как именно представляет себе Совет Лиги наций решение предстоящей задачи. Бэйкер не мог дать ему ответа. У Лиги наций имелись на этот счет очень смутные соображения. Семь часов без перерыва Нансен расспрашивал молодого человека. Они перевернули все имевшиеся в посольстве карты, справочники, малейшая деталь обсуждалась всесторонне. Англичанину не удалось даже сделать перерыв для традиционного файв о'клока. Под конец Нансен сказал, что ему понадобится несколько дней на размышление, и распрощался.

«Помню, что нам пришлось подталкивать его «форд» вниз под горку, чтобы завелся мотор, — рассказывал Бэйкер, — и я думал при этом, увижусь ли я когда-нибудь снова с этим удивительным человеком?» Бэйкер не очень на это надеялся, поскольку не смог дать удовлетворительный ответ ни на один из вопросов Нансена, не знал ни того, где находятся лагеря военнопленных, ни того, сколько их вообще, не знал, готово ли Советское правительство оказывать содействие, не знал, можно ли раздобыть судно или поезд для перевозок, не знал, кто будет организовывать пересыльные лагеря и дезинфекционные пункты, не знал даже и того, где и как Нансену придется добывать необходимые денежные средства. Бэйкер решил, что едва ли во всем мире найдется человек, который захочет рисковать своим добрым именем ради такого безнадежного предприятия.

Три дня спустя Ноэль-Бэйкер получил приглашение к ужину в Пульхёгде. Весь вечер толковали о всяких разностях: об охоте, о рыбной ловле, о зимнем спорте, об Англии и Норвегии, о политической обстановке. О пленных — ни слова, и Бэйкер с сожалением подумал: «Вот и конец всему!» Но, провожая гостя к дверям, Нансен сказал, пожимая ему руку: «Можете сообщить Лиге наций, что я берусь выполнить это поручение. Приезжайте ко мне завтра, и мы набросаем кое-какие планы».

Что заставило Нансена так поступить?

По мнению Бэйкера, у Нансена были для этого две причины: во-первых, и это главное, — полмиллиона военнопленных, владивших жалкое существование в дальних лагерях. Во-вторых, огромный политический резонанс выполнения такой важной задачи. Если удастся спасти пленных и вернуть их семьям, это увеличит престиж Лиги наций в самом начале ее деятельности, укрепит ее авторитет, и новая международная организация поплывет на всех парусах.

Ф. Ноэль-Бэйкер стал помощником Нансена по выполнению поручения Лиги наций, а капитан Д. Финне — его секретарем. Работу начали немедленно.

Первым встал финансовый вопрос. Откуда брать деньги? Лига наций еще не располагала собственными денежными средствами, а в опустошенных войной странах и во вновь образованных государствах вообще не на что было рассчитывать. Лига наций могла только предоставить гарантии да суммы, которые были выделены отдельными государствами на восстановление Центральной Европы, но пока еще не пущены в дело. Ведавший этими фондами комитет, в состав которого входили и представители нейтральных стран, находился в Париже. Нансен составил смету предстоящих расходов и поехал туда. Он разъяснил членам комитета, что возвращение военнопленных к производительному труду будет значительно способствовать экономическому возрождению Европы.

Джон Х. Горвин, будущий главный представитель Нансена по борьбе с голодом в Стране Советов, был тогда генеральным секретарем этого комитета, именовавшегося Международным комитетом по кредитованию помощи. Теперь, в 1955 году, он написал мне: «Серьезность и настойчивость, с какими Нансен апеллировал к комитету, произвели глубокое впечатление на его членов и были главной причиной благоприятного результата».

Комитет согласился с доводами Нансена, и после длительных переговоров ему удалось убедить многие правительства выделить необходимые кредиты. Первыми откликнулись малые страны — Дания, Норвегия, Швеция, Голландия и Швейцария. Позднее присоединились Англия и Франция. Теперь надо было организовать самоё «акцию». В качестве помощника был назначен в числе многих других молодой Томас Лодж, проживавший тогда в Париже. В своей статье, опубликованной в 1943 году в журнале «The Norseman» («Норвежец»), он рассказал кое-что о себе и о моем отце:

«Я успел совершенно позабыть об одном случайном разговоре по поводу того, какие расходы вызовет репатриация военнопленных, как вдруг мне предложили стать помощником Нансена по финансовым делам, связанным с этим вопросом. Нансен тогда находился в Лондоне, и я пришел к нему с финансовой сметой. Она представляла собой какую-то странную смесь абсолютно надежных обещаний, полуобещаний и намеков на обещания. Нансена я знал в ту пору только понаслышке. Имя, связанное со сказочными экспедициями, но совершенно неизвестное в послевоенном политическом мире. Если бы при нашей встрече я увидел обыкновенного европейского политического деятеля, пусть даже достойного особого уважения представителя этой категории, я наверняка постарался бы под благовидным предлогом отвертеться от такого рискованного предприятия. Но в лице Нансена я встретил такого человека, что при нем о таких вещах, как «отвертеться», просто стыдно было думать.

Не подумайте, что Нансен говорил со мной о каких-то высоких материях. Нет, он был не таков. Я нашел в нем человека простого и прямого, всецело посвятившего себя тому делу, за которое взялся. Разве можно восстановить Европу, если предоставить этих несчастных военнопленных своей судьбе?

Бескорыстие Нансена не вызывало ни малейших сомнений! И — хотя и со вздохом, и не без колебаний — я дал свое согласие и тем самым вступил в тот период своей жизни, который принес мне наибольшее удовлетворение,— период личного сотрудничества с Нансеном, которое не прерывалось до самой его смерти».

Кредитов, отпущенных Нансену, было еще далеко не достаточно, а работу надо было начинать как можно скорее — хотя бы на те средства, что имелись. Экономить надо было вовсю. В первую очередь Нансен экономил на своих личных расходах. Мало того, что он работал совершенно бесплатно,— для него это само собой разумелось,— он снимал мансарды в самых дешевых отелях и ездил по Европе третьим классом. Тщетно старался Т. Лодж уговорить Нансена позволить себе немного больше комфорта и не утомляться так ради того, чтобы сэкономить несколько долларов на дело помощи.

Нельзя было начать работу, не договорившись с Советами, которые должны были доставить военнопленных к границе, и с Международным Красным крестом, который должен был начать работу в лагерях. Нансен пытался начать переговоры с Советским правительством, но его телеграммы, посланные через Лигу наций, даже не дошли до Москвы, а направленный им туда курьер не получил разрешения на въезд в страну. Тогда Нансен сел в поезд и отправился в Москву сам.

Исходя из старого опыта, Нансен считал, что переговоры всегда легче вести непосредственно с человеком, которого это дело касается, а поскольку в центре Европы еще оставалось 200 тысяч русских военнопленных, он счел это обстоятельство достаточным основанием для сотрудничества. Но советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин заявил, что Лига наций не получила признания Советского правительства, которое в свою очередь не признано западными державами, а потому он и не может вести переговоры с Лигой наций и с представителем этой Лиги.

Однако Чичерин согласился вести переговоры *лично* с Нансеном — не как с представителем Лиги наций, а как с уполномоченным отдельных правительств. В результате Нансену пришлось создать собственную организацию, под свою личную ответственность. Лига наций дала согласие на этот план, и Нансен совместно с Джоном Горвином, Томасом Доджем и другими совершил рекогносцировочную поездку по Европе через Австрию, Венгрию, Германию, Латвию, Литву и Эстонию. Закончилась эта поездка в Москве, где Нансен провел несколько дней. Нансен посещал руководящих политических деятелей этих стран, университетских профессоров, членов обществ Красного креста, промышленников и других и осведомлялся, как они относятся к его планам. «Прямота, с которой он излагал свое дело, действовала убеждающе,— пишет мне Джон Горвин.— Никто не сомневался, что его усилия оздоровить мир» основываются на чисто идеальных побуждениях и что он хорошо знал дело, о котором говорил».

На совещании в Каунасе под председательством Нансена при участии представителей германского, австрийского и Советского правительств, Красного креста и Ассоциации христианской молодежи была создана комиссия под названием «Нансеновская помощь». Сам Нансен говорил об этом так: «Присвоение организации моего имени объясняется тем, что многие, в том числе и русские, считали, что это облегчит нам работу в Советской России».

Штаб-квартира Нансеновской миссии находилась в Берлине, Возглавлял ее доктор фон Хентиг, а под его началом работала комиссия представителей: одного от Нансена, одного от Советской России, по одному от вспомогательных организаций. Управляющим делами был Т. Лодж. В контакте с Международным Красным крестом и другими организациями и при непосредственном участии Советского правительства «Нансеновской помощью» был послан в Сибирь поезд с медикаментами, продуктами питания и одеждой и организованы раздаточные пункты и карантин для медицинского освидетельствования и дезинфекции. Была предусмотрена и переброска пленных из дальних лагерей к железнодорожным станциям, а портовые города были подготовлены к приему и отправке пленных. Контроль за перемещением грузов оказался достаточно эффективным, и все они дошли до места назначения. Печать и табличка с именем Нансена служили «охранной грамотой», как говорили люди, занятые перевозкой грузов.

Нансен был восхищен работой Красного креста и с особым восторгом отзывался о докторе Эдуарде Фрике, возглавлявшем работу по сбору пленных, дезинфекции и раздаче еды и одежды. В портовом городе Нарве деятельную работу вел шведский Красный крест под началом принца Карла.

Отлично проявила себя германская организация по отправке на родину русских пленных из Центральной Европы, и Нансен не устал расхваливать работу ее руководителя доктора Шлезингера.

Кратчайшим путем для репатриации русских военнопленных и эвакуации пленных из Советской России было Балтийское море, но для этого нужны были суда, а их трудно было достать. Советы еще находились в состоянии войны с Польшей, а Англия, захватившая весь германский флот и не выпуская его из германских портов, соглашалась продать суда, но отказывалась предоставить их временно для транспортировки военнопленных. Шел обмен телеграммами. Нансен обещал, что после перевозок суда будут отремонтированы, но даже на таких условиях получил только два судна. Первые транспорты могли отправиться уже 19 мая, но нужны были еще суда.

Томас Лодж, финансовый консультант Нансена, поехал в Лондон уговаривать английское правительство дать еще двенадцать судов. Их отремонтировали в немецких портах, укомплектовали немецкими матросами и повели под немецким флагом.

В июле небольшой транспортный флот был отправлен в путь. С востока приходили поезда с военнопленными, а в Нарве и других портовых городах их пересаживали на суда, идущие в Свинемюнде, а оттуда отправляли по домам. Обратным рейсом суда возвращались с русскими пленными.

Нансен надеялся закончить обмен пленными до наступления зимы, но ему не хватило отпущенных на это кредитов и пожертвований. 2 августа 1920 года наркоминдел Чичерин получил из Берлина такую телеграмму:

«Следует считать с фактом, что до наступления зимы не удастся закончить эвакуацию всех пленных из России, Сибири и Туркестана. С Вашей стороны необходимо обеспечить всех остающихся, особенно больных и нетрудоспособных, соответственной помощью. Различные страны развернули подготовку в поддержку нашей организации для военнопленных. Насущно необходимо, чтобы централизованная помощь оказывалась с Вашего одобрения и при Вашем сотрудничестве. Я готов по поручению этих государств взять на себя руководство помощью в зимний период. Желательно иметь Вашего постоянного представителя в Берлине».

Полгода спустя после начала работы с военнопленными Нансен отчитывался о результатах своей деятельности перед первой сессией Ассамблеи Лиги наций. Около 200 тысяч пленных возвращено на родину. Можно было бы спасти гораздо больше, если бы со всех сторон не чинили

различных помех. Невывезенными оставалось еще больше половины, а для многих это будет означать верную смерть. Нансен закончил словами:

«Никогда в жизни мне не приходилось сталкиваться с такими безмерными страданиями, как здесь. Но страдания эти — лишь неизбежное следствие войны, которая с 1914 года все перевернула вверх дном. Совершенно правильно поступила Лига наций, что занялась такими вопросами, как возвращение военнопленных на родину. Но главное, чему меня научила эта работа,— убеждение, что основной задачей Лиги наций является предупреждение новой подобной катастрофы, несущей людям ужасные страдания».

Президент Международного Красного креста и представитель Швейцарии в Лиге наций Густав Адор в своем выступлении заверил, что Красный крест и впредь будет оказывать Нансену всяческую помощь в осуществлении поставленной им великой задачи. В России, в том числе в Сибири, осталось еще около 80 тысяч пленных. Многие из них потащились к восточному побережью Тихого океана, вместо того чтобы двигаться на запад, где они могли бы присоединиться к регулярным транспортам военнопленных. 10 тысяч из них скопилось во Владивостоке, и оттуда их придется везти круглым путем чуть ли не вокруг света. Нансену удалось организовать в Америке комитет, который совместно с Красным крестом собрал миллион долларов. На эти деньги он зафрахтовал несколько пароходов и, чтобы транспорт обошелся дешевле, отправил их во Владивосток с грузом, с тем чтобы обратным рейсом доставить в Европу военнопленных.

Немало пленных оставалось и на побережье Черного моря. Около 12 тысяч человек из 12 стран дожидались отправки в Одессе и в Новороссийске. Их доставили домой через Триест.

Но проблема военнопленных касалась не одной только России. На Балканах тоже скопились тысячи отчаявшихся людей. Целых два года спустя после перемирия Греция использовала 10 тысяч болгарских военнопленных в качестве дешевой рабочей силы в сельском хозяйстве. Греческое правительство уступило наконец настойчивым требованиям Нансена и согласилось отправить часть задержанных, но 800 человек были оставлены в качестве заложников за 500 греческих детей, нашедших себе новые дома в Болгарии. Однако многие из них настолько прижились в болгарских семьях, что не желали возвращаться домой. Пришлось создавать особые комиссии, чтобы заполучить этих ребят обратно. Оставалась еще Югославия<sup>[193]</sup>, которая соглашалась выдать 15 тысяч болгарских пленных, находившихся там, но на том условии, что взамен она получит некоторое количество угля. Нансен настойчиво разъяснял, что такая торговля человеческими жизнями непристойна.

Тысячи турецких пленных возвращались на родину из Владивостока после многолетнего плена. По дороге их перехватил греческий корабль. Турция в то время вела войну с Грецией, и греки интернировали захваченных турок. И снова пришлось вмешаться Нансену. Он разместил их на нейтральной территории на острове у берегов Италии. Некоторых скоро отпустили на свободу, а остальных ему удалось освободить только после переговоров с правительствами в Афинах и в Анкаре на том условии, что Турция не будет использовать их в войне против Греции.

Позднее, в 1922 году, Нансен за свой счет поехал в Константинополь и уладил обмен греческих и турецких военнопленных.

В сентябре 1921 года Нансен смог сообщить в Женеве, что 447 604 военнопленных из 26 различных стран возвращены на родину, причем расходы составили меньше фунта стерлингов на человека. Работа эта продолжалась 18 месяцев. А уже в середине 1922 года домой вернулись последние военнопленные.

В целом репатриация военнопленных, по выражению Томаса Лоджа, была выполнена с исключительным успехом. Лига наций благодарила Нансена и его помощников и высказала свою признательность за «беспримерно образцовое проведение возложенной на них задачи». Помощник Нансена Филип Ноэль-Бэйкер выразился так: «На всем Европейском континенте нет страны, где жены и матери не вспоминали бы этот подвиг Нансена со слезами благодарности».



## ХII. БОРЬБА С ГОЛОДОМ

Находясь с тесном домашнем кругу, отец редко говорил о своей работе в международных организациях. Но порою он вдруг замолкал и погружался в задумчивость. И тогда мы понимали, что опять ему не дают покоя какие-то новые проблемы.

Если же в такой момент кто-нибудь случайно заговаривал о политике,— а повод находился нередко — он немедленно приходил в себя. «Все они невероятно близоруки,— говаривал он иногда, подразумевая при этом правительства, имеющие своих представителей в Лиге наций.— Доиграются они со своей блокадой».

Однако же он не отрицал, что и Советы несут свою долю ответственности за напряженность, создавшуюся в отношениях между Востоком и Западом. Он прилагал все старания, чтобы понять коммунизм. «Мы не должны забывать, какие обстоятельства ему предшествовали. Переворот был неизбежен». Но форма правления вызывала у него недоуменное покачивание головой. Ему казалось, что все возвращается к старому, с той только разницей, что это старое перешло в новые руки.

Говоря о коммунизме в России, отец всегда помнил о той несправедливости, которая царила там в прошлом. Он был хорошо знаком с русской литературой. Какие же неизведанные силы должны дремать в народе, давшем миру таких гениев, как Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский! А формы правления временны и преходящи, говаривал мой отец, пожимая плечами. Этим он давал понять, что борьба Советов за восстановление своей разоренной страны — личное дело самих русских, в которое никто не должен вмешиваться. Это не наше дело, нас не касается. А вот что нас непосредственно касается, так это будущее Европы, а как же оно сложится, если Россия не станет частью Европы? Самой большой ошибкой, допущенной при заключении Версальского договора, он считал полное пренебрежение, выказанное Советам договаривающимися сторонами. А политика интервенции, проводимая западными державами после заключения мира, дорого им обойдется впоследствии, хотя поначалу и может повредить Советам.

Еще в 1919 году отец предвидел, что Россию постигнет ужасающий голод, если другие государства вовремя не окажут ей помощь. Он сам обратился к великим державам, но его не хотели слушать. Если бы вопрос был решен положительно тогда же, то это не только значительно ослабило бы последствия голода, но и во всей Европе сложилось бы совсем иное положение.

«Снятие экономической блокады, возобновление сношений между Россией и прочими странами на прочной экономической основе в то время, когда Россия имела еще достаточные запасы сырья, привело бы к восстановлению равновесия между производством и потреблением в Европе», — писал Нансен в своей работе «Россия и мир».

Воззвание Максима Горького о помощи ясно показало, что правительства Европы больше не имеют права закрывать глаза на происходящее. Семь лет войны — мировой и гражданской — нарушили коммуникации в стране так, что более благополучные ее области не могли помочь бедствующим районам. 17 миллионов человек и 2 миллиона лошадей были заняты на фронтах и таким образом изъяты из сельского хозяйства. Блокада отрезала всякий подвоз извне.

А тут еще настала засуха!

Богатейшие житницы Советов превратились в пустыни. Крым и причерноморские земли вплоть до Кавказа тоже были охвачены засухой. Пострадавшая от неурожая территория по величине вдвое превосходила Францию, а население неурожайных областей, по данным официальной статистики, составляло свыше 42 миллионов человек, из них 18 миллионов детей. Из 24 миллионов голодающих 16 миллионов было моложе 16 лет. Нужна была не только немедленная непосредственная помощь — предстояло еще прокормить эти миллионы в течение наступающей зимы, а к весне снабдить посевным материалом, тягловым скотом, тракторами и многим другим, чтобы избежать еще большей катастрофы.

В июле 1921 года Нансен по просьбе Максима Горького убедил норвежское правительство послать несколько сот тонн вяленой рыбы в одну из голодающих губерний. Но он отлично понимал, что этого мало. Удрученный тяжкими раздумьями, Нансен отправился на несколько дней в горы на

отдых. В то лето он почти завершил работу по репатриации военнопленных, но успел уже получить от Совета Лиги наций новое, не менее сложное поручение.

На этот раз надо было помочь русским эмигрантам: одним помочь вернуться на родину, другим дать право на жительство и трудоустройство где-то вне пределов родной страны. Он уже приступил к организации этого нового вида помощи и собирался в Женеву для участия в конференциях по этому поводу.

Отец находился в холле Пульхёгды, когда служанка принесла ему телеграмму от Международного Красного креста. Президент Густав Адор просил Нансена возглавить организацию общеевропейской помощи голодающим в Советской России.

Неудивительно, что у него, как говорится, в глазах потемнело. На нем и так уже лежала тяжкая ответственность за предыдущие поручения, и вот он стоит перед новым делом, столь грандиозным, что и подумать страшно. С телеграммой в руках он поспешил на горку к Эрику Вереншельду.

«Если я возьмусь и за это, то, значит, мне придется отказаться от своей собственной работы и от всего, ради чего я жил»,— сказал он дрогнувшим голосом. Но у Вереншельда нашелся для него только один ответ: «Насколько я тебя знаю, ты никогда себе не простишь, если откажешься от этого поручения».

Немедленно Нансен телеграфировал Адору о своей согласии. Это было 12 августа, а 15 числа в Женеве была созвана конференция из представителей правительств тринадцати государств и сорока восьми обществ Красного креста, которая утвердила Нансена верховным комиссаром новой организации по оказанию помощи России. Советское правительство пригласило его в Москву для обсуждения условий. Снова требовалось обсудить обоюдные обязательства. Советское правительство доверяло лично Нансену, и если он снова берется создать собственную организацию, независимую от Лиги наций, то стороны смогут прийти к соглашению.

Нансен немедленно выехал в Советскую Россию через Ригу. Здесь он встретился с Томасом Лоджем и с Джоном Горвином и еще с несколькими сотрудниками, которые осматривали лагеря в Эстонии и Латвии, где производился обмен военнопленными. Все вместе они отправились в Москву, и в Кремле немедленно начались переговоры.

Джон Горвин рассказывал мне, как отец своей прямоотой способствовал тому, что Литвинов и Чичерин согласились с его предложениями. И тут, как и в других подобных переговорах, он особо подчеркивал, что в таких делах необходим прежде всего человеческий подход. «Начало было положено хорошее,— говорил Горвин.— И это очень пригодилось нам впоследствии, когда мы приехали в голодающие районы Поволжья и Украины. Местные власти встречали Нансена радушно, и, куда бы мы ни приезжали, все были хорошо осведомлены о нем и о его заслугах. Выступал ли он с речами на больших и малых собраниях, присутствовал ли на оперных или балетных представлениях — всюду люди стоя приветствовали его как друга».

Это были очень трудные дни, рассказывал Горвин, и Нансен проявлял такую энергию и работоспособность, что мы едва поспевали за ним. Но по вечерам он давал себе разрядку и рассказывал о людях, с которыми встречался. Или же делился мыслями о различных проблемах, которые нам предстояло решить. И делал это вовсе не из желания блеснуть своим превосходством, а чтобы узнать, как мыотреагируем на эти мысли. Случалось нам и бывать в гостях. У отца было много друзей в Москве во всех кругах общества — и среди ученых, и среди деятелей искусства,— он любил потолковать с ними об искусстве, о театре и об актуальных вопросах. Особенно он любил встречаться со старыми довоенными друзьями и со всеми держал себя одинаково, независимо от того, какое они занимали положение.

По соглашению, заключенному в Москве, отцу было поручено стать посредником между европейскими правительствами и правительством Советов для получения кредита в 5 миллионов фунтов с целью оказания немедленной помощи и 5 миллионов на восстановление пострадавших районов — под контролем международной комиссии. Советы сразу же предоставили в распоряжение Нансена свою долю, но этого хватило только на то, чтобы начать работу.

Главное руководство Нансеновской миссии находилось в Женеве, в Берлине был ее филиал, с которым была непосредственно связана московская организация Международного комитета русской помощи. Комитет, размещенный в Москве и ведавший Россией и в том числе Поволжьем, имел еще филиал в Харькове, занимавшийся Украиной и Крымом. На берлинской конторе лежала обязанность доставлять грузы к советской границе, а там их принимали сотрудники Нансеновской миссии. Русская сторона обеспечивала дальнейшие перевозки, организовывала общественные столовые и ведала распределением продовольствия. Перед Лигой наций Нансен отвечал за соблюдение договора, заключенного между ним и Чичериным, перед Красным крестом — за доставку всех грузов до места их назначения. Перед Советским правительством Нансен отвечал за каждого сотрудника своей организации — они должны были воздерживаться от всякой политической деятельности и заниматься исключительно делом помощи. Он же нес личную ответственность и за то, чтобы никто из сотрудников не выезжал из Советов без его, Нансена, ведома.

Нансен гарантировал выполнение всех этих условий и обещал сделать все от него зависящее для того, чтобы Лига наций помогла в закупке зерна и других видов продовольствия и вообще оказывала экономическую поддержку. В один из последних дней августа 1921 года Нансен скрепил своей подписью заключенный в Москве договор, и тем самым Нансеновская миссия стала реальной действительностью.

По пути из Москвы в Западную Европу Нансен разослал телеграммы и условился о дальнейших совещаниях в Женеве и в Лондоне. Приходилось решать множество задач одновременно. **Еще** не была закончена репатриация военнопленных, как появились новые затруднения с беженцами, но самым неотложным делом стала теперь помощь голодающим в Советской России.

В Женеве Нансен отчитался о заключенном в Москве договоре и, обрисовав картину ужасов, которые он видел сам лично, представил проект оказания помощи. Но уже на первом заседании комитета он столкнулся с противодействием. Делегаты высказывали опасения, что Советское правительство может злоупотребить договором. Нет никакой гарантии, говорили они, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается. Нансен, конечно, предвидел возможность возникновения дебатов по выдвинутым вопросам и держал свои аргументы наготове:

«Больше года я сотрудничал с Советским правительством по делам военнопленных и могу сказать, что Советы соблюдали все условия договора, заключенного со мной и моей организацией. Когда встал вопрос о транспортировке, правительство обещало перевозить по 4000 пленных в неделю. *Я* тогда возразил: «Это невозможно. Вы не справитесь с таким количеством, вы же еще воюете с Польшей». Мне ответили: «Справимся!» — И справились.

Могу привести пример из своего опыта и относительно контроля за продовольствием и другими продуктами. Специально созданная для помощи пленным комиссия посылала одежду, обувь, белье и т. п. — то есть такие предметы, на продаже которых в Россия можно было нажить целое состояние, поскольку там их не было вовсе. И однако, ни одна вещь не пропала в пределах России.

Мы знаем, что миллионы людей находятся на грани голодной смерти. Мы знаем, что все необходимое для их спасения находится на расстоянии немногих километров. Мы знаем, что необходимо только одно: чтобы одна часть человечества оказала помощь другой ее части, страдающей в данное время».

Что же касается инсинуаций, будто помощь может не дойти по назначению, Нансен в заключение сказал: «Вас это не касается, господа. За это отвечаю я».

Нансену долго пришлось ожидать ответа. Тянулись дни, и с каждым часом таяла надежда на то, что помощь будет оказана своевременно. Наконец правительства заявили, что они не могут удовлетворить просьбу Нансена о предоставлении кредитов, И снова он выступил с трибуны Лиги наций — это было 30 сентября 1921 года.

**«Я сожалею, что собрание так отнеслось к поставленному здесь вопросу. Резолюция, предложенная мною на ваше рассмотрение, имела целью обеспечить содействие правительств**

большому международному мероприятию по спасению России от голода. Я не собирался, заручившись поддержкой собрания, еще раз взывать к частной благотворительности. По-моему, голод в России принял такие громадные размеры, что сам говорит за себя, и никакие слова этого собрания не могут усилить впечатления. Я обратился с призывом к *правительствам* и потерпел неудачу.

Позвольте мне в немногих словах напомнить Ассамблее о положении дел. В настоящий момент 29—30 миллионов находятся под угрозой голодной смерти. Если помощь не будет оказана в ближайшие два месяца считая от сегодняшнего дня, судьба их будет решена.

Мы просим не такую уж большую сумму, всего 5 миллионов фунтов. Мы полагаем — и даже вполне уверены, — что, получив ее, успеем к рождеству провести весьма значительную работу и тем спасем положение, если не целиком, то хотя бы в значительной степени. Правительства заявили, что не смогут дать нам заем. Правительства хотят взвалить всю ответственность на плечи частной благотворительности. Я не считаю это правильным. Мы, конечно, по-прежнему будем взывать к частной благотворительности. Мы уже положили начало этому и делаем все возможное в этом направлении. Но наша частная благотворительность весьма затрудняется и серьезно тормозится, травмируется той клеветой и сплетнями, которые подняты вокруг нашего дела. В ход пущены бесчисленные лживые измышления. Достаточно привести в пример одну историю, подхваченную газетами. Все вы, наверное, помните историю про первый посланный в Россию поезд с подарками, который якобы был разграблен Красной армией. Это была ложь, и тем не менее вымысел этот повторяется снова и снова в европейской прессе. Меня самого обвинили в том, будто я снарядил экспедицию в Сибирь и завез с ней туда оружие для революции. Это ложь, но я сам читал ее в газетах.

И много таких историй пущено в обращение. Ясно, что все они ведут свое начало от той или иной центральной агентуры, не знаю, от какой именно. Во всяком случае, они исходят от того или от тех, кто не желает, чтобы голодающей России была оказана помощь. И сдается мне, что я знаю, какие соображения являются подоплекой всей этой кампании. А именно: в случае удачи организованная мною помощь укрепит Советское правительство. Я думаю, что это ошибочно. Думаю, что мы не укрепим Советское правительство, если покажем русскому народу, что есть еще человеческие сердца в Европе. Но допустим даже, что этим мы укрепим Советское правительство. Найдется ли здесь, среди нашего собрания, хоть один человек, который посмеет сказать, что он скорее готов допустить гибель 20 миллионов человек от голодной смерти, нежели оказать помощь Советскому правительству? Пусть Ассамблея ответит на этот мой провокационный вопрос!

Я предлагаю оказывать помощь, не привнося в это дело никакой политики и по возможности избегая переговоров с какой бы *то* ни было политической партией. Но ни одной стране, а тем более России, нельзя оказать помощь, действуя вопреки правительству. Ближайшие несколько недель будут решающими. Чтобы надеяться на успех мероприятия, надо начинать действовать до истечения этого срока. Не думаю, чтобы Европа стала сидеть сложа руки все долгие зимние месяцы в ожидании, пока Россия погибнет от голода.

Положение таково: в Канаде нынче такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна втрое больше, чем необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США пшеница гниет у фермеров, которые не могут найти покупателей для излишков зерна. В Аргентине скопилось такое количество кукурузы, что ее некуда девать и ею уже начинают топить паровозы. Во всех портах Европы и Америки простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их загрузить. А между тем рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей.

Наше мероприятие можно осуществить не иначе, как с поддержкой Лиги. Пусть Лига наций придет нам на помощь, и давайте не будем лицемерить. Будем смотреть фактам в лицо, примем их такими, каковы они на самом деле. Правда ли, что в настоящий момент правительства никак не могут выделить 5 миллионов фунтов? Они не могут сообща набрать эту сумму, а ведь она составляет лишь половину того, во что обходится постройка одного боевого

корабля! Пища лежит в Америке, но некому ее взять. Неужели Европа может сидеть спокойно, ничего не предпринимая для того, чтобы доставить сюда пищу, которая нужна для спасения людей по сю сторону океана?

Я не верю этому. Я убежден, что народы Европы заставят свои правительства принять должное решение. Я уверен, что большинство правительств, представленных в этом зале, присоединится к небольшому числу тех, кто уже приступил к действию. Разрешите мне напомнить вам, что ряд правительств малых стран уже оказал нам помощь. Если остальные решатся пожертвовать хотя бы столько, во сколько обходится содержание полубатальона, то такая сумма наверняка бы нашлась. Неужели они не могут сделать и этого? Тогда пусть скажут об этом открыто, а не собирают комиссии и совещания. День за днем, месяц за месяцем ведутся споры, а люди тем временем умирают с голоду.

Мандат, полученный мною от конференции<sup>[194]</sup>, именем которой я действую, предлагает апеллировать к правительствам всего мира. И я буду настойчив. Я постараюсь сплотить народы Европы, чтобы они предотвратили жесточайшее испытание в истории. Предстоит страшное состязание — кто скорей. Мы должны опередить русскую зиму, которая медленно, но верно надвигается с севера. Скоро русские воды покроются льдом. Постарайтесь по-настоящему понять, что будет, когда русская зима настанет всерьез, и попытайтесь представить себе, что значит не иметь пищи в эти лютые холода. Население целого края бродит по опустошенной стране в поисках еды. Мужчины, женщины, дети тысячами гибнут в снегах России. Попытайтесь представить себе, что это значит! Если вы когда-нибудь испытали, что такое борьба с голодом, борьба с жуткой зимней стихией, тогда вы поймете, какими это грозит последствиями. Я уверен, что вы не сможете сидеть спокойно и хладнокровно отвечать, что вам де очень жаль, но что вы, к великому своему сожалению, ничем не можете помочь.

Во имя человечности, во имя всего святого и благородного взываю я к вам: ведь у вас дома жены и дети, так подумайте, каково видеть воочию гибель миллионов женщин и детей.

С этой трибуны я взываю о помощи к правительствам, к народам Европы, ко всему миру. Торопитесь действовать, потом будет поздно раскаиваться!»

Жуткая тишина наступила в зале после речи Нансена. Затем раздались такие бурные аплодисменты, каких еще не слышали стены этого зала. Но раздавались они с галереи. Внизу, в зале, где сидели делегаты, царила тишина.

«Среди делегатов только один решился принять вызов Нансена и открыто заявить, что он скорее готов допустить гибель миллионов голодающих, чем прийти на помощь Советскому правительству. Это был представитель Сербии,— писала газета «Манчестер Гардиан» в отчете о заседании.— Во время своего выступления доктор Нансен, вопреки враждебному настроению некоторой части делегатов, так завладел вниманием всего зала, как никто до него. Он был очень бледен и, по-видимому, с трудом сдерживал волнение. Когда он кончил, галерея разразилась бурными аплодисментами. На сей раз практик с горячим человеческим сердцем одержал победу над собранием, состоящим из теоретиков и скептиков».

Но нашелся-таки в Женеве один человек, готовый ломать копья в защиту Нансена,— а именно Роберт Сесил.

«Находятся люди, которые прозрачно намекают на то, что доктор Нансен руководствуется националистическими интересами, более того — соображениями личной выгоды. Поэтому будет уместно сейчас напомнить здесь о том, что Нансен руководит всей порученной ему работой совершенно безвозмездно. Кое-кто распространял слухи, будто Нансен замешан в каких-то тайных политических интригах. У нас, близко знающих Нансена, все это вызывает только презрение, да и по существу это абсурдно. Мы знаем, что тут не просто ложь, а ложь нелепая. Но это только свидетельствует о том, сколько горечи и ожесточения скопилось в Европе, если возможны *такие* высказывания о *таком* человеке!»



Выступление Роберта Сесила было принято Ассамблеей с полным сочувствием. Даже сербский делегат одумался и взял свои слова обратно. Но тем дело и ограничилось. Ибо даже лорд Сесил рассуждал так: раз правительства не признают Советов, то и Лига наций не может предоставить им кредит. Дальнейшее обсуждение вопроса было отложено до конференции, назначенной на 6 октября в Брюсселе. Там собрались делегаты от 12 стран и поставили свои условия: в Россию следует отправить специальную комиссию для контроля, кроме того, Советы должны признать долги царского правительства.

Год спустя, 7 сентября 1922 года, Нансен заявил Ассамблее Лиги наций, что Брюссельская конференция[195] стоила жизни минимум двум миллионам человек. И тут лорд Сесил его поддержал:

«Я от души сожалею, что Лига наций не вмешалась в прошлом году более энергично и решительно в вопрос о назревавшем в России голоде,— сказал он.— Если бы Лига наций поступила иначе, это открыло бы путь не только к возобновлению сношений с русским народом, но помогло бы избежать осложнений политического и экономического характера. Словом, всего, что затрудняет переговоры и мешает соглашению».

Нансен потерпел поражение от правительств Европы, зато он одержал победу, когда обратился к частной благотворительности. И он неукоснительно продолжал свою работу как на пользу русских беженцев в Европе и в Азии, так и в деле помощи голодающим в Советском государстве. Работа была налажена в 14 областях, а в Нансеновскую миссию было включено 32 общества помощи. Задачей Нансена было служить связующим звеном между Советским правительством и самостоятельно работающими организациями вспомоществования, в первую очередь с американской организацией[196] под руководством Герберта Гувера.

Нансену приходилось разрешать различные недоразумения, возникавшие между отдельными организациями. Он делал это хладнокровно, спокойно и никогда не сердился. Если недостаточную готовность к сотрудничеству проявляла русская сторона, Нансен иногда досадовал, но недолго. «Он сразу отправлялся с докладом к представителю Советского правительства или к другому русскому руководящему лицу и высказывал ему свое мнение»,— рассказывает Горвин. Если все шло как должно, он бывал радостно возбужден и заражал своим настроением других сотрудников и всю организацию.

Сотрудников Нансен подбирал весьма тщательно. Доверие, которое отец питал к своим сотрудникам, и та самостоятельность, которую он предоставлял им при выполнении различных заданий, действовали на всех воодушевляюще.

Главный его помощник Джон Горвин, представлявший миссию в Москве, приводил мне такой пример: когда он встретился с моим отцом в Женеве, а потом в Париже для получения инструкции перед поездкой в Москву, то «эти инструкции блистали отсутствием каких-либо подробностей». Нансен делал акцент на главном: организуйте силы, которые наилучшим образом смогут наладить помощь голодающим районам, и в особенности детям! Особое внимание обратите на распределение питания и лекарств, одежды и жилья. Пусть это будет первоочередной задачей Нансеновской миссии. Другой задачей было предупредить повторение голода — через улучшение методов землепользования, поднятие урожайности и увеличение поголовья скота, при непереносимом условии сотрудничества с крестьянами. Особое внимание Нансен уделял университетам, стараясь оказать им помощь продовольствием, одеждой, книгами и необходимым оборудованием.

«Коротко и ясно излагал Нансен свою программу действий,— говорил Джон Горвин,— и программа была вполне под стать своему автору».

Когда Нансеновская миссия приступила к работе, то ежедневно помощь оказывалась почти двум миллионам человек. Два курьера еженедельно ездили из нансеновского представительства в Москве в Ригу с отчетами распределительных пунктов. Из Риги отчеты направлялись в женеvский центр, а оттуда — в различные организации. Вся почта и телеграммы направлялись в Женеву, главному представителю Нансена вне пределов России — Эдуарду Фрику. Дела, ответственность за

которые он мог взять на себя лично, разрешались здесь, но тем не менее целый поток телеграмм, запросов и прошений изливался в адрес самого Нансена, и он отвечал на каждое обращение. Многим просителям он помогал лично, но запрещал им об этом рассказывать.

В общем и целом организация была так налажена, что работала, как говорится, без сучка без задоринки. Норвегия поставляла животные и рыбные жиры, а также ведала распределением «нансеновских посылок», составленных по особым спискам и содержавших особо питательные продукты и витамины. Шведы заботились о школах и школьных столовых, голландцы помогали в борьбе с крысами, которые стали сущим бедствием. В противоположность своему земляку из Лиги наций сербский профессор Георгиевич всей душой отдался делу Нансеновской миссии и проделал огромную работу по упорядочению перевозок продовольствия. Другие группы лиц заботились о госпиталях, о врачебной и санитарной помощи. Приходилось не только бороться с эпидемиями, надо было еще и лечить больных, ухаживать за ними, нередко с ложечки кормить истощенных детей и взрослых. Тысячи людей так и не удалось спасти, так как их организм уже не мог усваивать пищу.

Каждая группа несла ответственность за свою работу и самостоятельно решала все свои задачи. И никто никогда не злоупотреблял доверием Нансена.

Можно только удивляться тому, какую огромную работу проделали они, несмотря на весьма ограниченные средства. В Нансеновской миссии имелись порайонные списки, включавшие определенное количество людей, которым могла быть оказана помощь на протяжении определенного отрезка времени, и, как это ни было прискорбно, Нансену приходилось строго придерживаться установленных норм в пределах указанных районов. Так, когда голодающие киргизы обратились через Москву с мольбой о помощи, он был вынужден ответить отказом:

«Мы отвечаем перед жертвователями за то, как тратятся их деньги. Мы должны стараться выполнять нашу работу как можно лучше и помогать там, где возможно, но не должны браться за то, но нам не по силам. И мы не можем работать там, где нет нашей организации. Мы не станем расширять свою деятельность, если это отрицательно скажется на качестве работы. Поэтому я предлагаю Советскому правительству помочь киргизам своими силами, мы будем продолжать работу по месту нахождения наших организаций и постараемся выполнить ее так хорошо, как это нам позволят наши ограниченные средства».

Нансен сам много ездил по Советской стране и поддерживал постоянный контакт со своими людьми, с другими организациями и с советскими властями. Он не боялся свирепствовавших тогда страшных болезней — сыпного тифа, холеры, малярии, чумы.

Сыпной тиф, особенно опасный для европейцев, передается через вшей. Поэтому Нансен советовал своим людям носить одежду из гладких тканей, за которые насекомым невозможно зацепиться, и с минимальным количеством отверстий. Он предписывал соблюдать строжайшую гигиену и почаще употреблять дезинфицирующие средства. Но не так-то легко было неукоснительно соблюдать все меры предосторожности, и 10 из 60 его сотрудников умерли от сыпного тифа. Сам он педантично соблюдал все предписания. Один врач, возвращавшийся с ним в одном купе, и медсестра, ехавшая в том же вагоне, были не так осторожны, и оба умерли.

В конце января 1922 года Нансен предпринял лекционную поездку по Европе и США, и хотя правительства оставались глухи, когда он взывал к ним о помощи, он на деле убедился, что любовь к ближнему еще живет в людях. Он начал поездку с Лондона, где выступал в Куинс-холле. Четыре тысячи человек собрались в самом здании и столько же толпились за его дверьми. Выступил он с докладами в восьми — десяти других городах Англии и Шотландии, и повсюду стекалось столько народу, что приходилось устраивать повторные выступления.

В Париже он выступал перед двумя тысячами слушателей в Трокадеро на устроенном «Лигой в защиту прав человека» собрании, которое проходило под председательством Фердинанда Вюиссона. Несмотря на присутствие в зале представителей влиятельных антисоветски настроенных кругов, Нансен был восторженно принят публикой.

Из Парижа Нансен поехал в Гаагу, Берлин и Стокгольм. Попав в аварию, он уже не смог побывать в Копенгагене, но заранее подготовленная им речь была опубликована в газете

«Политикен»<sup>[197]</sup>. В Стокгольме он выступил в церкви на Блазиехольме. Нансен, по отзыву одного из тогдашних его слушателей, избегал громких слов, но диапозитивы, привезенные им из России, говорили сами за себя. Заканчивая доклад, Нансен то и дело глядел на часы — через несколько минут отправлялся поезд, и у выхода уже дожидался автомобиль. Перед отъездом Нансен выкрикнул последний призыв: «Я сказал свое слово здесь и буду повторять этоснова и снова. Никогда не забыть мне смертную тоску в глазах русских детей. Спасите Россию!»

В Христиании Нансен сначала выступил с докладом в «Миссионсхус» на улице Кальмейера, а потом в Студенческом обществе. Но даже в Норвегии, где ему оказывали такую щедрую поддержку, Нансену приходилось наталкиваться на недовольство. Чтобы помешать сбору средств на дело помощи, одна газета в Осло открыла кампанию сбора на «помощь рыбакам северной Норвегии». «Конечно, интернациональная деятельность Нансена весьма похвальна,— писала газета,— но нельзя посылать помощь в просторы русских степей, минуя двери собственного дома». Газета считала, что эту задачу можно предоставить странам побогаче. Кроме того, уже доказано, что Нансеновская миссия не может проконтролировать надежность доставки грузов куда следует.

Из северной Норвегии пришли в ответ гневные протесты. Никто не спорит, что рыбакам нужно помочь, но авторы писем возмущались теми, кто, сыграв на их беде, хотел помешать Нансену, который борется с куда более тяжким бедствием, беспрецедентным в Европе. Около 2 миллионов крон было послано норвежским рыбакам, и когда их нужды были удовлетворены, оставшаяся сумма в несколько тысяч крон была передана в распоряжение «Русской помощи».

Среди множества недоброжелателей, пытавшихся помешать отцу в деле помощи голодающим, особенно усердствовали некоторые круги русской эмиграции. Та самая «центральная агентура», о которой говорил отец в своей речи в Лиге наций в сентябре 1921 года, находилась в Париже, и ряд газетных статей, опубликованных агентурой, был перепечатан в норвежской прессе. Однажды, в 1922 году, мы с отцом ехали в поезде, он читал газету. Вдруг я заметила, что лицо его омрачилось. Я взяла эту газету и нашла там статью, полную клеветнических выпадов против Нансеновской миссии.

«Какая подлость!»— вырвалось у меня. Отец пожал плечами. «Это заблуждающиеся люди,— сказал он.— Не забывай, что, им тоже тяжело приходится. До известной степени я их понимаю. Они ведь живут надеждой вновь обрести свое отечество. Но они ошибаются, полагая, что вернуть его можно таким путем».

Да, они ошибались. Но и вред они приносили тоже. Мне было обидно за отца. С одной стороны, все эти «заблуждающиеся», ненавистники Советов, с другой — правительства, которые попросили его помощи, а сами ограничились одной лишь болтовней. Я тогда только что вернулась из Америки после почти, четырехлетней разлуки с отцом. И хотя я старалась следить за всеми событиями по газетам, многое все же ускользнуло от моего внимания, в чем я все более убеждалась. Все эти годы, самые решающие в деятельности моего отца, я узнавала о нем только из писем. Он писал очень ласковые письма и неизменно звал меня домой. Последнее время я жила надеждой свидеться с ним в Америке, поскольку он собирался приехать туда, чтобы выступить с докладом о голоде. Сам он ничего об этом не писал, но другие намекали, что такая поездка планировалась.

Отец собрался в Америку лишь много спустя после моего возвращения на родину, так что и за этой его поездкой я могла наблюдать только издалека. Заокеанские друзья сообщали мне, что на всех его выступлениях зал бывал переполнен (а происходили они в самых больших помещениях) и что его доклад неизменно потрясал слушателей. Мои корреспонденты писали, что лишь теперь они действительно поняли, каково положение в России. «Мне казалось, что я-то уж знаю, каково бороться с зимой,— говорил отец.— Но тяжесть борьбы, идущей в Восточной России, превзошла все мои ожидания, все самые смелые предположения. Я заранее готов был увидеть страдания, смерть и человеческое горе. Но я не предполагал, что увижу целые селения и даже целые провинции, где все только и живут в ожидании смерти-избавительницы. Я не был подготовлен к тому, что увижу мужчин и женщин, которые доведены голодом и страданиями до самых черных деяний. То, что мы видели, описать невозможно...

...Пять недель прошло с тех пор, как я в приволжских степях видел обращенные ко мне огромные умоляющие глаза детей. Ради них и во имя милосердия обращаюсь я теперь к вам, к общественности, а через вас к правительствам. Давайте начнем действовать! Не то будет поздно!»

Так он взывал к людям — и был услышан. Отношение правительств к Советам, конечно, не переменилось, и воззвание Нансена Лиге наций не подвинуло дела, хотя несколько государств, входивших в Лигу наций, и оказали некоторую помощь. Однако общественное мнение пробудилось и вылилось в резолюции и воззвания, обращенные к правительствам, к различным учреждениям и простым людям. Пожалуй, мир никогда еще не видел такого горячего стремления оказать помощь. От частных лиц и от организаций стекались посылки с подарками и крупные денежные уммы. Один англичанин, друг Нансена, майор Дэйвис дал 5 тысяч фунтов. Норвежские судовладельцы пожертвовали около 10 тысяч крон каждый, два квакера отдали все свое состояние — 23 тысячи фунтов. Газеты «Политикен» и «Дагенс Нюхетер» прислали 8300 крон, а община Берум (по месту жительства Нансена) собрала 5 тысяч крон.

Не всегда представители имущих классов дают больше других. Часто как раз беднейшие жертвуют свои последние гроши. Один рабочий из Монтевидео прислал все свои сбережения — 12 тысяч песо, один французский поэт — 48 тысяч франков, а одна 18-летняя девушка — содержимое своей копилки: 341 доллар. Квартирный хозяин и друг Нансена его студенческих лет, пастор Хольт из Бергена, теперь одинокий старик, собрал 372 кроны. Нансен тепло благодарил их всех, а Вильгельму Хольту он писал:

«Не нахожу слов, чтобы отблагодарить тебя и всех жертвователей, которым я признателен от всей души за их ценный дар. Даже неловко принимать такие суммы от бедных больных стариков, которым и самим пригодились бы эти деньги. Это доказывает их любовь к ближнему и великодушие их сердец, освещающее мрак окружающей нас действительности.

Дорогой, поблагодари всех, кто старается облегчить ужасное бедствие, и скажи им, что мы сделаем все возможное, чтобы с пользой истратить их деньги. Получая такие дары, мы чувствуем себя вдвойне обязанными. Передай, если можешь, особую благодарность тому прокаженному из больницы св. Йоргена, который дал 50 крон,— небось, это было все его достояние. Скажи ему, что такое самопожертвование возвышает душу. Передай спасибо и той 90-летней женщине, что прислала 2 кроны».

Нансен гордился тем, что Норвегия со своим малочисленным населением больше всех дала для борьбы с голодом в России. Уже в 1919 году был основан комитет по борьбе с голодом, куда вошли представители норвежского Красного креста, Благотворительного общества и Сельскохозяйственного союза; председателем его стал адвокат Оге Шоу. В 1922 году этот комитет собрал 875 444 кроны. Норвежские рабочие собрали 300 тысяч крон, Союз норвежских священников — 60 355 крон, студенты — 375 тысяч крон, не считая прочих пожертвований. Всего было собрано 3 миллиона 225 295 крон. Норвежское государство добавило 770 тысяч крон и предоставило кредит на 585 тысяч крон. Было отправлено несколько тысяч «нансеновских посылок», а государственные железные дороги предоставили 50 процентов скидки на необходимые перевозки. Шведское общество Красного креста собрало большие суммы, а «Промышленная организация помощи» выделила товары стоимостью в несколько сот тысяч крон. Через датское общество Красного креста поступило 723 109 крон, из них 126 тысяч от газеты «Политикен» и 100 тысяч из государственных средств. Английские организации сообща внесли 472 тысячи фунтов. Многочисленные отдельные жертвователи внесли крупные суммы денег, а газета «Манчестер Гардиан», редактором которой был друг Нансена доктор Скотт, прислала 20 тысяч фунтов. США взяли на свое обеспечение 2,5 миллиона детей, шведский Красный крест — 100 тысяч человек, квакеры — свыше 350 тысяч детей, Нидерланды послали 4000 тонн продовольствия и медикаментов, Франция — 6 миллионов франков, итальянские социалисты — 2,5 миллиона лир, папа римский — 1 миллион лир.

Организация АРА собрала 60 миллионов долларов, из которых 20 дало правительство с условием, что Советское правительство в свою очередь прибавит к ним 10 миллионов. Советы сами взяли на государственное обеспечение свыше 2 миллионов человек, выплатили наличными 150

миллионов рублей золотом и поставили 600 тысяч тонн семенного материала. Еврейские общины собрали 500 тысяч долларов на покупку медикаментов, а сама Нансеновская миссия собрала сумму в 40 миллионов швейцарских франков. Квакеры, которые активно помогали голодающим России задолго до АРА и Нансеновской миссии, оборудовали 900 пунктов в 280 деревнях.

Работа по оказанию помощи оказалась гораздо сложнее и обширнее, чем ожидали, особенно из-за того, что Нансеновская миссия не получила своевременно кредитов от правительств. Учитывая невероятные размеры бедствия, можно сказать, что результаты были достигнуты очень большие. Отец далеко не всегда мог рассказывать о том, что ему приходилось наблюдать, иногда он просто не был в состоянии дать волю этим тягостным воспоминаниям. Но случалось, что они прорывались сами собой: тысячи людей, бредущих в поисках пищи вдоль железнодорожных путей, по проселочным дорогам, и всюду одно зрелище — покойники и умирающие.

А дети? Ах, дети!.. Это было страшнее всего. Повсюду он видел оборванных, беспомощных малышей. Иные совсем раздетые, настоящие скелеты со вздутыми животами и старческими личиками... И эти огромные молящие детские глаза. День и ночь видел отец перед собой эти детские глаза, они, казалось ему, преследовали, обвиняли его.

Нансен вел работу с дальним прицелом, стараясь добиться по возможности прочных результатов. Первым долгом надо было утолить голод и остановить эпидемии — этот вид помощи в России так и называли «Помгол». Затем миссия начала борьбу с последствиями голода и болезней; русские называли этот участок работы «Последгол», в его задачи входило обезопасить народ от повторения катастрофы и неурожая в следующем году, насколько это будет в силах человеческих.

Чтобы разрешить эту задачу, надо было достать машины, тракторы, орудия, лошадей и семенной материал, а также материалы для восстановления жилищ и мастерских в разоренных районах. Предполагалось, что крестьяне сами расплатятся за эту помощь из первого нормального урожая. Работа «Последгола» продолжалась и по окончании первого года. В 1923 году Нансен учредил — частично на свои личные средства (в этом году ему была присуждена Нобелевская премия мира), частично на дотации германских, французских и шведских фирм и при поддержке отдельных правительств — две сельскохозяйственные станции на коллективных началах на Украине и в Поволжье. Эти крупные хозяйства должны были, по мысли. Нансена, служить примером более рационального способа производства, благодаря которому Советская Россия в будущем смогла бы экспортировать зерно, что, впрочем, было важно и для других бедных зерном стран. Это был эксперимент, и если в первый год хозяйства не дали прибыли, то не по вине руководства, а из-за стечения различных неблагоприятных обстоятельств, которых никто не мог предвидеть. Позднее, в 1927 году, заботу об этих образцовых хозяйствах взяла на себя Советская власть, представители которой выразили Нансену благодарность за их учреждение и за достигнутые экономические результаты.

Важное место в намеченной программе действий занимала помощь школам и университетам. Этим делом занимались специально созданные организации: «Европейская помощь студентам» («European Student Relief») и «Нансеновская помощь, работникам интеллектуального труда» («Nansen's Intellectual Relief»). У них были свои представительства в ряде городов — в Харькове, в Симферополе, в Петрограде и в городах Поволжья. В Москве, кроме главного представительства Нансеновской помощи для всего Советского государства, была отдельная организация для этого вида помощи. Теперешний шведский посол в Москве Рольф Сульман возглавлял Симферопольское отделение. Подчиненные ему секретари, женский персонал конторы и люди, обслуживавшие транспорт, были русскими. Секретарем был один из внуков Льва Толстого. При наборе персонала особую трудность представляло незнание русскими иностранных языков. В Нансеновской миссии официальным языком был английский, а им владели большей частью представители бывшего высшего класса. Задача состояла в том, чтобы помочь студентам питанием, одеждой и учебниками. Профессора, кроме пайков, получали разные виды технической и научной помощи. Лаборатории и госпитали снабжались специальной литературой, инструментарием и другим оборудованием. Не менее важным было и то, что университетам помогли завязать контакты с западноевропейской



наукой. Нансен был убежден, что будущее любой страны зависит от развития науки, а потому считал обязательным создать такие условия, в которых русская наука могла бы развиваться, и обеспечить ей связи с заграничными учеными.

Доктор Хермод Ланнунг, который с 1922 года представлял нансеновскую помощь интеллигенции на юге России с местом пребывания в Харькове (а с мая 1923 по 1924 год руководил этой работой во всей России и проживал в Москве), рассказывал, что представительство Нансеновской миссии походило на посольство, а сам Нансен скорее являл собою целую державу, чем просто частное лицо. Помощники Нансена пользовались тогда особыми дипломатическими правами, а в некоторых отношениях были даже на более привилегированном положении, чем дипломаты. На похоронах Ленина в 1924 году доктор Ланнунг на правах представителя Нансена шел непосредственно за гробом от вокзала до Дворца Союзов.

Я спросила доктора Ланнунга, почему к другим организациям, например АРА, русские относились хуже, чем к Нансеновской миссии.<sup>[198]</sup>

«Дело в том, что русские несколько стыдятся необходимости принимать помощь,— ответил он,— в особенности от американцев. Вполне понятно, что Советской власти неприятно уже одно то обстоятельство, что нужда заставляет прибегать к помощи».

Сам Нансен ни разу не замечал, чтобы эта помощь кого-то подавляла, вызывала чувство стыда. Наоборот, его всюду чествовали и не скупились на выражение благодарности. Всякий раз, когда он приезжал в Россию, ему устраивали торжественную встречу, хотя обычно русские встречали иностранных гостей весьма сдержанно. «Помощь голодающим никогда бы не могла быть реализована, не будь присущих Нансену энергии, мужества и настойчивости, которые победили жестокосердие капиталистического мира»,— было напечатано в одной газете. Нансен всегда отвечал, что не надо примешивать в дело помощи политику. Никто не мог, по зрелом размышлении, заподозрить, что его работа на пользу голодающих крестьян или бездомных детей имеет политическую подоплеку.

Надо сказать, что простые крестьяне воспринимали все совершенно правильно и видели в Нансене прямо-таки своего спасителя. Студенты и интеллигенция понимали его старания помочь молодежи и создать лучшие условия для науки, а дети попросту любили его.

Миссия Нансена учредила много детских домов, и все они носили его имя: «Детский дом имени Нансена». Это было очень нужным делом: по деревням и городам бродили тысячи бездомных мальчиков и девочек, изнуренных болезнями и голодом. Многие из них до того одичали, что превратились в преступников — как это было и во многих других странах после войны.

«Где ты ночуешь?»— спросил однажды у одного мальчугана доктор Ланнунг, знавший русский язык. «Там, где сухо»,— ответил тот. Но не всегда удавалось найти сухое место для ночлега, а еще труднее было найти еду.

Нансен сотрудничал с английским обществом «Спасите, детей!» («Save the Children») и с подобными учреждениями других стран: с квакерами<sup>[199]</sup>, которые под руководством Рут Фрай проделали огромную работу с детьми, с обществами Красного креста. АРА и шведский Красный крест в Самаре открыли тысячи столовых, где дети могли каждый день получать обед. Миллионы жизней были спасены. И в разгар этой работы Нансен успевал подумать о будущем.

«Совершенно очевидно, что такой способ действий скорее напоминает стратегический маневр, используемый во время битвы, чем регулярную помощь,— говорил Нансен.— Такая помощь очень полезна во время голода, но она легко может приучить людей к нищенству, если продолжать оказывать ее в местностях, где голод уже пошел на убыль».

Помогать русским организациям надо было до тех пор, пока Советы смогут взять это дело на себя. А средства неуклонно убывали. Воззвания Нансена к правительствам через Лигу наций о предоставлении международного займа были снова отклонены, а помощи частных лиц было недостаточно для поддержания всех этих несчастных детей. Многие из тех, кто мог бы быть спасен, были обречены. Не хватало и больниц, и медицинской помощи — многие заразные болезни, особенно сыпной тиф, находили благоприятную почву.

Лишь 21 июля 1922 года Лига наций согласилась наконец поставить на обсуждение предложение Нансена и норвежского правительства о снаряжении особой комиссии для изучения этого вопроса:

«Совет вынес решение о том, чтобы секретариат собрал сведения о России. Если окажется, что учреждение такой комиссии, составленной из опытных экспертов, необходимо, то она будет немедленно избрана».

В августе Совет Лиги предложил всем входящим в Лигу правительствам представить данные о положении в России, а еще через 6 месяцев, 29 января 1923 года, на заседании в Париже было принято решение: комиссию не посылать, а секретариату продолжить сбор сведений. К этому времени эпидемии уже унесли столько человеческих жизней, что инфекция перестала угрожать Европе...

Принимая во внимание те средства, какие были в распоряжении обществ Красного креста, они провели огромную работу. Среди прочих особо выделялось шведское общество под началом принца Карла и под руководством советника посольства Эрика Э. Экстранда. Шведский Красный крест, работавший в Самарской губернии — самой неблагополучной по голоду, — показал на своем примере, что может сделать даже одна страна.

Если говорить о медицинских сестрах, которые, рискуя жизнью, тихо и незаметно делали свое дело, взяв на себя нечеловеческую нагрузку, необходимо особо отметить три имени: Эльса Брандстрем, Карин Линдског и Лена Тидеман. Последняя, датчанка родом, позднее вышедшая замуж за норвежца, много рассказывала мне о своей работе во время голода в России. Она давала мне читать отчет, который она в январе 1923 года послала на родину, в датское общество Красного креста, и который рисует обстановку в Харькове:

«Я тут одна, зато, можно сказать без преувеличения, великая сила — делегат датского Красного креста в России и официальный представитель Нансена для всей Украины. Пока все идет хорошо благодаря г. Эйбю, хорошему организатору, который все прекрасно наладил. Потоком идут к нам телеграммы, письма, отчеты и запросы — видно, что организация живет полной жизнью. Сюда часто приезжают и делегаты, и курьеры, и нам достается от них много работы.

Кроме выполнения своих прямых обязанностей, мне приходится еще заменять д-ра Ланнунга, который вот уже 6 недель как в отъезде. Когда удастся оставить контору на полчаса, я бегу навестить две студенческие столовые. Каждая отпускает по 1000 обедов в день. Надо снять пробу и вообще присмотреть за порядком. Вечером по вторникам здесь бывают заседания правления, и часто случаются забавные эпизоды. Русские любят поговорить.

Сербы прислали 377 тонн продуктов питания для Южной Украины. Их привезли на пароходе в Одессу и уже распределили — 50 процентов из них пошло в Запорожье, где, как и в Херсоне, очень голодно. У евреев есть свои организации, и они получают много посылок.

В настоящее время здесь надо уладить много важных дел. Москва просит нас прислать списки нуждающихся врачей, их вдов и семей здесь, на Украине. Желательно также получить письма от врачей об их работе и неотложных нуждах. Списки и письма пойдут в Женеву, где идут сборы в пользу врачей, а также и профессоров всех факультетов. Русские врачи и профессора люди очень гордые и не желают просить материальной помощи, хотя и признаются, что нуждаются во всем. О, если бы вы видели, как они живут и что едят! Но все они в один голос просят заграничных научных книг и журналов.

...Из Москвы мы получили в свое распоряжение 600 нансеновских посылок для железнодорожных служащих Харькова. Это было сущим благодеянием для них. Посылочное отделение помещается у нас тут, и мне довелось видеть нескольких получателей, явившихся за своими посылками. Одна молодая девушка в лохмотьях, но с сияющим лицом взбежала по лестнице. «Это у вас получают посылки?» — спросила она у меня. «Да, у нас». — «О, как мы рады! Спасибо!» Другие приходили усталые и бледные, со скорбными изголодавшимися

лицами, и в таких одеяниях, что и пером не опишешь. «А жиры тут есть?»— осведомлялись они, принимая ящики, и, получив утвердительный ответ, расцветали улыбками, а иные крестились.»

Фру Тидеман-Ватне сохранила экстренный номер газеты, выпущенной как-то в Харькове по случаю приезда моего отца. У меня есть кое-что в переводе:

«Сегодня предполагается встреча сотрудников «Центрального комитета по борьбе с голодом» с великим другом голодающих рабочих и крестьян Советской республики Фритьофом Нансеном. Не в первый раз страждущие массы приветствуют этого мужественного и энергичного человека, великого ученого и гуманиста. Мы приветствуем профессора Нансена от имени рабочих и трудового крестьянства не только в знак признательности за крупную материальную помощь, оказанную нам организацией, носящей его имя, но прежде всего воздавая дань восхищения Нансену за то, что он разоблачил ложь и лицемерие буржуазного мира, за то, что он протянул руку помощи Советским республикам. На сей раз Фритьоф Нансен приехал к нам в тот момент, когда борьба с голодом вступает в новую фазу, когда важно не только спасать жизнь голодающих, но и позаботиться о восстановлении экономики страны. Он прибыл к нам с планами, как организовать деятельность по обновлению страны и как совместными усилиями окончательно изжить голод со всеми его последствиями.

Трудящиеся массы еще раз приносят свою сердечную благодарность и навсегда сохраняют чувство глубочайшего к нему уважения за его громадную беззаветную работу. Привет другу пострадавших рабочих и крестьян Фритьофу Нансену! Да здравствует окончательная победа над голодом и его последствиями!»

Приезд Нансена в Харьков был встречен с большой радостью как населением, так и сотрудниками его миссии. На вокзале состоялась торжественная встреча при участии представителей правительства и администрации, а также членов Нансеновской миссии. Переговоры были отложены на другой день, а вечером был устроен обед в честь Нансена, на котором Лена Тидеман была почетной хозяйкой, после чего все приглашенные отправились в оперу. Режиссер спектакля и все его участники вышли перед поднятием занавеса на сцену приветствовать Нансена:

«Мы переживаем торжественный час — великий человек, гуманист Фритьоф Нансен сегодня вечером с нами!»

Все зрители аплодировали стоя, и Нансену пришлось произнести со сцены небольшую речь.

И снова публика встала и разразилась нескончаемыми аплодисментами.

На другой день состоялась конференция в ряде министерств и учреждений, а потом завтрак в украинском обществе Красного креста, где Нансена избрали почетным членом Общества. Отсюда отправились в студенческие столовые, а потом Нансен посетил детский дом своего имени. Здесь воспитывались 85 сирот в возрасте от четырех до пятнадцати лет, подобранных на улицах и проселочных дорогах, но благодаря хорошему уходу все они выглядели здоровыми и довольными. Они пели и исполняли национальные танцы, ставили живые картины. Одна девочка написала Нансену стихи и прочла их по-русски. Кончались они так;

Привет тебе, великий Нансен,  
От маленьких твоих друзей!  
Не забывай, великий Нансен,  
Счастливых, радостных детей.

В 1922 году урожай был во многих местах хороший. В Симбирске на Волге, где был хороший урожай, миссия помощи смогла свернуть свою работу в сентябре 1922 года.

«Было почти жалко, что я никогда больше не увижу грандиозной панорамы Волги с симбирских высот»,— пишет Лена Тидеман.

Но из многих концов страны шли неутешительные известия. Русские не смогли справиться самостоятельно с голодом на Украине, в Крыму и в некоторых районах Поволжья. Не оправдались надежды на то, что нынешний урожай покончит с голодом, и на совещании, созванном Нансеновской миссией в ноябре, было постановлено еще год продолжать работу. Для отца это означало целый ряд новых докладов и новые воззвания к Лиге наций. Его сотрудники продолжали совместную работу с ним.

В июле 1923 года Нансену торжественно был вручен благодарственный адрес от Советов, опубликованный в «Известиях»:

«Совет Народных Комиссаров заявляет:

Когда обширные области РСФСР, измученные интервенцией и блокадой, испытывали неслыханные бедствия голода, большинство европейских правительств проявили полное равнодушие к страданиям миллионов голодающих крестьян в Советских республиках. И когда вновь организованная Лига наций тоже не сочла нужным помочь голодающим Советских республик, причем пришлось вести также и борьбу с противниками этой помощи, организация, созданная доктором Нансеном, спасла несметные массы от верной гибели и облегчила муки голода для населения многих районов, пострадавших от неурожая.

Щедрая помощь, оказанная д-ром Нансеном голодающим Советских республик, никогда не изгладится из памяти населения Советских Союзных Республик. В настоящий момент, когда помощь эта заканчивается, ибо миновал кризис, вызвавший голод, Совет Народных Комиссаров считает своим долгом официально выразить свою глубокую признательность д-ру Нансену, его помощникам и всем членам его организации.

Москва, Кремль, 10 июля 1923 года».

Эмиль Людвиг в своей книге «Вожди Европы» пишет: «Какое значение имел Нансен для русского народа, мне сказал взгляд старой крестьянки, когда я посетил однажды Нижнее Поволжье спустя три года после пребывания Нансена в России. Когда я назвал его имя, она перекрестилась и спросила, широко раскрыв глаза, знал ли я его. Потом коснулась рукой моей груди, словно желая передать благословение своему спасителю».

### ХІІІ. НАНСЕНОВСКИЙ ПАСПОРТ [200]

В 1954 году на рождественском книжном базаре в Лиллехаммере я выступила с чтением отрывка из моей первой книги, «Ева и Фритьоф Нансен». У выхода ко мне подошла супружеская чета.

«Нам очень хотелось повидаться с дочерью Фритьофа Нансена,— сказали они.— Мы русские эмигранты и всегда вспоминаем вашего отца как своего спасителя. Сегодня нам вдруг показалось, что он здесь, рядом».

Жизнь этих людей была спасена благодаря нансеновскому паспорту, благодаря ему они смогли устроиться в Норвегии. Жена стала школьным зубным врачом, муж — переводчиком.

Я от очень многих людей слышала, что нансеновский паспорт спас им жизнь. Их истории были трагичны, полны несчастий, а нансеновский паспорт давал им надежду на будущее, давал возможность вырваться из беспросветного существования. Поэтому я считаю нансеновский паспорт самым замечательным документом в жизни моего отца.

После русской революции, а главным образом после ряда контрреволюционных выступлений белых армий, которые неизменно терпели поражение, 2 миллиона русских эмигрантов рассеялись по Европе и Азии. Страны, в которых они искали пристанища, сами были истощены, с трудом удовлетворяли нужды собственного населения и никак не могли помочь этому потоку незваных гостей. Со всех сторон неслись вопли о помощи. Международная организация Красного креста во главе с Густавом Адором, Американская организация помощи, возглавлявшаяся Гербертом Гувером,

квакеры, еврейские общины и многие другие организации собирали крупные суммы денег и оказывали помощь сотням нуждающихся. Но они не в силах были решить основную задачу — дать право на жительство, найти работу, обеспечить будущее толпам эмигрантов. Создалась опасность, что эмигранты станут социальным и политическим бичом Европы.

В феврале 1921 года эти организации обратились в Лигу наций с просьбой специально назначить для разрешения этой проблемы верховного комиссара, наделенного необходимыми полномочиями, ибо лишь таким путем можно успешно завершить дело помощи. В июне Совет Лиги наций поставил этот вопрос на обсуждение, через два месяца Нансену предложили заняться проблемой беженцев. Нансен откликнулся на это предложение немедленным согласием. Работа началась в сентябре 1921 года, и занимался он ею до конца своих дней.

Первым долгом он созвал в Женеве конгресс, на котором были представлены все заинтересованные организации. Предстояло создать из них единую организацию, чтобы избежать излишних трений и распыления сил и направить всю работу в одно общее русло, к достижению одной общей цели. Затем он добился назначения представителей от правительств 16 стран. Они во всякое время могли совещаться с представителями самого Нансена, и таким образом были созданы рамки, в пределах которых организация помощи могла развернуть свою деятельность по всему земному шару.

Даже собрать сведения о беженцах в различных странах и подсчитать их количество оказалось весьма трудно выполнимым делом. Одни государства строжайше требовали не допускать в свои пределы ни одного русского. Другие издали декрет о том, чтобы всех, незаконно перешедших границу, выдворять за пределы страны в определенный срок. Беженцев перегоняли из одного государства в другое, как скот, без пищи и без денег. Нужда, болезни и голод царили повсюду, и каждая страна старалась свалить с себя ответственность за лиц, не имеющих подданства. Многие беженцы охотно согласились бы работать, но найти работу было трудно. Среди них было немало бывших дворян, чиновников, светских дам. Большинство из них оказались совершенно не приспособленными к какой бы то ни было практической работе.

Деньги, имевшиеся в распоряжении Нансена, скоро кончились. Вот что он сам об этом сказал:

«Нужда столь велика, что никакой частной благотворительностью здесь не поможешь. Правительства... обязаны протянуть им руку помощи. Но тут встают огромные трудности. Первым делом нужно убедиться, в порядке ли у них документы, да не попасть бы с этой помощью впросак, да считать ли граждан Республики Рифов представителями воюющей державы, да позволительно ли вообще оказывать помощь умирающим беженцам,— и еще много других вопросов, разумеется, дипломатических, разумеется, огромной важности, а страдальцы тем временем умирают, зато и помогать потом придется немногим».

Когда отец, в дополнение к остальным своим трудам, взял на себя еще и заботу о репатриации беженцев, я уже вернулась в Норвегию и вышла замуж. Я долго откладывала свое возвращение и выехала, получив известие о том, что 8 февраля 1922 года скончался дядя Ламмерс. Я знала, в каком отчаянии будет тетя Малли, и телеграфировала, что выезжаю первым же пароходом.

Ранним мартовским утром стояла я на палубе «Бергенсфьорда» и смотрела в бинокль на показавшиеся вдали скалы Норвегии. Всепроникающее чувство счастья охватило меня. Не менее волнующим было и вхождение в Христианияфьорд, вид островов, лесов, скал и шхер, берегов Форнебу и нашего побережья — и наконец нашего Акерсхуса, пристани, черной от толпы встречающих, в которой, я знала, находится и отец.

Когда пароход пристал к набережной и оркестр заиграл «Да, мы любим», у всех на глазах показались слезы. И, конечно, отец, как всегда, первый взбежал по трапу, совсем как в Бруклине четыре с половиной года тому назад. Точно так же, как тогда, мы радостно обнялись, и точно так же первыми покинули судно и пробились сквозь толпу народа.

Отец приехал за мною на своем милом «фордике», купленном в Нью-Йорке, его рессорам снова предстояло нести груз моих уже знакомых ему американских чемоданов. Пока их грузили, появились Да и Доддо — Анна Шёт и Торуп, чтобы поздравить меня с приездом. Они стояли на



выступе скалы и видели, как пароход входил в гавань фьорда, но не хотели мешать моему свиданию с отцом. Как невыразимо трогательно было снова с ними свидеться! Да совсем не изменилась — все такая же худенькая и маленькая, словно придавленная тяжелой шапкой темных волос, в черной шляпе, нахлобученной поверх кудрей. Доддо по-прежнему прямой и стройный. Уговорившись, что завтра они придут к нам в Пульхёгду, мы расстались.

Оставалось завести «фордик». Машина, видимо, совсем позабыла те времена, когда стартовала автоматически, и отцу пришлось вылезать и заводить ее вручную. Но все старания были напрасны.

«Подержи-ка!» — сказал он, бросая мне свою тяжелую фетровую шляпу. Он продолжал крутить ручку, пока весь не взмок. «Что за черт!» Пришлось снять и пальто. Наконец мотор завелся, и отец поспешил сесть за руль.

Водитель он был неважный, так и не достиг совершенства в этом деле. Но он очень гордился своим драндулетом. Почти прижав колени к подбородку и устремив взгляд на дорогу, он несся вперед — то заезжая на тротуар, то почти съезжая с обочины в канаву, потом сделал крутой поворот, как раз на виду у постового полицейского. Тот уже собирался остановить нас, но, разглядев, кто сидит за рулем, просиял в улыбке, отдал честь и знаком разрешил ехать дальше. Отец всю дорогу только посмеивался. Но вдруг обернулся ко мне и спросил, рада ли я своему возвращению или уже хочу назад в Америку.

Мне страшно не терпелось расспросить отца о его делах в Лиге, поездках, о его громадной и трудной работе по оказанию помощи людям, но из этого ничего не вышло. Отец был весел и не желал говорить о делах. Он рассказывал мне о моих братьях и сестре, сказал, что все хорошо устроены, но живут порознь. Имми занимается французским языком в Бельгии. Одд учится на архитектора в Высшей школе, Коре — в сельскохозяйственной школе в Осе. Все это я уже знала, но нам все же надо было обо всем переговорить; что касается Коре, то он собирается на днях приехать, и его я сама увижу.

Тень набежала на лицо отца, когда он заговорил о том, как горюет тетя Малли, но как она все-таки молодцом держится. В ее доме в Бестуме я не найду уже прежнего светлого уюта, со вздохом сказал отец. После смерти дяди Эрнста в 1917 году дядя Оссиан сидит в одиночестве в большой комнате в верхнем этаже, а в первом этаже неустанно ходит взад и вперед тетя Малли. Майя Миккельсен по-прежнему хлопочет возле нее. Отец грустно улыбнулся — старые ученики и старые друзья верны ей. Отец был очень озабочен: «Не знаю, как Малли будет теперь без Ламмерса, она ведь только им и жила».

В Пульхёгде давно уже хозяйничала Сигрун, и, несмотря на очень сердечный прием, дома я теперь чувствовала себя не так, как прежде. В прихожей нас с распростертыми объятиями встретила тетя Малли, по ее морщинистым щекам текли слезы: «Наконец-то ты дома, деточка!»

Я еще в Нью-Йорке пожелала отцу вновь обрести тихую гавань в семейной жизни, искренне считая, что так будет для него лучше всего. Разумеется, я понимала, что тогда многое изменится, — как это бывает всегда, если отец женится вторично. Но могу сказать, что его отношения с нами, детьми, не изменились. Ни его женитьба, ни самостоятельность, которую мы уже обрели, не повлияли на наши с ним отношения.

То доверие и нежность, которыми были отмечены годы нашего с отцом пребывания в Америке, сохранились на всю жизнь. Вернее, может быть, будет сказать, что я их сохранила. Я знала, как легко разговаривать с отцом, — нужно только выбрать подходящий момент и заговорить первой. Он со смехом признавался, что я доставила ему огорчение. Люди всегда рады почесать язык и, пытаясь объяснить мое долгое отсутствие, выдумывали всякие небылицы. Отец опасался, как бы я не привязалась к какому-нибудь американцу и не осталась навсегда на чужбине. И хотя он не терпел сплетен, однако же страшно обрадовался, когда я призналась ему, что «привязалась» к норвежцу и что мы будем жить в Норвегии. А когда отец узнал, что норвежец этот — сын его старого учителя Антона Свенника Хейера, он совсем успокоился: у такого умного и замечательного человека и сын

должен быть славным парнем, рассудил отец. Поэтому, когда через несколько дней в Пульхёгде появился Андреас Хейер, его здесь ждал самый сердечный прием.

Только что приехал из Тронхейма Одд повидаться со старшей сестрой, он так возмужал за это время, что я сперва просто не узнала его. Мы сидели в холле, болтали, дожидаясь, когда из башни спустится к нам отец. Одд всячески старался подбодрить своего зятя, он шутил и смеялся, но тот оставался глух ко всему. Поглощенный мыслью о предстоящем знакомстве с верховным комиссаром, Андреас не мог оценить ни шуток Одда, ни его рассказов о студенческом житье.

И вот мы сидели втроем и прислушивались к шагам отца над головой. Наконец он явился, стремительно, как всегда. И все страхи Андреаса оказались напрасными. Знаменитый тесть нервничал и смущался не меньше гостя. Да это и понятно: надо было приветствовать незнакомого человека как нового члена семьи да еще быть с ним на «ты», так вот сразу, без всякой подготовки. Он, конечно, заготовил целую кучу любезностей, однако ничего у него не получилось. Оба только стояли друг против друга, трясли друг другу руки, глупо смеялись и старательно избегали местоимения второго лица. Но не успела я опомниться и вставить слово, как отец с места в карьер начал разговор об инженерных науках и строительстве, как раз по специальности Андреаса. Оживленно жестикулируя и беседуя, словно век были знакомы, спустились они вниз к уже ожидавшему их обеду. Мы с Оддом плелись за ними следом, о нас забыли.

На этот раз мне недолго пришлось пробыть дома. Отец же уехал из Пульхёгды еще раньше. Через несколько недель после моего приезда он отправился в одну из своих поездок по делам помощи, а когда вернулся, успел только побывать на нашей свадьбе. Однако же он обсуждал с нами вопрос, где мы будем жить. «И зачем только я сделал такую глупость — продал Готхоб! — говорил он уныло. — А то могла бы ты жить в родном доме».

Сам он не представлял себе, как можно жить в городе, а потому считал, что и мы не сможем жить, «видя перед собой улицу и каменные дома напротив». Больше всего ему хотелось, чтобы мы поселились в Люсакере, и он исподволь стал прощупывать почву, не согласимся ли мы выстроить себе дом на территории Пульхёгды. Но только исподволь. Он ни в коем случае не хотел быть нам в тягость. Только если мы сами захотим.

Еще бы не захотеть! Андреас был в восторге, что будет жить на лоне природы, всю жизнь он провел в городе. А теперь ему хотелось иметь «свой клочок земли», укорениться в родной почве, ведь 17 лет он прожил за границей. Но такой план не так-то просто выполнить, а нам не хотелось откладывать свадьбу до тех пор, пока построят наш дом.

«Где бы вы ни жили, старайтесь только, чтобы было побольше солнца», — советовал отец. Совет отличный. Но легче его дать, чем выполнить. Тогда, как и сейчас, трудно было с жильем, и мы были бы рады, если б нашли хоть какое-нибудь пристанище. Так что если не будет ни солнца, ни деревьев за окошком — тоже ничего не поделаешь.

Со свадьбой дело тоже оказалось не так-то просто. Чтобы выйти замуж, нужно было представить свидетельство о крещении и справку об оспопрививании. Я была некрещеная. И где мне, скажите на милость, было искать свидетельство об оспопрививании? Мне было пять лет, когда мне прививали оспу. Оспенные знаки до сих пор видны на руке, но это ведь не доказательство. Клятвенных заверений Доддо о том, что он сам лично вводил мне тогда вакцину, тоже оказалось недостаточно. Я предоставила вести это дело моему двоюродному брату, адвокату Эйнару Нансену, и ему пришлось-таки потрудиться, чтобы доказать, что я вообще родилась на свет и что я это я.

Никакого свадебного торжества мы не хотели, об этом я заявила вполне определенно. Отец меня понял. Но когда дошло до дела, ему все же показалось странным и диким, что я покину родной дом и отца, даже не попрощавшись как следует. «Вы бы хоть пообедали с нами перед отъездом, — попросил он. — Поесть-то всем надо».

Эрик Вереншельд и отец должны были быть нашими свидетелями в мэрии, и отцу непременно хотелось отвезти нас туда на своем «фордике». Но у мэра запись бракосочетаний велась как по конвейеру, и я боялась опоздать. Поэтому мы вызвали такси из Люсакера. И солнечным днем, в начале июня, под пение птиц в разгаре весны, мы вчетвером отправились в весьма прозаическое

здание мэрии и поднялись по сумрачной черной лестнице в комнату, где оформлялись бракосочетания.

Там мы увидели старика с белой бородой и кроткими, добрыми глазами. И получилось все не так уж прозаично. Когда, как положено, старик принялся записывать имена моих родителей, он остановился и посмотрел на меня.

«Ева Нансен,— произнес он, и глаза его приняли еще более кроткое выражение.— Какая у вас была прекрасная мать! Я видел ее и слышал ее пение. Этого я никогда не забуду».

Отец схватил и пожал под столом мою руку. Вереншельд утвердительно кивнул мэру, и все мы вдруг позабыли, где находимся. Потом мы поехали домой, где Сигрун угостила нас прекрасным изысканным ленчем. Кроме «свидетеля» Вереншельда, других гостей не было, если не считать тети Малли и Доддо. Но без речей все же не обошлось. Отец никак не мог удержаться, чтобы не дать напутствия своей старшей дочери. А раз уж он начал, то и остальные последовали его примеру. Но Андреас был освобожден от обязанности благодарить за невесту[201], на этом я решительно настояла.

Потом мы все пили кофе в саду под липами. Настроение было радостное. Солнце просвечивало сквозь листву, благоухали ландыши, отец и все остальные шутили и смеялись. Даже тетя Малли немного посветлела. Но когда к дверям подъехал автомобиль и пришло время прощаться, у отца на глаза навернулись слезы. Он очень полюбил Андреаса и уверял всех, что я не могла сделать более удачный выбор. И все-таки ему было как-то странно отдавать дочку замуж. Нетвердым голосом пожелал он нам счастья на жизненном пути, и трогательны были его старания пожать нам руки последним.

Нас повез на вокзал тот же автомобиль, на котором мы утром ездили в мэрию, но теперь он был украшен внутри цветами. Любезный шофер, видно, счел своим долгом сказать нам что-то хорошее на прощанье, но ничего подходящего так и не придумал. Тогда он сказал: «Спасибо вам за сегодняшний день!»— и помахал нам фуражкой.

Когда я, вернувшись из недолгого свадебного путешествия, позвонила отцу и горничная передала ему по внутреннему телефону, что его спрашивает фру Хейер, он не хотел спуститься вниз к телефону. Фру Хейер? Кто это? Не знает он никакой фру Хейер, и разговаривать ему некогда. «Скажите, что меня нет дома». Нескоро он привык к моей новой фамилии.

Он весь погрузился в дела: неделями и месяцами разъезжал он по делам пленных и беженцев, и все эти первые годы мы почти не виделись друг с другом. Особенно трудно ему пришлось осенью и зимой 1922-23 года — он работал с утра и до ночи. Но зато ему удалось значительно продвинуть дело репатриации эмигрантов. (35)

В конце концов многие правительства поняли, что Нансена нужно поддержать. В перспективе открылись возможности для репатриации, но возникли новые трудности в связи с тем, что у беженцев не было ни паспортов, ни каких-либо иных документов, которые были бы действительны в любом государстве. Отец все больше убеждался в том, что главная задача — это добиться юридических прав для людей, лишенных подданства.

В июне 1922 года отец созвал в Женеве конференцию с участием представителей тех стран, которых касался вопрос об эмигрантах, и предложил учредить особое удостоверение личности для беженцев. Предложение было в конце концов одобрено и принято правительствами 52 стран. Документ получил название нансеновского паспорта.

Это был совершенно новый вид паспорта, еще не выданный до тех пор,— в сущности, маленькая марка с портретом Нансена, на которой стояла надпись «Societe des Nations». Но эта скромная маленькая марка разом предоставила несчастным людям право на существование.

Одновременно при Международном бюро труда была учреждена организация по трудоустройству беженцев, с филиалами в тех странах, которые заявили о своей готовности принять беженцев. Здесь представители данных стран могли вести переговоры с представителями Нансена или с ним лично. Особые уполномоченные удостоверяли документы и подписи беженцев и брали на себя поручительство за их поведение. Нансеновская марка наклеивалась на паспорт и на другие документы беженцев, за что взималось пять франков золотом с каждого. Паспорт надо было еже-

годно возобновлять за ту же плату. Такой порядок приносил конторе по найму средства на поддержку нуждающихся беженцев, позволяя тем самым правительствам и организациям помощи значительно сократить расходы на эти цели. К концу 1922 года расходы Лиги наций сократились до 12 тысяч фунтов.

По первоначальному плану Нансен предполагал выхлопотать у Советского правительства амнистию и гарантии для русских беженцев, желавших вернуться на родину. Он надеялся также, что это будет способствовать восстановлению нормальных отношений между Россией и Западной Европой. Однако этой «лично нансеновской политике в отношении России» противодействовали не только все враги Советского государства, не меньше вредили ей и сами беженцы, и вообще многие понимали эту политику превратно. Ведь большинство беженцев были активными политическими противниками нового режима России и все еще надеялись свергнуть советскую власть при поддержке западных держав. А когда осенью 1922 года отец дал согласие возглавить помощь голодающим в России, он вызвал еще больше подозрений в симпатии к Советам, и тогда в ход была пущена пропагандистская машина с целью опорочить его работу.

Первоначальным замыслом отца было добиться амнистии для граждан, которые добровольно пожелают вернуться на родину, с условием строгого контроля над выполнением обещаний о хорошем обращении с возвращающимися, чтобы в случае необходимости можно было за них вступить.

Многие тысячи отважились вернуться на родину, среди них 25 тысяч донских казаков, 10 тысяч русинов и евреев. Тысячи еврейских беженцев хлынули также из Польши и из Германии, где особенно сильна была ненависть к «восточным евреям».

Но это была лишь капля в море, и со всех сторон раздавались вопли о помощи. Латвия и Эстония были наводнены беженцами, в Финляндии их находилось около 30 тысяч, в Чехословакии — не меньше 25 тысяч, в Югославии — 50 тысяч, в Болгарии — 35 тысяч, в Ближней Азии — свыше 70 тысяч. Во Франции же их скопилось свыше 400 тысяч.

Хуже всего было, однако, в Константинополе, ставшем перевалочным пунктом для всех спасавшихся бегством с востока, севера и с юга, после того как союзники оккупировали город в 1920 году. Здесь было зарегистрировано 170 тысяч русских, из них 135 тысяч — остатки разбитой врангелевской армии с семьями, а также 155 тысяч греков и армян.

Путем переговоров с правительством Нансен старался выявить, какие страны нуждаются в рабочей силе. В эти страны он направлял своих уполномоченных, а на самые важные переговоры приезжал сам. Помощь была оказана многим, но не все были довольны работой. Отец получал много жалоб.

Помню одно утро 1922 года в Пульхёгде, он разбирал дневную почту. «Ничего не поделаешь, трудно приходится бывшим аристократкам, которые никогда не брали в руки половой тряпки, а теперь вынуждены ползать на четвереньках, мыть лестницы и полы в общественных зданиях,— говорил отец, пожимая плечами.— Но сдается мне, что это им не повредит. Во всяком случае, это лучше, чем продаваться на улице, как это приходилось делать многим из них, чтобы не умереть с голоду».

В качестве верховного комиссара Лиги наций по делам беженцев Нансен вовсе не был обязан заботиться о непосредственном содержании беженцев, но во многих местах нужда была столь вопиющей, что Нансену приходилось вмешиваться самому. Так, на Босфоре скопилось около 90 тысяч беженцев, у которых буквально не было крыши над головой и никаких возможностей промыслить себе пропитание. Нансен обратился к правительствам в Лондоне, Париже и Риме, он апеллировал к обществам Красного креста, к женским организациям, еврейским общинам, к обществу «Спасите детей!» и ко многим другим. В Америке за короткое время он собрал 25 тысяч долларов, обязавшись, со своей стороны, достать еще 30 тысяч. Американское общество Красного креста помогло ему добыть часть этой суммы, а остальное он получил в других местах. Он учредил особую контору в Константинополе, и беженцы получали оттуда помощь в течение четырех месяцев.

В конце концов Нансену с сотрудниками удалось освободить Константинополь от навалившейся на него тяжести и разместить беженцев в 45 странах. Большая часть их состояла из

остатков врангелевской армии. Генерал еще не утратил надежды на новую интервенцию против Советов и потому всячески мешал Нансену, так как его деятельность распыляла армию. 25 тысяч солдат сами выразили желание вернуться домой, на Дон, и им помогли уехать. По договоренности с Советским правительством через три месяца о них были наведены справки по спискам Красного креста.

Среди нуждающихся в помощи в Константинополе находились сотни несчастных женщин, зарегистрированных полицией как проститутки. Многие из них принадлежали к бывшему привилегированному классу общества, многие имели высшее образование, но голод и нужда толкнули их на этот путь. И снова пришлось Нансену помогать. Он обратился к Национальному совету норвежских женщин, и его председатель Бетти Кьельсберг передала его обращение в другие скандинавские страны. В Норвегии было собрано 13 тысяч крон, в Дании — 7000, в Швеции — 1261 крона. Оказали помощь и Италия, и другие страны, а нансеновский паспорт стал средством спасения и для этой категории беженцев.

В 1924 году Франция согласилась дать пристанище находившимся там 400 тысячам беженцев, и это было большим облегчением. Болгария тоже была в числе тех стран, которые оказали немалую помощь. Многие нашли там приют и работу, а кроме того, Болгария приняла несколько тысяч инвалидов с семьями. Некоторое количество евреев поселились в Палестине, другие — в Америке и Англии, а кое-кто — в Скандинавии.

Нансен считал особенно важным вопрос о предоставлении детям и студентам возможности продолжить образование. Он внес в Лигу наций предложение о создании школ и университетов для русских эмигрантов и материальной поддержке студентов во время учения. Чехословакия и Франция первые подали пример в этом отношении. В Чехословакии были открыты русские школы, 4300 студентов получили одежду, жилье и некоторую денежную поддержку. Одно время действовал русский университет и, кроме того, еще два специальных учебных заведения.

Многие страны последовали благому примеру. Германия открыла студенческие общежития, и русские студенты получали скидку в университетах. Одна американская организация дала крупную сумму денег на открытие русского университета в Берлине. Этот университет стал важным центром, он был доступен и для студентов из других стран. В Чехословакии несколько тысяч казаков обучались рациональному ведению сельского хозяйства. Наконец, при поддержке ХАСМЛ[202] в окрестностях Берлина был создан Политехнический институт.

Эмиграция в заокеанские страны была тоже довольно велика. Канада, США и Южная Америка приняли большое количество беженцев. Во многих местах эмигрантов принимали весьма охотно, как, например, в Канаде, которая испытывала нужду в рабочей силе. 10 тысяч русских, интернированных в Китае, расселили в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Нансен вел переговоры с правительствами этих стран, а уполномоченный Международного бюро труда устраивал переезд.

Часть русских беженцев обосновалась в Норвегии и образовала здесь свое землячество. Как-то в 1928 году отец получил приглашение на одно из собраний, мы с мужем тоже там были. Играл оркестр балалаечников, показывали танцы и представления. Главным событием вечера было выступление отца. Не могу точно припомнить, что именно он говорил, но он рассказывал о работе, которая ведется для устройства русских беженцев, о том, что уже удалось сделать и что еще остается. Председатель колонии благодарил отца. Его фамилия была Римский-Корсаков, и был он племянником композитора, в прошлом полковник армии Врангеля, а теперь шофер такси в Осло. Но он благодарил отца не только за его речь. «Все мы, русские, благодарны Нансену за то, что остались живы».

Добрых два с половиной года с очень редкими промежутками отец был занят организацией и проведением больших работ по оказанию помощи и постоянно нес на себе тяжесть чужой беды и ответственности. С одной стороны — несчастные люди, которых во что бы то ни стало надо было спасти и для которых его деятельность была единственной надеждой на спасение. Такое доверие обязывало и так неумолимо взывало к человечности, что отец никогда не знал покоя, пока не



выполнит поручения. С другой стороны — те, кто встречал его инициативу и волю к действию скептически и с недоверием, которое ему приходилось преодолевать ради сохранения своего авторитета. Отец не желал, чтобы его линия в международной политике потерпела урон или поражение из-за потери авторитета. Понятно, что настроение отца то и дело переходило из одной крайности в другую, в зависимости от удач или неудач, постигавших его работу, и он не был равнодушен к тому, что значительное число ответственных политических деятелей с таким холодным безразличием относились к катастрофам в послевоенной жизни народов.

«Ты говоришь о лучшем мире,— писал он в ночь под новый год Ула Томмесену.— Но борьба за него представляется иной раз такой безнадежной, что поневоле чувствуешь усталость. Иногда начинает казаться, что все-таки удалось достичь чего-то, хоть маленького улучшения, а потом маятник снова откатнется в обратную сторону, и в такие моменты все мне представляется в мрачном свете. Но какой прок жаловаться — все равно ведь будешь по-прежнему тянуть лямку».

Борьба с голодом в Советской России принесла Нансену множество горьких разочарований. Правда, самоотверженность простых людей всех стран произвела на него глубокое впечатление, но тем досадней была неудача в том, что он считал самым важным,— ведь он надеялся, что Лига наций возьмет на себя решение подобных практических задач мирового значения и тем самым коренным образом изменит весь дух международной политики.

И все же он считал, что к осени 1922 года обстановка стала менее мрачной. Он побывал в Москве, и ему удалось наладить распределение сельскохозяйственных машин и другого инвентаря среди крестьян, и создавалось такое впечатление, что русским не придется больше голодать. С помощью нансеновского паспорта был наведен порядок в деле помощи беженцам, и по приезде на сессию Ассамблеи в Женеву у отца было такое чувство, что самое трудное осталось позади и результаты — в общем и целом — превзошли даже самые смелые ожидания. Казалось, он мог позволить себе небольшую передышку и заняться повседневными делами в качестве норвежского делегата в Ассамблее. Но тут приходит известие о новой катастрофе, требующей немедленного вмешательства. Опять ему пришлось отложить все дела и окунуться в гущу событий, связанных с новыми невероятно сложными проблемами, причем приступить к действию нужно было без малейшего промедления. На этот раз призыв о помощи донесся из Малой Азии.

Начиная с 1918 года на этой беспокойной окраине Европы не раз складывалась чрезвычайно напряженная обстановка. Интересы великих держав сталкивались на Балканах, в Малой Азии и на Ближнем Востоке и делали политический климат весьма неустойчивым. А старинные национальные и религиозные раздоры между греками и турками во Фракии и в Малой Азии привели к военным действиям. Частые перемены внутривосточного положения в Греции и Турции тоже отнюдь не способствовали разрядке напряженности. Подстрекаемые союзниками, греки высадились в Смирне. Неприятельский десант и последующие кровавые бои вызвали сильные волнения в Турции и дали пищу национальному движению, возглавляемому новым сильным вождем Кемаль-пашой[203]. В июне 1920 года греки начали новое наступление на Малую Азию и прорвали позиций Кемаль-паши. Они захватили Бруссу и сильно потеснили противника. По Севрскому договору[204] Смирна с окрестностями отошла к Греции, которая давно уже претендовала на эту территорию, однако же там имелось довольно значительное количество турецкого населения. Турок стали выгонять из домов, нередко их усадьбы сжигались.

Кемаль-паша не признал Севрского мира, так сильно урезавшего границы Турции, и продолжал войну, которая шла с переменным успехом. Летом 1922 года греко-турецкий конфликт закончился полной катастрофой для греков. Союзники своих обещаний не сдержали, и наступил час расплаты. Греческие войска гибли или попадали в плен. В сентябре 1922 года Кемаль-паша взял Смирну и поджег город. Греки, военные и гражданские, в дикой панике устремились к морю. Тех, кого удавалось настичь, турки убивали на месте. Полмиллиона спаслись на островах, а 800 тысяч сгрудились в греческом и армянском кварталах Смирны и на обширных набережных. Разыгрывались невероятные ужасы. Вся гавань была запружена трупами.

Английские военные корабли, стоявшие на рейде, подбирали женщин, детей и мужчин, бросавшихся в море, и отвозили их в Грецию. В Смирне и в других занятых турками местностях планомерно истребляли не только греков, но и армян. Греческих и армянских мальчиков вырывали из рук матерей и убивали у них на глазах. Мужчин моложе 45 лет турки распределяли по рабочим батальонам, чтобы они восстанавливали разрушенные греческими войсками хозяйства. Женщин уводили в турецкие гаремы. И все произошло с такой быстротой, что никто и опомниться не успел.

Волна греческих и армянских беженцев докатилась и до Константинополя, который все еще находился под защитой союзников. Полковник Проктер, руководитель местной нансеновской конторы по делам беженцев, много повидал нужды и бедствий, но то, чему он был свидетелем теперь, затмевало собой все прежнее. Он телеграфировал Нансену, прося немедленных распоряжений.

Это было утром 18 сентября. Нансен только что закончил отчет в Лиге наций о проделанной работе по делам эмигрантов, и тут пришла телеграмма из Константинополя. Проктер просил распоряжения о том, чтобы развернуть работу своего вспомогательного аппарата: греческие власти обратились к Лиге наций с просьбой о поддержке. Нарушив регламент заседаний, Нансен попросил у председателя повторно предоставить ему слово для важного сообщения. Он поднялся на трибуну и, зачитав телеграмму, потребовал немедленного вмешательства Лиги наций. Дело шло о двух миллионах человеческих жизней, и нельзя было терять ни минуты. Вопреки существовавшему правилу о пятидневной отсрочке при обсуждении новых дел, вопрос был поставлен на повестку дня немедленно, и Нансен был облечен полномочием действовать под эгидой Лиги наций. Уже на следующее утро предложение было принято, и Ассамблея ассигновала 100 тысяч франков золотом. На вечернем заседании было сообщено, что английское правительство предоставило в распоряжение Нансена миллион фунтов на том условии, что остальные государства сообща выделяют такую же сумму. Не дожидаясь, пока закончится обсуждение вопроса, Нансен принялся за выполнение задания и за одни сутки успел закупить в Египте и в Болгарии провиант и нанять пароход для перевозок. А затем отправился в Македонию в сопровождении Филипа Ноэль-Бэйкера.

Прибыв на место, они угодили в самую гущу событий. Вместе с Ноэль-Бэйкером и другими сотрудниками Нансен сразу принялся за устройство пунктов питания. Но надо было возможно скорее распланировать дальнейшую работу. Подняли на ноги Красный крест, «Помощь Ближнему Востоку» и ряд других обществ помощи. В Смирне американский консул уже успел сделать очень важное дело: договорился с турецкими властями о том, что греческим судам разрешено будет под нейтральным флагом начать перевозку беженцев в греческие гавани. Прибывшая нансеновская группа за короткий срок освободила город от остальных беженцев, которые находились в самом бедственном положении, поскольку бежали, побросав все свое имущество.

Нансен спас 156 тысяч греческих беженцев, скопившихся в Малой Азии, переправив их в Грецию, а из Константинополя он отправил по домам 10 тысяч беженцев, чтобы они собрали богатый урожай, который впопыхах бросили на корню. На большие острова Самос и Хиос Нансен послал продовольствие и тем предотвратил голод в этих отдаленных районах. Но не все опасности были позади. Среди беженцев свирепствовали холера, оспа и тиф. Из тех 27 тысяч греков, которые приехали из Константинополя, умирало, по рассказам самого Нансена, по 500 человек в неделю. В сотрудничестве с эpidстанциями, Красным крестом и другими организациями за короткое время удалось сделать профилактические прививки более чем миллиону беженцев.

В октябре Нансен созвал съезд всех организаций помощи для выработки единой тактики, чтобы не было разнобоя в работе. Его предложение было принято. По условиям перемирия от 11 октября Восточная Фракия переходила к Турции, и когда Бэйкер и Нансен прибыли туда в середине месяца, население как раз было оповещено о приближении турецких военных частей из Малой Азии. Кемаль-паша дал греческим крестьянам 42 дня срока, чтобы очистить страну. Греческие крестьяне, не очень сведущие в грамоте, решили, что им дается на сборы 24 часа. Кое-как, впопыхах погрузили они все самое необходимое на ослов и арбы, запряженные волами, и сотни тысяч греков повалили на запад, на родину. Они бросили неубранный урожай, хотя хлеб на полях уже созрел. Нансену сразу пришла идея: он решил скупить у крестьян весь урожай и нанять пароход, чтобы перевезти его в

Грецию, где он, конечно, весьма пригодится. Он немедленно телеграфировал греческому правительству: «Согласны вы дать мне денег на эту затею?» Через шесть часов он получил ответ из Афин: «Мы предоставили в ваше распоряжение четверть миллиона фунтов через банк в Константинополе. Через четыре дня в ваше распоряжение поступит еще два миллиона фунтов на необходимые расходы». За шесть часов Нансен раздобыл несколько пароходов и погрузил на них греков. Правда, все могло бы пройти гораздо организованнее, если бы крестьяне согласились отложить свой отъезд на несколько часов.

Спустя несколько недель Нансен и Бэйкер приехали в Афины и предложили министру иностранных дел испросить заем у Лиги наций на устройство греческих беженцев на родине. При этом Нансен попросил министра ознакомиться с составленным им меморандумом. «Само собою разумеется,— ответил министр,— на каких вам угодно условиях».

Снабженный полномочиями греческого правительства, Нансен отправился в Константинополь на греческом военном корабле. Едва он успел высадиться на берег, как к нему обратился британский посланник с просьбой уделить ему время для беседы. Он получил от британского правительства уведомление, что три великие державы — Англия, Франция и США, участницы мирной конференции в Лозанне[205] — высказали пожелание, чтобы Нансен взял на себя переговоры с греческим и турецким правительствами об обмене военнопленными. Нансен немедленно приступил к переговорам с турецким правительством.

Первая попытка закончилась неудачей, но Нансен не сдавался. Он поручил Руверу и Эрику Колбану, которые прибыли в Константинополь помогать ему в делах, составить проект договора об обмене людьми между Турцией и Грецией. Затем все вместе отправились в Афины.

Уже при входе в Пирейскую гавань их встретила та же безотрадная картина — нескончаемый поток беженцев. Город был наводнен ими; Железнодорожные вокзалы превратились в ночлежки. Бездомные люди располагались повсюду — на улицах, в парках, спали прямо под открытым небом; большей частью это были женщины, дети и старики. Колбан спросил у Нансена, неужели он всерьез думает заняться этим безнадежным делом.

«Ответ его был весьма характерен,— рассказывал потом Колбан в своих воспоминаниях.— Он, мол, и рад бы отказаться от этого поручения, но ведь кому-то все равно придется этим заняться. Пока не найдется другого, он будет продолжать».

Переговоры в Афинах прошли без всяких осложнений. Правительство с большой готовностью приняло все предложения. За завтраком на загородной вилле королевской четы король Георгий выразил Нансену от своего имени и от имени всего народа благодарность и вручил ему большой греческий крест в знак признательности за все, что он сделал для его страны.

Во второй половине дня Нансен пожелал посетить Акрополь. Он с удовольствием пошел бы один, но директор реставрационных работ считал своим долгом лично все показать Нансену. Он развлекал отца рассказами об истории почтенных руин, а это требовало времени. Отец старался возможно дольше сохранить заинтересованный вид, но постепенно пришел в совершенное отчаяние. Под конец Эрик Колбан, бывший в числе экскурсантов, взял на себя не в меру любезного директора, и отец смог побродить по Акрополю и помечтать в одиночестве.

Спустя несколько дней он уже был на пути в Лозанну, сопровождаемый представителями Турции и Греции, и вез туда собственное предложение относительно обмена беженцами.

«Благодаря его усилиям было достигнуто наконец соглашение»,— говорит Ноэль-Бэйкер.

План Нансена заключался в том, чтобы обменять еще остававшихся в Малой Азии греков на турок, которые проживали на греческой территории. Поскольку речь шла о полутора миллионах греков и 400 тысячах турок, то предложение казалось на первый взгляд невыполнимым. И действительно, этот план встретил сильное сопротивление, однако Нансен в основном добился своего, и через полгода величайшее переселение народов нашего времени было завершено.

Комиссия в составе четырех греков, четырех турок и трех представителей нейтральных стран должна была организовать обмен. Советник шведского посольства Эрик Э. Экстранд, руководитель шведской миссии Красного креста в Самаре, стал первым председателем этой комиссии.

Туркам предоставили возможность селиться в бывших греческих усадьбах, которые не пострадали от военных действий. Куда сложнее было положение греческого правительства, которому предстояло разместить в разоренной войной стране с населением в четыре миллиона еще полтора миллиона человек. Нансен предвидел возможные трудности и заранее разработал программу размещения репатриантов. Сперва он провел эксперимент в Западной Фракии. С помощью Проктера 10 тысяч беженцев из Малой Азии были размещены в 15 фракийских деревнях. Большинство занялись земледелием и стали поднимать целину, а кое-кто насаждал новые промыслы — шелкопрядание, изготовление ковров и разведение табака. Уже через год все были в состоянии прокормить себя и начали выплачивать долг.<sup>[206]</sup>

«Раз мы смогли справиться с десятью тысячами, значит, управимся и с миллионом»,— сказал Нансен.

Между тем нужно было изыскать средства к существованию и жилища для остальных беженцев. А у греческого правительства не хватало на это средств. Американское общество Красного креста в течение всей первой зимы частично содержало 800 тысяч человек, но этого было мало. Тогда по предложению Нансена был объявлен международный заем на сумму в 12 миллионов фунтов, обеспечиваемый греческим правительством и самими беженцами. Последнее выглядело довольно странно, и поэтому не приходится удивляться, что многие ответственные политические деятели сочли это предложение нереальным. Но когда заем был реализован в Лондоне, сумма неожиданно превысила объявленную в 20 раз.

Совет Лиги наций передал теперь проект о колонизации, представленный Нансеном, на рассмотрение комиссии, составленной из 5 членов; трое из них были назначены Лигой наций, а двое — греческим правительством. Началась колоссальная работа. Все бывшие турецкие земли, как возделанные, так и невозделанные, в количестве 860 000 га были отданы в распоряжение переселенческого управления. Предстояло дренировать и корчевать обширные площади. Из нескольких озер спустили воду и получили 10 000 га пригодной для возделывания земли.

Наряду со всем этим нужно было бороться с малярией, которая свирепствовала среди греческого населения. В Македонии был организован совет по здравоохранению, связанный с санитарно-гигиеническим отделом Лиги наций, и процент смертности снизился в конце концов почти до нормального уровня.

Теперь, когда переселение было закончено, нужно было приобрести машины, тракторы и орудия. Возводились постройки, жилые дома, мастерские и пр. Турки оставили после себя 53 тысячи жилых домов, греки выстроили свыше 40 тысяч новых. До исхода 1928 года в Западной Фракии и в Македонии было возделано 28 000 га земли, и население выплатило проценты и отчисления по международному займу.

«Трудно поверить, что эти добротнo одетые мужчины и женщины, полные жизни и имеющие излишки, которые они могут тратить на удовольствия,— те самые люди, что высадились в Греции 3—4 года назад, нагие и истощенные, часто несущие на руках мертвых детей, не зная, где их похоронить»,— говорилось в одном из официальных отчетов.

Комиссия переселенческого управления продолжала свою работу вплоть до 1930 года. Было построено еще 80 тысяч новых домов и предоставлены жилища и средства для существования 225 тысячам семей, при издержках в 1 фунт 4 шиллинга на человека. На другой день после смерти Нансена в 1930 году на заседании Совета Лиги наций было доложено, что план переселения выполнен и все административные функции возложены на греческое правительство. Греческий министр Михаларкопулос почтил память Нансена и сказал слова благодарности за помощь, оказанную им греческому народу.

Нансен еще при жизни мог убедиться в эффективности своего плана, а энергичные меры Лиги наций в деле оказания помощи грекам увеличили его радость вдвойне. Ведь тем, что Лиге удалось поставить на ноги целый народ, она доказала свою эффективность.

«То, что, казалось, должно было стать несчастьем народа,— говорил он,— привело его с помощью Лиги наций к благополучию. Беженцы занимаются интенсивным земледелием и

садоводством, возродили виноградарство и табаководство, а также внедрили шелководство и кустарное ткачество ковров, которое прежде не было известно в Греции. Путем налогов и отчислений греки уже начали выплату долгов по займу, предоставленному им Лигой наций».

Спасение полутора миллионов греков усилиями Лиги наций решило лишь часть проблемы беженцев — тяжкого наследия мировой войны. И откуда Лига наций отстраивала Грецию, Нансену и его сотрудникам пришлось взяться за помощь беженцам в другом месте. Революция и контрреволюция в России, польско-русская война, балканские войны, бои на Кавказе и в Малой Азии, в Марокко и Северной Африке разбросали беженцев по всему лику земли, и почти всюду они были одинаково нежеланны, и почти везде с их появлением возникали неразрешимые проблемы.

Китай не в силах был оказать помощь тем толпам русских беженцев, которые перекатывались через его границы, и попросил Нансена найти выход из положения. Турция угрожала изгнать русских, осевших в Константинополе.<sup>[207]</sup> Болгария попала в затруднительное положение после того, как Греция выслала из своих пределов 10 тысяч болгар, чтобы очистить место для собственных репатриантов. Маленькая Болгария, границы которой после войны были основательно урезаны, была наводнена беженцами — русскими, украинскими и армянскими. А тут подкатила новая волна, на этот раз — соотечественники. Ободренная греческим примером, Болгария в 1926 году запросила Лигу наций о предоставлении займа для оказания помощи 130 тысячам человек. Как и в Греции, в Болгарии были выстроены тысячи домов, осушены болота, прорыты оросительные каналы и возделаны обширные территории.

Болгарский король поблагодарил Нансена весьма экстравагантным образом. Нансен ехал восточным экспрессом из Софии в Константинополь, когда в его купе внезапно пришел машинист поезда. Оказалось, что это король Борис. Улыбаясь он протянул руку и извинился за свой костюм. Король рассказал, что не знает более занимательного занятия, чем водить поезд. Никого не предупредив, он отлучился из дворца к своим любимым паровозам. Поблагодарив Нансена за все, что тот сделал для болгар, он поспешил обратно на свое рабочее место. Вернувшись домой, отец рассказал об этом происшествии. Он охотно побеседовал бы с королем подольше, его всегда интересовали люди, имеющие оригинальные склонности.

Нансеновские паспорта приносили ежегодно большие суммы Международному бюро труда, немалые средства предоставляли правительства, а также различные организации помощи разных стран. Лично от самого Нансена Бюро труда получило 3000 фунтов на создание «оборотного фонда» для перевозки беженцев в заокеанские страны. Как только переселенцы получали оплачиваемую работу, они возмещали фонду дорожные издержки, и, таким образом, можно было оказывать помощь новым беженцам.

В самый разгар деятельности этой всемирной организации, в сентябре 1924 года, Лига наций опубликовала заключение о работе, проделанной Нансеном:

«Ассамблея считает своим долгом выразить свое глубочайшее преклонение верховному комиссару д-ру Фритюфу Нансену как за его неутомимую энергию, с которой он уже на протяжении четырех лет выполняет миссию помощи беженцам всех национальностей, так и за выдающиеся качества, проявленные им при выполнении столь грандиозной задачи.

Ассамблея констатирует далее, что д-р Нансен при очень скромных средствах, предоставлявшихся в его распоряжение, спас сотни тысяч людей от нужды, бедствий и даже от смерти, и приносит ему выражение признательности как благодетелю человечества».

Не меньше, чем это признание своих заслуг, отец ценил рождественское поздравление, полученное от младшего сына. Это был рисунок, изображавший отцовский письменный стол, заваленный бумагами и документами. Свет стеариновой свечи падает на предмет, который напоминает верхушку глобуса, торчащую из вороха бумаг, и который при ближайшем рассмотрении оказывается лысиной отца. Вокруг рисунка Одд написал:

Свеча твой освещает кабинет,



И видит этот свет весь белый свет. [\(37\)](#)

## XIV. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Едва отцу выпадала передышка от всех его работ по оказанию помощи, он старался хотя бы ненадолго, хоть на недельку, съездить домой. Но осенью 1922 года мы его не видали совсем. В сентябре он получил совершенно неожиданно новые поручения на Балканах и в Малой Азии, а кроме того, его присутствие было необходимо в Лозанне, и так шли недели и месяцы. Только когда репатриация греков в основном была закончена и в общих чертах был готов план их расселения на родине, отец смог наконец сесть в поезд и отправиться домой, в Норвегию, чтобы встретить рождество в Пульхёгде, в кругу семьи. Последний раз я встречала рождество с отцом в 1917 году в Лейк Плесид.

На родине Нансена ждала приятная новость, глубоко тронувшая его. Ему была присуждена Нобелевская премия[208]. Он и не подозревал о том, что правительства Норвегии и Дании выставили его кандидатуру на получение премии мира за 1922 год — прежде всего за его заслуги в деле репатриации военнопленных и беженцев и за помощь голодающим в России, а также за тот вклад, который он внес своей деятельностью в достижение взаимопонимания между народами и налаживание мирных отношений между странами.

Отец считал, что не заслужил такой чести и что это не совсем справедливо. Будет ли мир длительным — всецело зависит от Лиги наций, говорил он, а те задачи, которые он брал на себя, имели целью облегчить урон, нанесенный войной, но сами по себе недостаточны для предотвращения новой войны.

И все же он был счастлив, я это видела. Не раз приходилось ему выпрашивать средства для оказания помощи, а тут он получал фонд, которым сможет располагать по своему усмотрению. В 1922 году премия была особенно велика, потому что в предыдущем году присуждения не было, и потому сумма в этом году была больше обычной — 122 тысячи крон.

Обрадованный тем, что Нобелевский комитет норвежского стортинга высказался за присуждение премии Нансену, издатель Кр. Эриксен заявил, что сам прибавляет к премии такую же сумму.

Отца такая щедрость просто потрясла. Он чувствовал, что эти почести обязывают его впредь продолжать свою работу с удвоенной энергией. Нельзя допустить разбазаривания этой суммы по мелочам. Часть денег отец вложил в показательные хозяйства, основанные им в России, часть пошла на нужды греков-переселенцев, обосновавшихся в Западной Фракии, а остаток он положил в банк на текущий счет, на случай экстренной помощи беженцам какой-нибудь другой страны. После смерти отца на текущем счету числился еще небольшой остаток этой суммы; он перешел в распоряжение Международного бюро труда.

10 декабря 1922 года в Нобелевском институте в Христиании состоялось торжественное вручение премии мира моему отцу. Зал был переполнен. Присутствовали: король, кронпринц, представители зарубежных стран, деятели науки, искусства и промышленности. Отец сидел в первом ряду. Ему уже шел седьмой десяток, седые волосы, кроткий взор, осунувшееся после напряжения последних месяцев лицо. Хотелось бы знать, какие мысли занимали его в те минуты. У него был такой замкнутый, почти отсутствующий вид, когда приглашенные занимали свои места. Да и могла ли радовать действительность, с которой приходилось сталкиваться отцу? Интересно, что думал он в глубине души о возможности сохранения мира? Только сейчас меня поразила мысль о том, какие громадные перемены произошли в жизни моего отца,— ведь за какие-нибудь несколько лет он в корне изменил характер своей деятельности, и как, однако же, ровно и спокойно выполняет он свои новые обязанности.



Появился председатель Нобелевского комитета и приветствовал собрание. Затем он предоставил слово профессору Фредерику Стангу, который должен был вручить премию лауреату. Речь Станга взволновала нас до глубины души; слушая его, мы впервые как бы воочию представили себе существование миллионов людей в Европе, он показал нам, с какими несказанными бедами отец вступил в борьбу. Может показаться странным, что до сих пор мы представляли себе характер его работы лишь в общих чертах, и все же это правда. Станг впервые заставил нас по-настоящему понять и оценить ее.

«Все мы у себя дома узнавали о событиях только из газет и работа Нансена представлялась нам лишь в отрывочных чертах. Мы видели, как ему давали одно за другим сложные трудоемкие поручения. Мы видели его комиссаром Лиги наций, ее представителем и правой рукой. Мы видели, как он вел переговоры почти со всеми странами Европы, видели, как он руководил бесчисленными миссиями. И все время он был в постоянном движении. В один прекрасный день мы узнаем из телеграмм, что он ведет переговоры с Ллойд Джорджем, потом слышим, что он поехал в Рим на прием к папе римскому. И вдруг он уже в России, куда приехал, чтобы своими глазами убедиться в размерах бедствия, вызванного голодом, а вскоре совещается с Советским правительством. То он выступает в Женеве на Ассамблее Лиги наций и выступает как поборник гуманизма, не зависящего от политических разногласий. То снова отправляется в путь, хотя недавно еще был в Константинополе и в Греции. И вот уже Нансен опять с нами, на родине. Если мы попытаемся единым взором окинуть весь его многогранный труд, то мысль наша станет в тупик, как это бывает, когда сталкиваешься с очень большими числами.

Мы еще можем себе представить одного голодающего, одного валяющегося под забором в ожидании смерти. Тут мы даже можем посочувствовать. Один беженец, даже группа беженцев, если угодно, с детьми и пожитками на тачке — это доступно нашему пониманию. Но миллионы людей, бесприютно скитающихся по земле, людей, у которых позади одни спаленные жилища, а впереди ничего, никакой надежды на будущее, — здесь наша мысль становится в тупик. Мы не представляем себе этой картины, перед нами лишь голые цифры. Благотворительность в интимном кругу, благотворительность в более крупных масштабах — по отношению к землякам, в пределах отдельной провинции — это постижимо, это мы понимаем. Но работа с целью спасти от голодной смерти миллионы людей, население целой части света — тут уже такие масштабы, такое множество разнообразных деталей, что мы становимся в тупик, мы не можем этого осмыслить.

Что поддерживает эту работу? Обычная государственная машина? Но разве ей такое дело по плечу? Или проснувшиеся вдруг в груди политических и государственных деятелей чувства помогли им развернуть такую кипучую деятельность? О нет! Истоки лежат куда глубже. Призыв дошел до самих народов, до самых глубин, до самых широких народных слоев. Напряжением всех сил удалось пробудить общественное мнение. Борьбу нужно было вести вопреки всяким соображениям политики, которые размежевали государства, классы, отдельных людей. Нужно было проникнуть в самые глубины человеческого сознания, которые неподвластны этим уловкам! К человеческим чувствам взывают достаточно часто, но политика взывает к ним редко. Зато те чувства, к которым она обращается, часто как раз сеют рознь между людьми: это эгоизм, подозрительность, жажда власти.

Работа продвигалась не быстро, и преодолеть все препятствия до конца не удалось. На борьбу с голодом и холодом поднялись горячие волны гуманности, пробужденные в человеческих душах, и им удалось поднять на себя тот груз трудовых свершений, которые стали событием в истории человечества.

В первых рядах борющихся мы видим и отдельных борцов, и целые организации, шаг за шагом пробивают они брешь в той стене, которая воздвигнута между страждущими и вожделенным спасением. Но среди этих бойцов выделяется один человек. Чего только не взвалили на его плечи! Какие требования не предъявлялись к его энергии, организаторским

способностям, инициативе, к его самопожертвованию и умению сложное сделать простым. Чего только не испытал этот человек, исколесивший всю Европу, стоявший лицом к лицу с бедствиями, обрушившимися на Европу, человек, исполненный чувства ответственности за все совершаемое!

И вот сегодня он с нами, и поток воспоминаний захватывает нас. За плечами у него жизнь, вспоминая которую мы особенно поражаемся его способности посвящать ее какой-нибудь одной идее и увлекать за собой других.

Вспомним его поход на лыжах — через всю Гренландию, который он совершил юношей, почти мальчиком. Он решил, что там, на Крайнем Севере, где гибли дорогостоящие экспедиции, снаряженные могучими державами,— там сможет выручить снаряжение норвежского спортсмена и привычка норвежца ко льдам и снегам. И он доказал свою правоту, пробился сквозь льды, поход его стал вехой в истории арктических исследований.

Мы помним его зрелым мужем, создавшим научную теорию о существовании течения, проходящего через Северный полюс с востока на запад. Почти все исследователи считали, что он ошибается. Но он рискнул жизнью ради торжества теории. Он «вмерз» во льды на востоке и дрейфовал по течению на запад через Северный полюс... И течение вынесло его куда следовало.

Не то же самое разве наблюдали мы в последнее время? Течение, в которое мало кто верил, снова вынесло Нансена, куда ему было нужно. Глубинное течение человеколюбия под толстым слоем льда, в который вмерзли целые государства и отдельные люди в своей повседневной борьбе и жизненных невзгодах. Он поверил в это течение, и эта вера помогла ему победить все трудности. Пусть же и впредь течение это несет нас вперед!»

Во время этой речи я посматривала на отца. Он сидел как раз напротив профессора Станга, как всегда склонив голову немного на бок, но взгляд его был обращен в глубь самого себя. Я слушала речь оратора, говорившего взволнованно, но ясно и убедительно. Все встали, когда Станг вручал отцу премию. А потом отцу пришлось выступить с ответной речью:

«Профессор Станг наговорил тут много лишнего. Не о самой работе, а о моем участии в ней,— начал Нансен, когда присутствующие уселись на места.— Если проделанная работа заслуживает признания, то это прежде всего заслуга тех, кто помогал мне,— как организаций, так и частных лиц. Прежде всего я назову Лигу наций, затем Международную организацию Красного креста в Женеве и американское общество Красного креста. Нужно упомянуть и другие общества Красного креста, например шведское. Затем германскую правительственную организацию, оказавшую помощь транспортом, и Советское правительство, доставившее пленных до границы. Значительную помощь оказал и ряд отдельных лиц, работавшие на местах часто даже рисковали своей жизнью. Это был гуманный труд ради облегчения последствий войны, но он не может помешать развязыванию новой войны. А цель борьбы за мир именно в этом. Лигу наций критиковали за то, что ее усилия были больше направлены на первое, чем на второе. Но все-таки и наша работа имеет значение как средство предотвращения войн в будущем, поскольку она помогает пробудить чувства братства и любви к ближнему. Оглядевшись вокруг, мы приходим к выводу, что положение в Европе ужасно и в будущем не сулит ничего хорошего. В отношениях между классами и между народами царят чувства эгоизма и подозрительности. Великая война, которая будет последней войной,— что стало с этими громкими словами? По-моему, эта война яснее, чем все предыдущие, доказала, что войны никогда не приносят добра, даже победителям. И все же находятся дикари, которые говорят о следующей войне, говорят, хотя знают, что эта война принесет только разрушение. Она приведет Европу к гибели.

Мы идем по пути, возвращающему нас к варварству. Если вы поедете во Фракию, вы увидите, как целый народ бредет по дорогам, унося с собой свои пожитки, и поймете, что мы вернулись к временам переселения народов. Мы дошли уже до того, что с полным спокойствием способны говорить об уничтожении целых народов.

Средство спасения найти нелегко, но надежду придает нам Лига наций. Если и она окажется ложной, то, значит, все погибло».

Высказанный здесь призыв проникнуться доверием к Лиге наций явился основной мыслью его второй нобелевской речи, с которой он выступил в актовом зале спустя неделю. Он, напомнил слова Акселя Оксеншерна[209] по поводу переговоров о Вестфальском мире[210]: «Знал бы ты, сынок, как мало мудрости правит миром».

«В последнее время мы были свидетелями следовавших друг за другом дипломатических и политических конгрессов. Приблизил ли нас хоть один из них к решению проблем? Вот и сейчас заседает конгресс в Лозанне. Будем надеяться, что он принесет нам долгожданный мир на Востоке, и тогда хоть одним сложным вопросом станет меньше.[211] Ну а как же с главной бедой, с главным недугом?

Ходят Слухи о том, что хозяева германской промышленности не желают установления нормальных отношений с Францией, что они намереваются продолжать свой нечеткий, изменчивый курс. Тогда марка будет падать и дальше, и немецкая промышленность сможет существовать по-прежнему. А если наведут порядок, то марка стабилизируется и немецкая промышленность рухнет, будучи не в силах выдержать конкуренции.

Правда ли это или нет, но уже сам факт возникновения подобных слухов наглядно свидетельствует о том, что все европейское общество давно уже стало и остается мячиком в руках бессовестных спекулянтов-жонглеров — политических спекулянтов, финансовых спекулянтов, идиотов, может быть недочеловеков, которые не понимают, к чему все это ведет. И тем не менее европейское общество всецело в руках спекулянтов, которые жонглируют его жизненными интересами.

А чего ради? Только ради власти.

Посмотрев вблизи на страшную нужду, царящую в нашей плохо управляемой Европе, невольно почувствуешь, что теперь нужны не программы, не бумага. Нужно действие, настойчивый и кропотливый труд, для того чтобы заново построить наш мир. Я вижу единственное спасение в сотрудничестве всех народов. Путь к достижению этой цели проходит, по-моему, через Лигу наций. Но имеем ли мы право возлагать на нее такие большие надежды? Что сделала она до сих пор для укрепления мира и доверия? Однако, задавая такой вопрос, нужно помнить, что она еще молодое деревце, которому легко может нанести вред стужа недоверия, она может приостановить его рост. Мы должны помнить, что Лига обретет полную силу лишь тогда, когда охватит всех, включая те большие страны, которые пока еще в нее не входят. Но даже сейчас эта столь короткое время существующая организация может сослаться на дела, которые указывают путь к светлому будущему. Она может сослаться на то, что за недолгое свое существование уже разрешила ряд конфликтов, которые в противном случае привели бы если не к войне, то во всяком случае к серьезным волнениям.

Уже то, что Лига наций создала постоянный международный суд, является значительным шагом к установлению доверия между народами. Но величайший и самый важный шаг Лиги — это, по-моему, то, что на предыдущей сессии в Женеве она стала посредником в деле получения займа для Австрии, которая теперь будет спасена от угрожавшего ей экономического краха. А это позволяет надеяться на большее. Это позволяет надеяться на установление новой, многообещающей линии в экономической политике Европы.

Следует упомянуть о ведущейся сейчас работе по оказанию помощи страждущим беженцам Малой Азии и Греции. Она только еще начинается, но я надеюсь, что и эта работа будет иметь очень большое значение. Положение сейчас таково, что там назревает невиданный в Европе хаос и отчаяние. Если нам удастся ослабить его, если эту раковую опухоль удастся хоть в какой-то степени вылечить, значит, на Европейском континенте станет одной раковой опухолью меньше, одной причиной для беспокойства меньше, одним источником раздоров, разрушительных сил — меньше.

Наконец, несколько слов о помощи России. Здесь Лига наций не приняла участия, и я глубоко об этом сожалею. Я верю, что если бы Лига наций оказала здесь свою поддержку, то положение в России было бы спасено и обстановка как в России, так и во всей Европе была бы сейчас совсем иной, лучшей.

Но почему же нашлись такие, которые не желали помочь? А вы спросите их. В первую голову тут повинны политики. Это представители упрямого самодовольства, которое не желает понимать инакомыслящих, и они сейчас представляют величайшую опасность для Европы. Нас они зовут мечтателями, добрячками, сентиментальными идеалистами, только за то, что мы верим в добро. Ну, пусть мы легковёрны, но, по-моему, это не так уж опасно. Но те, кто упрямо закрывается своими политическими программами и ими отгораживается от страждущего человечества, от миллионов голодающих, умирающих людей,— вот кто погубит Европу.

Близится светлый час рождества, когда звучит призыв, обращенный ко всему человечеству: «Мир на Земле!»

Никогда еще страждущее человечество не ждало с такой тоской, как сейчас, вестника мира, провозвестника человеколюбия, вздымающего белое знамя, на котором сверкающими золотыми буквами начертано: труд.

Каждый из нас может стать тружеником в его войске, которое победоносно пройдет по Земле и взрастит на ней новое поколение».

## XV. В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ

« Не сделаешь ли ты мне одно одолжение?— спросил меня как-то отец в феврале 1924 года.— Поди, пожалуйста, в «Тиденс Тейн» к своему приятелю Рольфу Томмесену и скажи ему, что пора бы уже напечатать ту статью, которую твой отец давно уже передал в газету».

Статья была посвящена гренландскому вопросу,<sup>[212]</sup> вокруг которого за последние годы разгорелась политическая борьба между Данией и Норвегией и которому в общественных кругах Норвегии придавалось большое значение. Дания претендовала на всю Гренландию; это вызвало большое возмущение норвежской общественности, причем она в этом споре опиралась на аргумент, заключавшийся в том, что Норвегия должна защитить от посягательств свои законные права на промысел в этом районе. В 1923 году датскому правительству была направлена нота с предложением начать переговоры, и обе стороны занялись обсуждением спорных вопросов, не касаясь, однако, важнейшего с точки зрения международного права вопроса о суверенитете.

Отец не одобрял этого и считал, что сейчас высказывать какие-то претензии к Дании несвоевременно. С этих позиций и была написана его статья, которую он передал Томмесену, стороннику противоположного мнения.

Любезный и обаятельный Рольф принял меня хорошо, но совершенно очевидно было, что статья моего отца ему не по вкусу и печатать ее он не торопится. У Нансена небось столько хлопот во всем мире, думал он, наверное, что на сей раз пусть он предоставит решать наши домашние дела тем, кто давно уже и горячо за них борется.

Однако же Нансен отнюдь не перестал интересоваться норвежскими делами, хотя и был теперь занят задачами европейского масштаба. Он считал, что национальная гордость может выражаться разумнее, чем воплями о том, что Норвегия утратила за сотни лет,— Бухюслен, Хэрьедален, Гренландию, Фарерские острова и Исландию,— или переименованием Христиании в Осло, перенесением праха Торденшельда в Норвегию и прочими пустяками.<sup>[213]</sup> Напротив, если Норвегии сейчас придется взять на себя ответственность за управление населенным западным побережьем Гренландии, это будет национальным бедствием. В лучшем случае мы это сделаем не лучше датчан, а скорее всего даже хуже, поскольку у нас нет никакого опыта. Подумать только, каких это потребует затрат! Захотят ли норвежцы тратить такие суммы, какие затратила на Гренландию Дания

за последние пятьдесят лет? «По-моему, в Норвегии есть такие районы, на которые мы можем потратить свои излишки с куда большей пользой».

Но больше всего его возмущала несправедливость по отношению к эскимосам. В этом споре о них совсем не подумали:

«Законные хозяева этой страны — эскимосы, их интересы имеют здесь решающее значение. Лучше всего будет, если и датчане, и норвежцы, да и остальные народы отступятся и оставят эскимосов в покое, без европейского вмешательства. Из опыта давно уже хорошо известно, что под влиянием белой расы и ее «культурной деятельности» первобытные народы разлагаются и в конце концов гибнут.

В других, более благоприятных зонах такое вытеснение и уничтожение оправдывали тем, что, мол, туземцы сами не умеют использовать богатства своей страны. Если отнимут землю у эскимосов, а их самих погубят, не будет и этого оправдания. Самые самодовольные европейцы не посмеют утверждать, что они в конечном счете сумеют использовать эту землю значительно лучше, чем эскимосы. Говорят о какой-то горстке эскимосов. Эта горстка сейчас составляет 10 тысяч! Интересно, сколько европейцев прокормит Гренландия, если исчезнут эскимосы. Тогда там действительно будет горстка людей, к тому же очень маленькая».

Рольф Томмесен поступил, как всегда, благородно и поместил эту статью на следующий день после разговора со мной. Заканчивалась она словами Нансена о том, что во время этого датско-норвежского спора ему часто вспоминалось письмо, которое один эскимос написал священнику Паулю Эгед, сыну Ханса Эгед[214], в 1756 году. Эскимосы узнали о том, что англичане и французы воюют и убивают друг друга.

«Когда я через переводчика спросил у шкипера о причине такой бесчеловечности,— пишет эскимос,— он ответил, что война идет из-за земли (Канады), которая лежит напротив нашей земли, от нее туда плыть три месяца. Тогда я подумал, что у них не хватает земли и жить негде, но он сказал — нет, просто важные господа желают подчинить себе побольше земель и народов. Я так сильно удивился такой жадности и так испугался, что она обратится на нас, что чуть не потерял душу... Но потом я себе сказал: «Слава богу! Мы бедны и не имеем ничего, на что могли бы позариться жадные каблунаки (европейцы)... Какие мы счастливые люди, что лишены такой сильной прирожденной жадности!» Я частенько дивился, глядя на христиан, и не мог их понять. Их учителя поучают нас, как надо избегать дьявола, которого мы и не знали, а озорники-матросы просят дьявола, чтоб он их взял и разразил. И если бы я сам не знал многих хороших и порядочных христиан, то пожелал бы, чтобы мы лучше никогда их не видели, чтобы они не могли портить наш народ».

Гренландия — Гренландией, думал отец, а у нас есть задачи и поважней. Многим районам грозило разорение. Государственный долг был так велик, что даже проценты на него превышали весь прежний бюджет. Долг с каждым годом все возрастал, и не предпринималось никаких шагов к тому, чтобы как-то исправить положение.

В это время Нансен познакомился с молодежью, интересующейся политикой. Один из них, инженер Юаким Лемкуль, приезжал в Пульхёгду, чтобы ознакомить отца с проектом новой политической организации. Мысли, высказанные им, для отца были не новы. Он увидел в этой программе свою заветную мечту «сплотить норвежский народ» — города и села, все партии, все сословия. Отец считал, что в этом заключается единственная возможность спасения «нашего тонущего корабля».

После совещания у Миккельсена в Гамлехаугене в 1925 году был образован Отечественный союз. В его программе выразилось стремление старых соратников по 1905 году упрочить будущее Норвегии... На учредительном собрании в Бергене выступил Миккельсен, а в нашей столице, которая с 1925 года была переименована в Осло, выступил Нансен. Через несколько месяцев Миккельсен скончался, и теперь Нансену предстояло продолжить эту работу, пока позволят силы.



Отечественный союз ставил своей целью поднять экономику и промышленность страны, а имя Нансена стало знаменем, вокруг которого спланивался он в первые годы своего существования. Даже те, кто не вдавался особенно в политические цели союза, шли за Нансеном, и при жизни отца в него входило много бескорыстной молодежи. Самый большой митинг состоялся на стадионе в Тёнсберге летом 1928 года. Послушать выступление отца собралось тысяч пятнадцать народу. Мы с ним стояли наверху и смотрели, как сюда приближалось от города длинное факельное шествие. Красивое это было зрелище в светлый летний вечер. Когда отец, все еще гибкий и стройный, направился к трибуне, все разом стихло.

Самое горькое в нашей истории, говорил отец,— это наша неспособность объединиться. Сам он не политик, а потому не ослеплен пристрастиями и может яснее взглянуть на все происходящее. Партийная раздробленность, по его мнению, представляет собой наибольшую опасность для нашей страны. Она неестественна и нездорова. наших хейре и венстре разъединяют сейчас пережитки тридцати—сорокалетней давности. Противоречия между остальными буржуазными партиями также несущественны. Но если противопоставить эти партии и партию коммунистов, то здесь действительно обнаруживается непреодолимая пропасть как в мировоззрении, так и в программе.

Сейчас наша задача — поставить на ноги экономику страны и создать человеческие условия для всех классов. Нам придется экономить на государственных расходах, чтобы начать выплату долга, и уменьшить бремя налогов. Сделать можно многое, отчасти даже малыми затратами, но одна партия с этим не справится. Тут все должны сплотиться.

Нужно использовать все присущие нашему народу таланты и особенности характера. Некоторые, думают, что мы должны громко заявить о своих забытых правах на какие-то области и страны. А это совершенно не годится. Подъем страны должен основываться на наших собственных, внутренних ресурсах, на их использовании и совершенствовании. «Так сплотим же всех норвежцев и норвежек, чтобы сообща добиться расцвета нашей родины и обеспечить будущее норвежского народа!»

Со времени первой мировой войны отец неуклонно верил в то, что политика крупного масштаба может объединить партии и народ вокруг важнейших национальных задач. К партийной политике он не питал уважения. Думаю, что ему и в голову не приходило, что можно представлять какие-то взгляды и интересы посредством существующих партий, они просто не существовали для него, он не верил, что с их помощью можно привести какое-то дело к победе. Он принимал всерьез споры между муниципалитетами и стортингом и не признавал за партиями их роли как проводников демократии и глашатаев воли народа. Так мне по крайней мере кажется сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое. Не знаю, может быть, отец достиг бы большего, если бы понял, что нужно не стоять вне партий, а самому заняться партийной политикой, с тем чтобы она стала более дельной и бескорыстной.

До мировой войны одно время казалось, что он близок к этой мысли. Он принял участие в создании партии Свободомыслящих венстре, которая возникла как оппозиция старым венстре. Но он не участвовал в деятельности партии и так и не научился подчиняться разумным партийным требованиям. В Отечественном союзе он тоже признавал только то, что соответствовало его собственному представлению об идеальном народном единении.

В то время, когда он боролся за создание этой партии, многие понимали его неправильно. Но он вовсе не был, как считали некоторые, сторонником фашизма, ни он, ни Миккельсен. Напротив, в Лиге наций он всегда выступал непримиримым противником Муссолини, в принципе отрицая политику силы. Не был он и «врагом коммунизма», как говорили другие. Он не верил в необходимость коммунизма в Норвегии, но признавал и понимал причину коммунизма в России и стремился судить о Советах справедливо.

Он был за *политику единения* — на рационалистической основе — и понимал под нею единение во имя главнейших интересов, такое единение, чья сила в разносторонности, при которой равны возможности всех сил и все они используются. Он не хотел отказываться от партий, но хотел

поднимать великие социальные вопросы, вокруг которых могли бы объединиться добровольно все партии.

В эти годы многие считали, что для Нансена есть достойные задачи на родине, среди этих людей были и некоторые партийные лидеры. Во время правительственного кризиса 1926 года была сделана попытка создать неполитическое коалиционное правительство во главе с Нансеном. Венстре и их лидер Юхан Людвиг Мувинкель[215] ушли в отставку, Ивар Люкке[216] должен был создать правительство большинства в коалиции с Крестьянской партией, но Крестьянская партия отказалась войти в правительство без венстре. В это время независимо от стортинга было высказано предложение сформировать правительство во главе с Нансеном. Предложение исходило от руководства Свободомыслящих венстре, и, вероятно, авторами его были Ула и Рольф Томмесены из газеты «Тиденс Теин». Во всяком случае, предложение было подписано Рольфом Томмесеном и вручено представителям буржуазных партий стортинга. В качестве программы этого правительства предлагалось стабилизировать финансы.

Лидеры хейре, венстре и свободомыслящих венстре в парламенте единодушно решили не принимать предложения, но сперва Люкке должен был узнать, что думает о таком Правительстве стортинг. Он готов был лояльно отнестись к этой мысли, если окажется, что под ней есть политическая почва в лице большинства стортинга. Однако такой почвы не нашлось, к тому же и хейре, и венстре возражали, и тогда Ивар Люкке сам составил правительство.

Опытные парламентские деятели говорят, что план был ненадежным и преждевременным. В Норвегии еще не было правительства, которое было бы образовано независимо от партий, представленных в стортинге. Отец тоже не относился к нему серьезно, но сама идея была ему по душе, и, насколько мне известно, он не ответил категорическим отказом. Он поставил условие, чтобы это предложение было единодушно принято всеми буржуазными партиями, не питая никаких иллюзий относительно такой возможности. Люкке сказал, что сам он всячески отговаривал Нансена от этой затеи. Вероятно, как раз в такой момент я неожиданно появилась в Пульхёгде. Адвокат К. Ф. Мишле, бывший государственный советник от партии Хейре, сидел у нас в холле и беседовал с отцом.

Я сразу же поняла, что между ними шел оживленный спор. Наконец Мишле открыл последнюю карту: «Брось, Нансен,— услышала я,— ты не политик, для тебя попасть в правительство ничего не значит. А я вот, к примеру, в политику влюблен. Жить без нее не могу». Отец просиял, как солнышко. Он согласен, совершенно согласен. Для него это ничего не значит, напротив, для него это даже жертва. Он бы рад от этого избавиться.

«Ах, я, наверное, помешала?»— сказала я и хотела уже удалиться. «Что ты, не уходи никуда, дружочек!— горячо сказал отец.— Мы уже наговорились, иди сюда, посиди с нами. Попьем, пожалуй, чайку».

Мишле тоже стал меня уговаривать остаться. Он был весел, любезен и совершенно счастлив результатом своей беседы с отцом.

На следующий год началась новая кампания. Отца выставляли кандидатом в депутаты стортинга от Акерсхуса. Целая депутация во главе с Рольфом Томмесеном отправилась в Телемарк, где в это время охотился отец. Депутация как раз подошла к охотничьей хижине, когда появился отец с ружьем на плече и с полным ягдташем белых куропаток. Он был в превосходном расположении духа и весело приветствовал гостей. Но услышав, для чего они предприняли такую далекую поездку, он только улыбнулся и покачал головой. «Ну что ж, во всяком случае утро вечера мудренее»,— ответил он, чтобы не слишком огорчить их.

Наутро он ответил категорическим отказом, как они и ожидали. Но вечер прошел удивительно хорошо, и все сочли, что ездили не зря. К тому же он подарил им целую охалку куропаток.

«Вот вы и вернетесь не с пустыми руками», сказал отец на рощанье.

Мысль о том, чтобы нам с Андреасом строиться на земле Пульхёгды, скоро приняла реальную форму. Отец вместе с нами отметил участок под дом и выбрал для него место. Архитектором был

старый приятель из люсакерского кружка — Арнстейн Арнеберг. Мы попросили его сделать эскизы, и отец с живым интересом рассматривал аккуратные чертежи. Когда приступили к строительству, он то и дело приходил на площадку и радовался, глядя, как растет дом.

Но дом строился несколько лет. Когда — в 1925 году — мы оконiec в нем поселились, нашей дочке Еве исполнилось уже два года, и они с дедушкой стали большими друзьями.

Отец очень любил детей, да и его все дети любили. Но дедушкой быть ему еще не приходилось. Теперь у него были родные внуки, и он мог шаг за шагом наблюдать их развитие, не неся при этом трудных и ответственных обязанностей воспитателя. Да, впрочем, он и не считал, что тут нужно какое-то воспитание. Ева была, на его взгляд, совершенством. Дорожка между нашими домами теперь служила для прогулок дедушки и внучки. Никто из нас не смел нарушить уединение отца в башне, никто, кроме Евы. Вдруг раздается звонкий голосок в телефонной трубке: «Это я, дедушка!» И сразу же скрипят половицы в его кабинете. «Подожди, малыш, сейчас иду», — отвечает дед, а сам уже надевает шляпу. И рука а руке они выходят из дому.

Отец хотел, чтобы Ева как можно чаще завтракала и обедала с ним. Ее место было рядом с ним, даже если к обеду бывали гости. Он сам ухаживал за ней во время еды. Если бы никто не мешал, он, наверное, стал бы кормить ее с ложечки. Что бы она ни сказала, казалось ему замечательным. Любимой шуткой у них было: «Какой каши хочешь — рисовой или березовой?» — «Ну да, дедушка, разве ты мне дашь березовой каши!»

Если Ева целый день не приходила в гости, он прибегал сам: «Ну, где девчушка? С ней ничего не случилось?»

А перед тем как уйти, обязательно с ней поиграет. Часто он пeсeдoвал о чем-нибудь с зятем. Хорошо, когда с новым сыном можно поговорить обо всем на равной ноге. Коре и Одд давно уже вышли из «детского» возраста, но трудно отцу привыкнуть к тому, его родные сыновья уже стали взрослыми мужчинами и имеют право голоса.

Когда я вернулась из Америки, Одд жил в Тронхейме. Но в каникулы он приезжал домой и наполнял оба дома, особенно наш с Андреасом, песенками и остротами из студенческих капустников. Способности у него определенно были. Мы очень веселились, да и отец тоже не мог удержаться от улыбки, но в то же время все это очень его заботило. «Такой талант опасен! — говорил он хмурясь. — Никогда не бывает, чтобы из людей с такими развлекательными талантами получалось что-нибудь путное. Попробуйте, назовите хоть одного». Я тут же называла нескольких, но только портила все дело. Эти-то? Да это же роскошное подтверждение его теории!

Бывали моменты, когда отец искренне веселился шуткам своего сына. Но стоило ему задуматься над ними, как веселье проходило. И когда тетя Малли однажды очень серьезно сказала: «Поверь мне, мальчику надо было стать актером», — он совсем вышел из себя. — Актером! Дальше некуда! Второсортный актеришка! Что может быть хуже?

«Да отчего же второсортный?» — спросила его тетя Малли. Она была уверена, что Одд стал бы великим актером. У него же все задатки — драматический талант, юмор, способности, великолепный голос, прекрасная сценическая внешность. Но все было напрасно. Актерское искусство — ненастоящая работа, во всяком случае не для его сына. Подумать только о театральных нравах!

Но Одд все это пропускал мимо ушей и по-прежнему вел вольную студенческую жизнь в Тронхейме. Впрочем, это не помешало ему хорошо сдать выпускные экзамены. Теперь он стал дипломированным архитектором, и отец наконец успокоился и не скрывал своего удовольствия и гордости. Он даже к актерам стал относиться более терпимо.

Вскоре Одд справил помолвку с Кари Хирш. Отцу предстояло познакомиться с невесткой. Нужно было устроить так, чтобы встреча прошла непринужденно, по-домашнему, и мы решили, что лучше всего, если это произойдет в один из вечеров. Кари и Одд были уже у нас, когда мы слышали в прихожей шаги отца. Кари, только что такая храбрая, вдруг перетрусилa и, вконец растерявшись, спряталась за моей спиной. Отец вошел и вопросительно оглядел комнату, ведь он, кажется, пришел знакомиться с будущей невесткой? Он подошел ко мне, поздоровался, и я почувствовала, как сзади Кари вцепилась в пояс моего платья. И тут ей пришло в голову правильное

решение. Еще не успев разглядеть ее хорошенько, отец почувствовал, как ее руки обняли его за шею, и тут же получил поцелуй в щеку. Он сразу же растаял, и Кари навсегда завоевала его сердце.

В этом же, 1925, году Имми занялась живописью и стала учиться в Академии у своего будущего мужа профессора Акселя Револьда. Отец с живым интересом следил за ее успехами.

«Моя младшая дочь — художница»,— говорил он с гордостью, когда его спрашивали о детях. Имми была отличным товарищем на охоте, на рыбалке, в походах, и не раз сопровождала его в поездках.

Возвращаясь на родину, он радовался, что снова увидит внучку. «Передай привет красавице Евочке и скажи ей, что в первое же утро я жду ее к завтраку»,— писал он нам.

В 1927 году, когда родился наш первый сын, тоже было немало радости. Дед взял младшенького на руки. «Крепенький парнишка, из него будет толк»,— сказал он. Но пока его больше интересовала Ева.

Имя мальчику дали лишь спустя полгода. Вообще-то нам не хотелось называть ребенка в честь кого-то, но как-то естественно Ева была названа в честь моей матери. Мне это казалось долгом по отношению к маме, которая не раз говорила мне: «Правда же, если у тебя когда-нибудь будет дочка, ее будут звать Евой?» И я обещала, что так и сделаю.

По справедливости следовало бы назвать мальчика в честь кого-нибудь из семейства Хейеров. Но Андреас сам попросил меня, чтобы сына назвали в честь моего отца.

«Наверное, это его порадует»,— сказал он. «Нет, что ты, отец не любит, когда называют детей в честь кого-то»,— возразила я убежденно.

Но оказалось, что я ошиблась. Отец не мог скрыть свою радость.

«Но послушайте, детки, разве это, по-вашему, подходящее имя для невинного младенца?»— сказал он, широко улыбаясь. «Было бы неподходящим, если бы дальше писалось Нансен»,— ответила я.— Но Фритьоф Хейер, по-моему, звучит неплохо.

Отец сказал, что, пожалуй, это звучит сносно.

Фритьоф подрастал, и дедушка с интересом следил за его развитием. Как и Ева, он был голубоглазый, светловолосый, только покрепче и поглубже. Он всегда громко заявлял о своем возмущении, если ему чего-то не давали, и никто не мог уговорить его походить ножками, пока он сам того же не пожелал. Но в один прекрасный день он вдруг перестал держаться за предметы и пошел по комнате так, точно давно привык ходить сам. Я тут же позвонила по телефону отцу, и он прибежал с фотоаппаратом. Мы вывели Фритьофа на веранду, и он победителем топал там по неровному каменному полу, а дедушка фотографировал его со всех сторон. (41)

Ева тоже дивилась на это чудо и несколько не завидовала вниманию, которым сегодня пользовался братишка, даже дедушку не ревновала.

Когда Фритьоф подрос, они с дедушкой стали играть в снежки и кататься на финских санях. Была у них одна любимая игра. Дедушка насупится и сделает страшное лицо. «Бэээ!»— гудит он страшным басом. «Бэээ!»— вторит ему во всю мочь своих легких Фритьоф и старается сделать такое же страшное лицо. Только лобик никак не хочет морщиться, как у деда.

Отец теперь редко устраивал у себя приемы, зато он часто запросто приходил к нам, когда у нас бывали гости. Мы с удовольствием приглашали его старых друзей — они были и нашими друзьями — и давали им возможность встречаться с молодежью. Вереншельд, Ула Томмесен, тетя Малли, Торуп и Анна Шёт и многие другие никогда не отказывались от наших приглашений, и вечерами у нас бывало весело.

Иногда мы устраивали музыкальные вечера. Давид Монрад-Юхансен[217] играл Грига и собственные сочинения, у отца были любимые пьесы. Помнится, особенно его очаровал «Свадебный марш во сне» в сюите Монрада Юхансена «Сюита Гудбрансдаля».

«Вот это я хотел бы услышать, когда буду умирать»,— сказал отец.

Когда Исай Добровейн[218] дирижировал «Пророчеством Белы» Монрада Юхансена, отец тоже пошел в концерт и был в таком восторге, что охотно отправился со мной в артистическую

поздравить композитора и дирижера. Добровейн, давно уже мечтавший о встрече с героем своего детства, не поверил своим глазам, увидев в толпе поклонников отца. Как зачарованный смотрел он на высокого человека, который улыбался ему и сам тоже был смущен. Добровейн не мог вымолвить ни слова.

Впоследствии он бывал у нас, встречался с отцом, исполнял народную русскую музыку. Наезжая в Россию, отец познакомился с этой своеобразной музыкой и мог часами слушать ее, забыв все на свете. Он любил рассказы Добровейна о русской народной музыке и ее традициях и порой задавал такие вопросы, что даже Добровейн не мог на них ответить.

Иногда мы играли в бридж, и отец веселился как ребенок. Игрок он был неважный, правила и тактика его не интересовали. Зато азарта у него было в избытке.

А лучше всего бывало, когда мы собирались вокруг камина и отец принимался рассказывать. Тут он приходил в отличное настроение и все время смеялся. Он охотно вспоминал былое и часто возвращался мысленно к детским дням и к Готхобу. Если мы были в более тесном кругу, то он часто рассказывал нам о маме. В его рассказах все представлялось как живое.

Когда его что-нибудь тяготило, он искал предлога, чтобы зайти к нам. Как-то рано утром я увидела его в саду, он прохаживался по дорожке и смотрел на деревья. Время для визита было необычное, и поэтому я подумала, что, наверное, у него что-то важное, и пошла ему навстречу.

«Да это ты, дружок!— сказал он удивленно.— А я просто прогуливаюсь. Вот увидел на деревьях засохшие ветки. Нужно бы их спилить». Я зазвала его в дом, и тут мы разговорились.

Он часто казался усталым и смотрел тем отсутствующим взглядом, который у него был верным знаком того, что ему невесело. Однажды вечером мы стояли во дворе, он собирался уходить и все никак не мог заставить себя уйти. Над нами сверкало звездное небо, и он стал показывать мне созвездия и говорить их названия. Потом он принялся философствовать о том, как ничтожны наши печали и огорчения перед лицом вселенной.

«Но все-таки неплохо было бы, если бы твоя жизнь на *этой* планетке была повеселей»,— сказала я. «Нет, меня ты не жалеешь, дружок,— возразил он тут же.— Моя жизнь вот здесь, наверху»,— и с этими словами он постучал себя по лбу.

Но даже малышка Ева по-своему, по-детски замечала, что дедушка нередко выглядит усталым и недовольным. Часто, когда он беседовал с нами, она забиралась к нему на колени, и вот однажды она внимательно вгляделась в его морщинистое лицо. Потом нежно погладила его ручкой по щеке: «Ты немножко старенький, дедушка?»

Он растроганно склонился к ее головке. «Милый малыш,— сказал он.— Да, так и есть. Дедушка твой и впрямь стал *немножко* старенький».

На рождество Ева получила в подарок сказки братьев Гримм, на книжке дедушка написал: «Милой Евочке с сердечными пожеланиями всего лучшего в ее путешествии по сказке жизни от «немножко старенького» дедушки. Сочельник 1928».

Ева стала уже учить буквы, и дедушка из всех поездок присылал ей открытки. В 1929 году он надолго уехал с лекциями в Америку, и оттуда все время приходили весточки.

«В поезде по дороге в Сиэтл, 11.3.29

Милая, дорогая моя Ева, вот я еду через высокие горы по Америке и завтра приеду на западное побережье к Тихому океану и буду от тебя по другую сторону Земли. Но скоро я уже вернусь и увижу тебя. И тогда ты придешь ко мне завтракать, а потом мы вместе пойдем гулять. Передай приветы братику и папе с мамой, а тебе поцелуй от дедушки».

Из этой же поездки он послал письмо швейцарскому писателю Фритцу Вартенвейлеру, который писал тогда книгу об отце и попросил у него кое-какие сведения.

«В поезде по дороге в Дейтон, Огайо, 22.3.1929 .

..Вы спрашиваете, какова была Ева? Ах, она умерла больше двадцати лет тому назад (в 1907 году). Какая это была утрата, я даже сказать не могу. У моей дочери Лив двое детей,



старшая — девочка, ее зовут Ева. Ей теперь 6 лет, и она прелестна, и, конечно же, маленький тиран своего дедушки...»

Да, для отца это было счастье — возвращаться домой к внукам. Но не только это радовало его дома. В последние годы жизни он стал заниматься литографией.

В молодости, будучи зоологом в Бергене, он одно время колебался, что ему делать дальше — продолжать ли заниматься наукой или стать художником. Он выбрал первое, в основном потому, что не хотел бросать того, что уже начал. Но искусство по-прежнему не давало ему покоя, и он самостоятельно иллюстрировал свои научные труды, а впоследствии некоторые из своих книг. Теперь он по совету Эрика Вереншельда стал больше заниматься рисованием и литографией. И увлекся этим так же страстно, как в юности, когда учился в Бергене у Ширтца.

Его очень занимала техническая сторона литографского дела. Многому он научился у Вереншельда, а узнав, что в Осло проездом должен быть известный датский литограф П. В. Йохансен, он познакомился с ним, чтобы еще научиться. По словам Йохансена, у него никогда еще не было такого усердного и интересного ученика. Отец радовался как мальчишка, видя, что делает успехи.

Но когда Вереншельд всерьез посоветовал отцу устроить выставку, отец решительно отказался. Он прекрасно сознавал предел своих возможностей и не преследовал иных целей, как только научиться и эту работу делать как можно лучше. Сюжеты взяты в основном с фотографий, только белых медведей он рисовал по памяти. Их-то он знал, а ими как раз больше всего и восхищался Вереншельд.

Во всяком случае, эта работа была для него хорошим отдыхом. Отец не умел отдыхать иначе, как занявшись чем-нибудь таким, что полностью захватывало его. Даже когда он с Имми летом 1928 года отправился на рыбалку на хутор Хакули в Телемарке, он не мог обойтись без работы. Тогда он засел переделывать для детей свою толстую книгу «На лыжах через Гренландию».

Но он занимался и серьезными вещами. Его терзала мысль, что его изыскания Северного морского пути так и не были завершены. До самых последних дней он лелеял мечту самому закончить эту работу. Он собирался лететь к Северному полюсу на дирижабле Гуго Экенера «Граф Цепелин». (43) С дирижабля команда могла высадиться, поставить палатки на льду и оттуда производить наблюдения.

Было основано общество «Аэроарктик», а его председателем избран Нансен, Нансен же был издателем его журнала «Арктика», в котором и поместил ряд своих статей. Он горячо участвовал во всей подготовительной работе: конструировал и испытывал новые инструменты и аппараты, обдумывал снаряжение: так, он сам сделал чертежи палаток, которые предполагалось использовать для полярных станций. Пока строился воздушный корабль, он сам лазил по лесам, чтобы как следует разобраться в конструкции.

Он же вел переговоры о предстоящей экспедиции в Ленинграде, Берлине и Нью-Йорке. В ноябре 1928 года он подписал контракт с доктором Экенером и германским правительством, согласно которому воздушная экспедиция должна была начаться в апреле — мае 1930 года. Но необходимые денежные средства еще не были собраны, и весной 1929 года он отправился в Америку с чтением лекций, чтобы привлечь к экспедиции внимание.

Хотя вся экспедиция была рассчитана на несколько недель, самое большее на месяц, отец ожидал от нее значительного научного вклада. Он-то и интересовал отца. Конечно, отец всю жизнь тосковал по Ледовитому океану, но Лига наций и работа по оказанию помощи были важнее, чем его личные желания. К тому же теперь он понимал правоту дяди Эрнста, который после экспедиции на «Фраме» сказал, что «великое приключение не повторяется».

Отец не дождал до исполнения этого замысла, а потому интерес к экспедиции ослаб, и она так и не состоялась.

Мы не могли понять, откуда у отца берутся время и силы на все эти дела. Тетя Малли смотрела на него, как на неземное существо. Она все больше прихварывала и жаловалась на боли и

бессонницу. Но за планами отца, а особенно за его работой по оказанию помощи страдающим людям, она следила с пламенным восхищением. «Замечательный Нансен» по-прежнему был к ней внимателен и частенько навещал ее просто так или чтобы дать совет, когда у тети Малли возникали какие-нибудь практические затруднения. А внуки его были радостью и для тети Малли.

«Ну, каков твой сынишка!— говаривала она, когда я приходила в гости с Фритьофом.— Он ведь похож сразу и на отца, и на дедушку. Вот посмотришь, из него получится что-то особенное, жаль только я не доживу».

Дядя Оссиан скончался в 1928 году. Он умер так же тихо и скромно, как жил. Он дожил почти до 90 лет и до конца оставался бодр духом и телом. Дядя Улаф поселился в его квартире, и, будучи человеком мягким и приветливым, умеющим находить хорошее в жизни, он стал для тети Малли большим утешением. Но она тосковала по тем, кого утратила, и все время говорила о смерти. Весной 1929 года она была даже довольна, что заболела. И только мечтала отойти так же тихо, как дядя Оссиан.

Но ей суждены были долгие и тяжкие мучения. Под конец она надолго впадала в забытие. Я сидела рядом с ней, сколько мне позволяло время, и очень хотела, чтобы мне дано было держать ее руки, когда к ней придет смерть. Придя в себя на миг, она глядела на меня измученным взглядом и говорила: «Ах, Лив, я так огорчена».

Ей много раз пришлось еще огорчаться, и наконец июньской ночью она заснула и не проснулась. Мы с Андреасом сидели у ее постели. Вечером, накануне смерти, она нас узнала и поглядела нежным, но далеким-далеким взглядом.

В это время отец был в лекционной поездке по северной Норвегии на «Стелла Полярис». С ним были Сигрун и Имми, поездка прошла замечательно. Повсюду собирался народ приветствовать отца. И все время ему вспоминалось возвращение на «Фраме».

Под рождество того же года Имми вышла замуж за Аксея Револьда, и, значит, все птенчики вылетели из отчего гнезда. Отец устроил ей прелестную свадьбу и сказал на ней прекрасную прочувствованную речь. Но, провожая новобрачных на вокзал, он казался задумчивым и печальным. Они собирались ехать в свадебное путешествие в Египет и провести там всю зиму. Отца это очень огорчило, он привык уже, что младшая дочь бывает с ним в походах, путешествиях, а главное, дома, в Люсакере.

Когда появились внуки, рождество опять стало торжественным событием, и мы его отмечали всегда вместе. Главными были в рождественский вечер, конечно, малыши, и все права на них получал дедушка. Все втроем они ложились на пол, смеялись, болтали, разворачивали подарки. Дети очень радовались, если вдруг приезжал дядя Коре, который появлялся у нас изредка. Он рассказывал им об интересных приключениях в северных норвежских лесах и в русской тундре, где он несколько лет прожил в качестве служащего норвежско-русской компании. Он умел сыграть халлинг и слотт на скрипке-феле и на гармошке играл так, что к нему на веранду сбегались все соседские ребята. Иногда Коре приезжал с какой-нибудь барышней, и тогда он занимался детьми меньше, чем обычно. Отец только улыбался и всех его барышень находил молоденькими и хорошенькими. Но ни одну из них Коре не представил как будущую невестку. Коре нашел свою суженую в Канаде, через несколько лет после смерти отца.

Унылым вечером 1929 года мы прощались с Коре на Восточном вокзале. Отец выглядел совсем старым, когда, не говоря ни слова, стоял и качал головой. Коре тоже был взволнован. Его так манило новое приключение, но теперь его блеск потускнел. В тот вечер и он, и отец не ждали от будущего ничего хорошего. Казалось, они оба предчувствовали, что Коре уезжает из Норвегии навсегда и они никогда уже не увидят друг друга.

Кари и Одд давно уже перебрались за океан. В 1927 году, через несколько недель после свадьбы, они уехали в Нью-Йорк. Одд победил там на конкурсе архитекторов. Во время лекционных поездок, в 1928 и 1929 годах, отец побывал в их маленькой квартирке в Бруклине, ему там очень понравилось. К его второму приезду там уже появилась новая внучка. Особенное впечатление на него произвело то, как практичны и разумны современные матери. Кари заворачивала маленькую

Марит в шерстяное одеяльце и брала с собой в гости. Там ребенка укладывали в пустой спальне и он спокойно спал, пока взрослые обедали. Уходя домой, они забирали ребенка словно какой-то сверток. Отец все восхищался, как это просто и замечательно.

«А малышка-то — хороша?» — спросила я. «Конечно! Все малыши прелестные. И занятная будет, когда подрастет!»

Он еще не чувствовал себя стариком. Предстояло множество дел. Жизнь еще полна возможностей и очарований. И видя, как подрастает младшее поколение, он успокаивался душой. Конечно, мир, в который они пришли, не солнечен и не прост. «Бедняжки, — говорил он порой со вздохом. — Куда ни кинешь взгляд, на горизонте встают темные тучи. Но дети будут строить будущее и переделают мир так, чтобы жить в нем стало лучше».

## XVI. НАРОД, ЗАБЫТЫЙ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ

Нансену неоднократно приходилось помогать беженцам, но самое тяжелое впечатление произвела на него трагедия армян<sup>[219]</sup>. Этот храбрый, одаренный, высококультурный маленький народ на протяжении всей своей истории, начиная с древнейших времен, страдал от войн и всяческих бедствий, а в наше время на его долю выпали величайшие несчастья и судьба его сложилась так печально. И здесь немалая вина падает на Европу: не делалось никаких попыток изменить что-то, пока турки не принялись за планомерное уничтожение всего армянского народа. Затем, когда оставшиеся в живых пытались как-то устроить свою жизнь, руководящие политические деятели сделали вид, что забыли о существовании этого народа. Отец до конца своих дней не мог забыть разочарования, которое причинило ему бездействие Лиги наций. В предисловии к своей книге «По Армении», которая вышла в 1927 году, он писал:

«Я просто не могу представить себе, чтобы человек, узнав о трагической судьбе этого замечательного народа, не испытал глубокого потрясения. Хотя я удручен неполнотой предлагаемого рассказа, однако же надеюсь, что факты, изложенные на этих страницах, пробудят совесть Европы».

Древняя Армения, расположенная между Тигром и Араратом, занимала чреватое опасностями положение на рубеже двух частей света. Здесь проходили древние торговые пути, связывавшие причерноморские земли с Азией, и армяне, о которых еще Ксенофонт сказал, что это «миролюбивый, богатый и гостеприимный народ», в полной мере испытали, что значит иметь сильных и воинственных соседей. Подобно всем преследуемым народам, у них развились защитные черты характера. Терпение, трудолюбие и предприимчивость армян помогали им легко осваиваться в новых условиях, но эта же работоспособность и предприимчивость не всегда вызывали к ним дружеские чувства в странах, куда они эмигрировали и где пытались наладить новую жизнь.

Христианство было введено в Армении в первые столетия новой эры, и, несмотря на множество кровавых религиозных распрей, армянские христиане отличались своей сплоченностью. Их большие монастыри были центрами армянской культуры, и за свою верность христианской религии народ этот дорого расплачивался в столкновениях с турками. Непрерывно в страну вторгались полчища врагов, сгоняя население с насиженных мест, но оставшиеся в живых всегда возвращались из горных убежищ, из соседних стран и монастырей в свои разоренные гнезда, в опустошенную страну и начинали все сызнова. Так бывало всегда.

Земли между Малой Азией и Каспийским морем, населенные армянами, были после первой мировой войны поделены между Турцией и Россией. Обещаниями автономии младотурки пытались вызвать восстание армян против России, но их предложение было отвергнуто. Турки сочли это тайным сговором с Россией, и после поражения Турции в 1915 году вся досада и недовольство обратились против армянского меньшинства. Младотурки решили действовать радикально и раз и навсегда покончить с армянами. Такая политика была не нова. Так турки поступали и раньше. Еще в 1876 году Гладстон<sup>[220]</sup> выступил с протестом против турецкого террора, назвав его всемирным

позором. Десятки тысяч армян были убиты при Абдул Хамиде[221], и вот турки вновь готовили подобную резню, только большего масштаба.

Преследования начались в Киликии, которая не подверглась избиению при Абдул Хамиде. Около двадцати тысяч армян было изгнано в пустыни и болота. В остальных городах и селах дело обстояло примерно так же. В Ване армяне сопротивлялись насильникам, и министр внутренних дел Турции использовал этот «мятеж» как предлог для ареста всех служащих армянского происхождения в Константинополе. Шестьсот ученых, юристов, врачей, писателей и священников было выслано в Малую Азию; эти действия правительство объявило «временной мерой предосторожности», и высланным было обещано скорое возвращение. Вернулось восемь человек. Таким образом были уничтожены основные защитники интересов армянского народа и можно было приступить к выполнению задуманного[222].

«И вот в июне 1915 года разразились ужасы, подобных которым не знала история»,— пишет Нансен.

Из всех городов и сел Киликии, Месопотамии и Малой Азии изгонялись армяне. Потянулись бесконечные вереницы смертников. Предполагалось, что те, кто не умрет в дороге, погибнут затем от голода. Как только началось выселение, жандармы принялись убивать мужчин и мальчиков постарше. Женщин, детей и стариков гнали дальше, молоденьких женщин продавали по дороге тем, кто предлагал самую большую цену. Свирепствовал сыпняк, трупы валялись на обочине и отравляли воздух. Тех, кто не погиб в пути, угнали в сирийскую пустыню, где их ждала верная смерть.

31 августа 1915 года министр иностранных дел Турции мог заверить германского посла в Константинополе: «La question armenienne n'existe plus»[223]. Но он ошибался. Когда слухи о кошмарах, происходивших в турецкой Армении летом 1915 года, дошли до столиц Европы, они вызвали возмущение и ужас. Правительства Антанты пообещали армянам, что при условии, если те встанут на их сторону, после войны они получат назад свои земли. Со всего мира в союзные вооруженные силы стали стекаться армянские добровольцы. Более 200 тысяч армян сложили головы, сражаясь на стороне Антанты. Турки объявили их изменниками, хотя они боролись против палачей своего народа.

В 1918 году, после поражения Германии и Турции, армяне могли вернуться на родину. Союзники считали, что таким образом выполнили свое обещание. Но для обеспечения их безопасности нужно было ввести союзные войска в турецкую Армению. Это не было сделано. Турки вновь стали хозяевами в стране, и снова армяне были преданы. Наступил последний акт трагедии. В 1922 году, когда при Кемаль-паше из Малой Азии были изгнаны греки, в поток беженцев влилось много армян. Все их имущество было конфисковано, ценность его составила несколько миллиардов.

На сей раз жестокость не объяснялась даже религиозным фанатизмом, поскольку младотурки были почти совершенно неверующими. Армяне были изгнаны из Анатолии, а Европа спокойно на это взирала.

Тем временем в русской Армении народ со свойственным ему трудолюбием вновь принялся за восстановление своей опустошенной страны. Ряд организаций взялись за оказание помощи беженцам, наводнившим маленькую страну, и спасли тысячи детей.

Во время мирной конференции в Париже работал панармянский конгресс, состоявший из представителей армян разных стран. Было сформулировано требование о создании независимого государства, как то было обещано союзниками, и 19 января 1920 года Верховный совет мирной конференции постановил признать правительство армянского государства и предложил Лиге наций взять на себя защиту этой независимой республики как подмандатного государства. Но Лига наций ответила, что не имеет для этого средств и что подобная задача не входит вообще в обязанности Лиги. Лига наций в свою очередь предложила этот мандат Соединенным Штатам. Президент Вильсон готов был согласиться, но сенат отказал.

На Севрской конференции между Антантой и Турцией 10 августа 1920 года было подписано соглашение, согласно которому Армения признавалась свободным, независимым и суверенным государством. Спустя три месяца президентом Вильсоном были установлены его границы, и Армения

получила территорию в 87 тысяч квадратных километров. Конечно, это было значительно меньше, чем первоначально предполагалось, но и ее хватило бы армянскому народу, если бы великие державы предприняли какие-то шаги для ее защиты. Видя равнодушие правительств, Кемаль-паша, нарушив Севрский договор, напал на Армению[224].

«И великие державы пребывали в спокойствии. Они позволили армянам проливать кровь за союзников, а заплатили им за нее ничего не стоящей бумажкой»,— пишет Нансен.

В апреле 1920 года в Батуми установилась советская власть, а в сентябре на западе перешли в наступление турки и заняли Каре и Александрополь. У армян не было боеприпасов, амуниции и провианта для армии, а помощи они не получили.

В русской Армении в декабре 1920 года была создана советская республика, со столицей в Ереване. Однако через несколько месяцев вернулось старое правительство. В апреле 1921 года красные войска вошли в страну и во главе правительства был поставлен армянин Мясникян[225]. Способнейшие люди страны были вовлечены в работу по ее восстановлению. Нужда была страшная, все было разрушено бесконечными войнами и нашествиями. К осени дело дошло до голода, погибли сотни людей.

Уже на первой сессии Лиги наций Нансен внес предложение о приеме Армении в ее члены и подчеркнул, что страна нуждается в помощи. Во время второй сессии он вновь поднял этот вопрос, а Роберт Сесил внес проект резолюции, гласивший, что армянскому народу нужно «дать родину». Резолюция была принята единогласно. На мирной конференции в Лозанне это требование вновь было высказано лордом Керзоном[226], который назвал армянский вопрос «одной из позорнейших страниц мировой истории». Но мирный договор был подписан в таком виде, точно никаких армян на свете не существует.

В 1924 году лидер консерваторов Великобритании Стенли Болдуин[227] и лидер либеральной партии Асквит[228] обратились к лидеру лейбористов премьер-министру Рэмсею Макдональду с настоятельным требованием о том, чтобы Великобритания предоставила значительную сумму на помощь армянам. Требование было обосновано в пяти пунктах:

1. Обещаниями о помощи армян склонили принять участие в войне на стороне союзников.
2. Государственные деятели стран Антанты как во время войны, так и после ее окончания неоднократно обязывались обеспечить свободу и независимость армян.
3. Часть вины за изгнание армян из турецкой Армении после резни в Смирне падает на Великобританию.
4. Те 5 миллионов фунтов стерлингов, которые Турция депонировала в Берлине и которые после заключения перемирия отошли в собственность Великобритании, были в основном деньгами армян.
5. Нынешнее положение беженцев нестерпимо и представляет собой упрек западным державам.

Несомненно, что Макдональд и лейбористы согласились бы с этим требованием, считал Нансен, но правительство вынуждено было уйти в отставку, и консерваторы во главе с Болдуином сами пришли к власти. «Значит, это должно быть сделано сейчас?» Но правительство Болдуина отказалось предпринимать что-либо в помощь армянскому народу и беженцам.

«Невольно спросишь в отчаянии, зачем же было все это? Неужели же и впрямь все это были только слова, брошенные на ветер? А Лига наций? Неужели и она не чувствует своей ответственности?»— говорил Нансен.

В 1924 году Нансен получил от Совета Лиги наций поручение заняться армянскими беженцами. Сперва он отказался, поскольку не видел возможности оказать сколько-нибудь эффективную помощь. Но когда Совет вторично обратился к нему с предложением предпринять что-то совместно с Международным бюро труда, он все же поехал в русскую Армению во главе комиссии экспертов, чтобы выяснить, может ли страна принять еще некоторое количество беженцев. Представители советской власти в Ереване соглашались допустить комиссию при условии, что ее работа будет проходить при участии комитета, назначенного армянским правительством. Нансен



этому только обрадовался. Армянские сотрудники были очень дельными людьми и своим знанием страны и народа значительно облегчили работу комиссии. Маршрут поездки проходил из Батуми через Тифлис и затем в Ереван. Комиссия установила, что по крайней мере 33 тысячи гектаров в этом районе можно использовать для сельского хозяйства и они смогут прокормить еще 25 тысяч человек. Для этого необходим был заем в миллион фунтов. Ценность возделанной земли во много раз превысила бы сумму займа. Армянское и русское правительства готовы были дать со своей стороны гарантии, а армянское правительство обязалось все налоги, получаемые с новоселов, отдавать на уплату займа.

Комиссия присутствовала при открытии оросительного канала. Здесь она увидела образец знаменитого армянского ирригационного искусства. Все сооружение было очень внушительно, причем, по словам Нансена, обошлось на удивление дешево.

Повсюду комиссию принимали с необычайным гостеприимством — как правительство, так и народ. Перед отъездом комиссии город устроил в ее честь торжественные проводы, на которых присутствовали представители народа во главе с руководителем правительства и его супругой. В начале программы в честь Нансена исполнили пьесу Грига для струнного квартета, а затем гости слушали армянскую народную музыку и сочинения армянских композиторов. На банкете Нансена чествовали как «великого друга человечества из северной страны, чей образ во все времена будет сиять грядущим поколениям как пример человека, который так же мужественно вступил в поединок с вероломными правительствами Западной Европы, как некогда с арктическими льдами».

Нансен ни на минуту не мог забыть о том, какие кровавые ужасы совсем недавно пережили все эти люди. Он согласился со своим другом Кургеняном, который сказал: «Ведь правда же, народ, в душе которого звучит такая музыка, не может умереть?»

На следующий день поезд вез их по равнине:

«На юге высится Арапат, совершенно отчетливо видна его могучая вершина. Огромный снежный купол сверкает в лучах заходящего солнца. Эта могучая гора первой бросилась нам в глаза, когда мы сюда приехали, она возвышается над всей страной. Сейчас, вечером, когда мы уезжаем, он снова встает перед нами.

На прощанье великан снял свою шапку из облаков. Перед нами проходят непрерывной вереницей образы прошлого этого народа, который испокон веков жил здесь же, в тех же долинах, под сенью Арапата и Алагёза. Сколько борьбы, нужды, неизбежных страданий, и так мало побед! Есть ли в целом свете другой народ, который бы столько же выстрадал — и не погиб?» [\(39\)](#)

Нансен был убежден, что единственное место, где этот народ найдет родину, — эта маленькая республика. Чтобы хоть как-то приступить к работе, он запросил у Лиги наций заем в 900 тысяч фунтов.

«Наконец-то армянский народ получил родину, и я хочу спросить членов этого собрания, считают ли они возможным найти для него какое-то другое прибежище? По-моему, я заранее знаю ответ. Поэтому я прошу собрание помочь мне реализовать эту единственную возможность выполнить все обещания, которые давались армянскому народу в прошлом».

Большая часть правительств стран, состоявших в Лиге, дала свое согласие, и казалось, что на этот раз наконец-то обещания будут исполнены. Но в последний момент Уинстон Черчилль, который тогда был министром финансов, телеграфировал, что Великобритания не может поддержать это предложение. Таким образом, он подставил ножку всему начинанию.

Нансен был глубоко опечален. Он пошел к своему другу Роберту Сесилу и излил перед ним всю горечь: «Your damned rotten government!» — «Well, all governments are rotten» [\[229\]](#) — ответил ему лорд Сесил.

Через несколько дней Нансен в одиночестве гулял на берегу Женевского озера. Тут он нечаянно встретил армянского представителя в Лиге наций Аршака Сафрастяна. Оба были погружены в одни и те же мрачные мысли, и объясняться было не нужно.

«Кажется, правительства западных держав решили позабыть о договоре, заключенном с Арменией, и откажут в помощи беженцам,— сказал Нансен.— Когда-нибудь судьба им оплатит. А ваш народ возродится и завоюет свои исконные национальные права. Не сомневайтесь в этом».

В результате дебатов в Лиге наций была создана новая комиссия. Таким образом, дело могло тянуться еще много лет. Вернувшись из Армении, комиссия дала свое заключение, что план вполне реален, но вызывают сомнение возможности русского банка — сможет ли он представить необходимое обеспечение?

В 1926 году Нансен заставил Лигу наций вновь заняться армянским вопросом. Теперь он испрашивал всего лишь 300 тысяч фунтов — чтобы дать переселенцам хотя бы небольшое пособие. Германское правительство, не бравшее на себя никаких обязательств, предложило сумму в 50 тысяч фунтов; правительства Греции, Люксембурга и Норвегии тоже пообещали небольшую помощь. Но великие державы по-прежнему выступали против этого предложения, и, таким образом, весь замысел рухнул. К чему же тогда были все комиссии, спрашивал возмущенный Нансен. Зачем было их создавать, если правительства вовсе не собирались что-либо предпринимать? И если даже самые малые требования оказываются для них слишком большими?

Нансен не хотел сдаваться и отправился в Америку с чтением докладов. В этой долгой, напряженной поездке по Канаде и Соединенным Штатам его сопровождали жена и младшая дочь. Там Нансен защищал дело армян и Лиги наций. По счастью, в его распоряжение для этой поездки был предоставлен комфортабельный вагон принца Уэльского. Отец был, правда, ужасно огорчен, когда выяснилось, что столом его тоже обеспечил любезный хозяин. Вся поездка была для него испорчена, раз нельзя будет ходить в вагон-ресторан. Вагон-ресторан всегда казался ему самым интересным местом в поезде, и он сразу же туда наведывался, как только поезд трогался с места. Теперь он с завистью заглядывал туда, где в тесноте, за маленькими столиками, сидели счастливчики и выбирали блюда и вина по ресторанному меню.

Но, пожалуй, все-таки путешествовать, как принц Уэльский, было спокойнее. А отдых был Нансену действительно необходим, потому что в каждом городе приходилось выступать с речами и бывать на банкетах. Особенно на Среднем Западе, где жили выходцы из Норвегии; там его неизменно встречали огромные толпы народа. На вокзалах его приветствовали триумфальными арками из цветов, было много детей с норвежскими флажками, хоровые кружки распевали «Да, мы любим», у стариков и старух катились по щекам слезы. Трогательно было видеть, что корни всех этих людей по-прежнему в Норвегии, и отец отвечал на их приветствия словами, полными любви и благодарности.

Повсюду на его выступлениях залы бывали переполнены, те, кто не сумел попасть, стояли за дверями. Отца трогал этот сердечный прием, и из благодарности он никогда не отказывался прийти на банкет, который устраивался в его честь. Лишь однажды он позволил себе забыть о приглашении. Имми после рассказывала, как нехорошо тогда получилось. У них оставался час времени до банкета, и отец пожелал пойти в кино. К несчастью, фильм оказался очень интересным, и отец ни за что не хотел уходить. Как ни старались Имми и Сигрун, все было напрасно. Они трогали его за руку, напоминали, что уже пора, но отец вел себя как мальчишка: «Ну, еще пять минуток».

Опять они шептались: «Ведь люди тебя ждут». — «Пускай себе подождут». — «Но уже совсем пора». — «Ну, погодите немного, надо же посмотреть, чем все кончится».

Отец досидел в кино до самого конца. Довольно смущенный, даже не пытаясь оправдаться, пошел он на прием.

«Я думаю, что ему простили», — сказала я сестре. «Ну что ты, — ответила Имми. — Все были страшно обижены и оскорблены. Вот уж действительно скандал тогда получился».

В Европе Нансен тоже выступал с речами в пользу Армении. И часто поездки оказывались более длинными, чем он предполагал. Однажды он уехал в августе, а вернулся только через три месяца, в том же легком летнем костюме, усталый, мрачный, измученный горем, которое пришлось видеть кругом.

Но приехав, он прислал к нам за Евой, и оказалось, что он привез для нее платица, башмачки и всякую всячину, которую накупил за границей. И тут он на миг забыл о своих огорчениях.

В 1926 году ему удалось создать Объединенный армянский комитет, сам он стал его председателем. В комитет вошли друзья Армении из Америки, Англии, Франции, Бельгии и Италии, а также представители Красного креста, «Помощи Ближнему Востоку» и многих других организаций. Лига наций по-прежнему не желала идти навстречу, и Нансен был очень этим огорчен. В книге «По Армении» он высказывает свои чувства:

«Неужели Лига наций думает, что выполнила таким образом свой долг? Неужели, бросив дело на полпути, она не боится уронить свой авторитет? Когда Лига наций поручила заботу о беженцах своему комиссару, причем вопреки его возражениям, она помешала заняться этим вопросом другим, поскольку никому не придет в голову, что Лига наций может бросить начатое дело, не доведя его до конца.

Правительствам Европы надоел вечный армянский вопрос. Понятное дело. В этом вопросе они постоянно оказывались не на высоте. Сами эти слова приводят на память их дремлющей совести ряд обещаний, для выполнения которых они ничего не предпринимали. Ведь дело шло всего лишь о маленьком, измученном, но талантливом народе, который не имеет ни нефтяных источников, ни золотых приисков.

Горе армянскому народу, который оказался втянутым в европейскую политику! Для него было бы лучше, чтобы его имени ни разу не вспомнил ни один европейский дипломат. Но армянский народ не мог отказаться от надежды. Неустанно трудясь, он долго долго ждал. Он все еще ждет».

Странное впечатление оставляют постоянные отказы Лиги наций помочь осуществлению планов Нансена, причем представители стран Лиги все же не решались сказать решительное «нет» в ответ на его призывы. Но в 1927 году он сам поставил вопрос ребром: если никто ничем не желает пожертвовать ради выполнения данных Армении обещаний, то Лига наций впредь недостойна заниматься этим вопросом, заявил он. Поэтому он поставил перед Советом требование прекратить заниматься Арменией. По крайней мере *сам он* откажется от этой работы. Он больше не смеет дурачить этот народ. Он может служить ему другим, лучшим способом. Он отказывается от должности верховного комиссара.

Но тут поднялся страшный шум. Один за другим вставали представители великих держав и упрасивали его остаться. Такого они не ожидали, они понимали, какую потерю означает для Лиги наций уход такого человека, как Фритьоф Нансен, и не хотели доводить дело до этого.

Совет единогласно принял решение просить Нансена еще раз обратиться к великим державам за необходимым займом. Профессор Як. С. Ворм-Мюллер, который тогда был представителем Норвегии в Лиге наций, после встречи с Нансеном написал в своем дневнике: «Измученный, седой, с морщинистым лицом, такой бесконечно усталый, с тоской во взоре, и все же прямой и стройный, по-прежнему решительный и энергичный, поскольку он знает, что стоит на верном пути и добро победит жестокость».

Итак, 26 сентября 1927 года Нансен снова обратился к членам Лиги с проникновенной речью. В результате ряд правительств обещал предоставить кредит, но и теперь Англия и Франция ответили отказом. Нансен продолжал работу с теми средствами, которые были в его распоряжении. В 1928 году он устроил в Армении 7000 беженцев, а в 1929 году подписал соглашение, по которому там должны были поселиться еще 12 тысяч человек. Для него это было большой радостью. Но к тому времени он уже заявил Совету Лиги наций, что не может продолжать работу, порученную ему Лигой, поскольку пассивное отношение великих держав мешает достать необходимые средства. Поэтому он вынужден вновь повторить свое предложение о том, чтобы Лига наций перестала принимать какое-либо участие в репатриации армянских беженцев. На сей раз его предложение было принято. Это был его последний год в Женеве.

В 1930 году, после смерти отца, в Королевском обществе искусств в Лондоне состоялось собрание памяти Нансена, на котором присутствовали представители маленькой армянской колонии в Англии.

«Бесстрашно, не думая о себе самом, этот человек взвалил на свои плечи дело, за которое не решился взяться ни один представитель великих держав,— сказал представитель армян.— Лишь те, кто близко с ним встречался, могут вполне судить о всей сложности этой задачи, о том, с какими огромными трудностями ему приходилось бороться, какое бесконечное терпение и какой такт он проявлял в самых сложных ситуациях. Только те, кто сам был связан с этой работой, могут понять, в каком огромном долгу перед ним весь армянский народ. Он был так глубоко потрясен трагедией армянского народа и несправедливостями, которые ему пришлось пережить, что, прекрасно сознавая, какие придется преодолевать препятствия и неприятности, он все же всей душой отдался делу армянского народа и ясно и недвусмысленно излагал истинные факты перед Лигой наций и великими державами.

Мы, армяне, всегда будем любить и почитать его и склоняться с глубокой благодарностью перед его именем — именем человека, которого сам всевышний послал защищать и представлять наше дело. Пусть дух его найдет успокоение в бесконечности, где уже никакие человеческие горести не нарушат его святого и вечного покоя».

Вера Нансена в Лигу наций часто подвергалась испытаниям, но в армянский народ он верил крепко. Неустанно говорил он армянам, что они должны надеяться только на себя. Встретив после поездки 1925 года Погоса Нубар-пашу, Нансен сказал ему: «Едва успев выйти из невиданной в мировой истории катастрофы, ваш народ стал сажать деревья, строить каналы и гидроэлектростанции. Ваш народ с его тысячелетней историей и культурой, с его беспримерным мужеством и необычайной энергией и трудоспособностью воспрянет и вновь построит свою страну».

Нансену не довелось увидеть, в какой мере действительно оправдались его слова. Тогда в Армении было всего лишь 70 тысяч жителей, теперь их число дошло до 400 тысяч<sup>[230]</sup>. В стране есть университеты с факультетами точных наук, литературы, истории, искусства, в ней есть институты, больницы и все, чем должна обладать современная страна. Плодородные земли возделаны, проложены дороги через все горы, расцвела промышленность.

«Хватило четверти века, чтобы доказать правоту нашего друга Нансена, который верил в трудолюбие и творческие силы нашего народа,— пишет мне один армянин, известный в Александрии адвокат.— Но он не просто верил в нас, его вера основывалась на глубоком знании нашей истории».

13 мая 1955 года, в двадцать пятую годовщину смерти Нансена, армяне из всех стран устроили в Женеве большое торжество в его честь. Армянские школы и колонии во всем мире тоже почтили память «друга армян», во всех армянских газетах появились посвященные его памяти статьи, а также была выпущена книга о Нансене с выдержками из его армянского архива.

Сейчас принято предложение армян поставить ему памятник в Осло. Но лучший памятник отцу — вечная благодарность и любовь к нему армян.

## XVII. КАКИМ БЫЛ ОТЕЦ

« У знаменитых людей тщеславие бывает двух родов. Либо они ищут поклонения, либо избегают его»,— писал адвокат Карл Юхансен в статье в честь шестидесятилетия отца в 1921 году и добавлял:—«Из них мне первые нравятся больше, потому что так естественнее. Поэтому я всегда предпочитал Нансена Амундсену».

Действительно, отец в своей жизни часто совершал триумфальные «въезды», а Амундсен порою приезжал либо за день, либо через день после назначенного срока. Правда и то, что отец

принимал ордена, а Амундсен решительно заявил, что не желает их. И, пожалуй, я могу сказать, что при мировоззрении отца было бы естественнее, если бы и он отказался от почестей.

Но его всегда трогала любовь к нему людей, и примешивать к этому игру в принципы казалось ему неестественным. Впрочем, как бы он ни поступил, все равно люди судили бы об этом по-разному. Да, он действительно принимал оказываемые почести. Но тщеславным он никогда не был. И чтобы какая-то мишура вскружила ему голову, как утверждают некоторые, в это я просто-напросто не верю. Все ордена спокойно лежали в ящике. С течением времени их набрался целый комод, и там они валялись в полном беспорядке. И ни разу на моей памяти он не заговорил о них. Если мы, случайно узнав из газет о том, что он получил еще один орден, поздравляли его, он спешил перевести разговор на другую тему.

«Я был знаком со всеми великими путешественниками моего времени,— пишет Хью Роберт Миллз в журнале «Нэйчер»,— из них одному только Нансену не повредила его громадная слава. Он остался по-прежнему прост и сохранил ту же обаятельную улыбку».

Не буду отрицать, что известная доля тщеславия у него была, хотя, пожалуй, трудно определить это понятие. Он был, конечно, честолюбив. Он хотел, чтобы все дела удавались ему. Может быть, что в душе он ценил некоторые из полученных наград. Но лишь однажды я могла это заметить. Это было в 1926 году, когда он был избран почетным ректором университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Это доказательство уважения молодежи очень его обрадовало.

В этом университете существует старая традиция, по которой студенты сами выбирают своего «Лорда-Ректора», и на сей раз они в виде исключения избрали иностранца. Почетный ректор имеет право предложить некоторое число почетных докторов, которые избираются вместе с ним. Отец предложил норвежского посла в Англии Бенъямина Фогта, профессора Вильгельма Бьеркнеса, профессора Бьёрна Хелланд-Хансена и Отто Свердруп. Он бы предложил и Кнута Расмуссена, но торжества должны были состояться лишь на будущий год, поскольку Нансен отправлялся в Америку выступать с докладами об армянском вопросе, а в 1927 году Кнут Расмуссен, к большому огорчению обоих, не мог присутствовать.

Это были незабываемые дни. Уже на вокзале депутация студентов встретила нового ректора. Дальше ехали в вагоне, украшенном цветами и разноцветными лампочками, а на паровозе была укреплен голова белого медведя из папье-маше. Платформа на университетской станции была вся забита студентами в красных шапочках. Как только появился Нансен, раздались крики приветствия, студенты махали руками и пропели «For he is a jolly good fellow»<sup>[231]</sup>. Перед вокзалом стоял экипаж, не запряженный лошадьми. Нансена усадили в коляску вместе с ректором университета и его супругой, студенты схватились за постромки и повезли гостя по улицам города. Сзади шла целая толпа студентов. На следующий день состоялось торжественное вступление почетного ректора в должность.

Церемония началась с молитвы и пения псалмов в университетской капелле, проповеди не было. Здесь почетного ректора облачили в фиолетовую мантию, а семеро почетных докторов надели длинные черные мантии. Затем, сопровождаемые целой процессией, они направились в актовый зал, там студенты пропели на английском языке «Да, мы любим», а затем гостей усадили на трибуне. Декан естественного факультета кратко изложил биографию Нансена и назвал его труды, потом состоялась церемония присвоения ректорского звания. Но когда Нансену нужно было прочесть торжественную присягу и весь зал уже встал, он никак не мог найти свои очки. Он ощупывал складки широкого плаща то одной, то другой рукой. И чем больше смеялось собрание, тем несчастнее делалось его лицо. Наконец он нашел очки и прочел текст присяги, как того требует ритуал. Ему вручили шапочку ректора, а вместо фиолетовой мантии одели красную. Затем он поднялся на кафедру.

Во всех шотландских университетах, да и в английских, наверное, тоже, студенты имеют право прерывать выступление ректора репликами с места. Иногда они ведут себя очень шумно (так было, например, когда они принимали предшественника Нансена — Редьярда Киплинга). И на сей



раз студенты в первые минуты речи пытались прерывать оратора. «Но очень скоро Нансен овладел своей аудиторией настолько, что его слушали затаив дыхание», — рассказывал Бьёрн Хелланд-Хансен.

Два предыдущих лорд-ректора, выступая перед студентами, говорили о «мужестве» и «независимости». Это возвышенные свойства, сказал Нансен, и никогда еще они не были так нужны, как сейчас. Но для того, чтобы круг богов был полон, нужен третий гений — любовь к приключению, стремление к подвигу.

Каков же этот гений? Это тот дух, который влечет человечество на путь познания. Это загадочное стремление души заполнять пустые пространства, преодолевать опасности и трудности, искать неизвестное. Это стремление, заставляющее нас действовать, божественная сила, заложенная в глубинах нашей сущности, именно она влекла первых охотников в новые области. Это пружина величайших наших деяний, «человеческой мысли, которая расправляет крылья и не признает границ своей свободы».

«Мой друг Руал Амундсен сказал недавно, что рад, что не родился позднее, потому что тогда ему нечего было бы открывать, разве что Луну. А мне это привело на память Мартина Фробишера[232], который триста пятьдесят лет тому назад «решил или пройти Северо-Западным проходом, или вернуться с той неоспоримой истиной, что это единственное еще не выполненное дело, совершив которое выдающийся ум может добиться славы и состояния».

Но ведь цель жизни не заключается в том, чтобы стать знаменитым и состоятельным. Не так просто обстоит дело. Ты рождаешься на свет для того, чтобы сделать свое дело, и сделать его хорошо, каково бы ни было твоё место в мире. И после Фробишера осталось много дел, достойных того, чтобы за них взяться, и для вас их найдется больше чем достаточно, друзья мои.

В последнее время мы много слышим о гибели европейской цивилизации. Говорят, что она одряхла и теперь клонится к закату. Не дайте себя запугать, не станьте пессимистами. Все эти разговоры об упадке не новость. Давайте же видеть дело в правильной перспективе. Нам хочется верить, что человечество неуклонно движется вперед. Такая приятная, утешительная мысль. Но справедлива ли она? Прогресс означает, между прочим, что мы знаем, куда идем. Представьте себе, что к нам вернулся бы кто-то из великих мыслителей древности — Будда, Сократ или Христос — и мы решили бы показать ему те замечательные изобретения и научные открытия, которые характеризуют наш прогресс по сравнению с их временем. Не улыбнулись бы они нам тогда снисходительной улыбкой, как улыбаемся мы, когда дети показывают нам свои любимые игрушки?»

Конечно же, говорил он далее, наша философия усовершенствовалась. Что касается отдельных личностей, то здесь этика и мораль поднялись выше примитивного уровня. Что же касается целых народов, то они едва только начали приобретать какую-то мораль. Доказательством истинной культуры скорее всего могло бы служить чувство солидарности, но в этом отношении народы недалеко ушли вперед. И очень мало ее между разными классами.

Чрезмерный национализм — большая опасность. Но есть опасность и с другой стороны. Тенденция к чрезмерному интернационализму, к сглаживанию, к созданию единообразной человеческой семьи, хоть на первый взгляд она, может быть, и хороша, означает уничтожение характерных различий между народами и культурами, а ведь это один из стимулов новых мыслей. Это привело бы к однообразию, к «однородной серой каше», в которой трудно стало бы появиться личности.

Если порвалась связь времен, то дело молодежи — восстановить ее.

«Вы нужны нам, молодые друзья, нужны ваши ясные глаза, которые умеют видеть простые, главные истины, нужны те, кто готов испытывать новые пути, кто не боится опасностей и готов пуститься в неизвестность! Но не забывайте, что истинно великое никогда не достигалось без терпения. Без терпения и труда. «Гений — это неистощимая воля никогда не сдаваться», — сказал Карлейль. «Терпение — сила, — гласит восточная поговорка. — Время и

терпение превращают листья смоковницы в шелк». Вершин не достигают за один день. Все нужно сперва как следует обдумать, чтобы не было приблизительных догадок. Но, если уж ты пустился в путь, главное — не колеблясь идти по этому пути, и здесь нужна вера в себя, ибо вера в себя — важнейший секрет успеха.

На пути у нас встречается много распутий, и достоинство человека познается по тому, как он ведет себя при этом. Некоторые колеблются и оглядываются назад, они желают оставить за собой возможность выбрать иной путь. У таких дело обычно кончается тем, что они никуда не приходят. Настоящий путник заранее все тщательно обдумает, но изберет один путь и по нему будет идти. И он обязательно куда-то придет».

Для примера Нансен рассказал о том, как он сам вставал перед выбором, когда собирался в Гренландию, а затем — в экспедицию на «Фраме» и должен был быть уверен в правильности теорий и выполнимости плана. Ибо обратного пути не было.

«Вы, наверное, думаете, что тяжело жить среди снегов и питаться одной медвежатиной, а я уверяю вас, что это было счастливое время, потому что впереди была весна и возвращение.

Вы, вероятно, знаете, что, излагая эти планы, да и во многих других случаях жизни, я имел несчастье вызвать сопротивление большинства мировых авторитетов, они объявили мои замыслы невыполнимыми. Но я, по счастью, значительную часть своей жизни прожил, полагаясь только на самого себя, и привык вырабатывать собственное мнение, не оглядываясь на других.

Одиночество совершенно очевидно имеет большие преимущества, так как одинокий человек более независим в своих поступках и меньше опасность, что кто-то увлечет тебя в сторону от твоей дороги. Ибсен сказал, что самый сильный человек — тот, кто самый одинокий. Однако это не значит, что каждый одинокий человек — силен и что каждый план, который знающие люди объявили невыполнимым, нужно проверить на практике. Берегитесь упрямства и безрассудства! Для сильного человека сопротивление и возражения — очень опасная вещь. Только умный человек прислушивается в горячке спора к мнению противника и позволит себя переубедить. Кажется, Монтень<sup>[233]</sup> как-то предположил, не фанатизм ли, порожденный стойкостью перед лицом насилия и опасности, заставляет порой человека вплоть до костра защищать точку зрения, ради которой он в свободном кругу друзей не стал бы держать над огнем даже мизинец.

Запомните, каждый из вас найдет свое приключение. Но постарайтесь не терять зря времени. Не упустите возможности, и не дайте вовлечь себя в ту суматоху, которая называется современной жизнью. Первейшее и важнейшее дело в жизни — найти самого себя, а для этого человеку нужно одиночество и размышления, хотя бы изредка.

Дорогие друзья, позвольте дать вам предостережение и совет, основанный на долгом и печальном опыте. Не позволяйте мелочам, которые теперь считаются жизненно важными, задержать ваш полет. Помните — чем длиннее и роскошнее хвост, тем короче крылья.

Молодость, молодость! Какое это дивное слово! Перед вами царство неизведанного, скрытое предрассветным туманом. Свободные, как птицы небесные, можете вы парить по ту сторону заката и летать по вселенной. Как прекрасно видеть, что день уже брезжит, и знать, что впереди тебе предстоит долгое путешествие по новым странам.

...и прямо к свету  
и к небосклону возносит храбрость.

Вы смеетесь над риском и улыбаетесь опасности, вашим кораблем правит могучая вера молодости. Буря вам не страшна. И вот, далеко впереди, за волнами и туманами, встает «иной берег!»

Все мы ищем в жизни «иных берегов», чего еще мы можем требовать? Наше дело найти к ним дорогу. Дорогу долгую, трудную, быть может, но она зовет нас, и мы не можем не идти. Глубоко в нашей природе, в каждом из нас коренится дух дерзания. Зов пустынь трепещет во всех наших поступках и возвышает, облагораживает нашу жизнь».

Речь произвела потрясающее впечатление, рассказывает Хелланд-Хансен. Молодые глаза, смотревшие снизу на кафедру, блеснули, и вот разразилась буря оваций. Ректор Ирвин сказал, что подобного не было за всю историю университета. Когда буря улеглась, один из студентов вышел на сцену, чтобы поблагодарить оратора. Он сказал, что не может сейчас говорить о речи Нансена. Студентам нужно время, чтобы обдумать услышанное, и зная, что Лорд-Ректор имеет влияние на ректора университета, он просил Нансена ходатайствовать перед ректором от имени студентов, чтобы им дали для этого свободный день. Нансен так и сделал и получил согласие. Ликованию студентов не было конца. Затем началось избрание почетных докторов. Кроме предложенных Нансеном, в их числе были еще австралийский профессор и лорд Роберт Сесил, которых утвердили «заочно».

И вот все избранные облачились в мантии. Вечером был обед в честь гостей, и в последующие дни продолжались торжества. В последний день студенты давали обед в честь ректора.

«Трудно становится варьировать ответные речи,— сказал отец Хелланду-Хансену, когда они под вечер прогуливались по улице.— Что бы мне придумать на сегодняшний вечер?..»

Хелланд напомнил отцу, как однажды, когда они вдвоем работали в Халлингдале, его попросили выступить перед молодежью. Тогда отец тоже никак не мог ничего придумать, и пришлось выступать без подготовки. Тогда отец рассказал о своих экспедициях, его слушали с таким захватывающим интересом, какого Хелланд никогда еще не встречал. «Пожалуй, это хорошая мысль»,— сказал отец. И начал очередную свою-речь так: «Давно известно, что люди, подружившись и чувствуя взаимную симпатию, любят рассказывать друг другу про свою жизнь». И вот он рассказал о жизни на «Фраме», об охоте на медведей, о полярной ночи, а студенты слушали затаив дыхание. Отто Свердруп сидел напротив и кивал головой. И вдруг Нансен принялся рассказывать о том, как началось самое страшное торошение и всем пришлось покидать корабль. Продукты и палатки были уложены на сани, команда и собаки спустились на лед. Не хватало только Свердрупа. Нансен вернулся на корабль, искал, звал. Наконец он нашел Свердрупа — раздевшись донага, тот спокойно мылся.

За столом среди студентов сидел Свердруп — почетный доктор, естественно, что все были в восторге от старого полярного шкипера. Но он и здесь сумел сохранить невозмутимый вид.

Год спустя Нансен снова получил доказательство любви молодежи, на сей раз от младшего поколения. Однажды в мае в Ослофьорд вошел небольшой пароход. На нем были мальчики лет двенадцати — четырнадцати и директор их школы. Они вытащили на берег огромный сундук и погрузили его на машину. Мальчики уселись в кузов, директор в кабину, и машина поехала в Пульхёгду.

Содержимое сундука осторожно вынули и расставили на шкуре белого медведя, которая лежала в холле. Затем позвали из башни Нансена. Перед ним стояла стеклянная витрина с объемной картой Ледовитого океана со всеми его берегами, островами и обозначенным на ней маршрутом «Фрама». По краям стояли макеты «Фрама», каяков, саней, собак и белых медведей и моржей. На замке было выгравировано на английском языке: «Макет, иллюстрирующий экспедицию Нансена на Крайний Север 1893—1896 годов. Сделан учащимися Бембриджской школы и подарен ему в знак уважения. Бембридж, остров Уайт, Англия. Апрель 1928».

Школьники с острова Уайт все сделали своими руками — так, как они представляли себе Ледовитый океан и экспедицию. Директор Дж. Говард Уайтхауз рассказал Нансену, сколько радости принесла мальчикам работа над макетом, и об их восхищении человеком, который задумал и выполнил такую экспедицию.

Рассказывая мальчикам о своей экспедиции, Нансен останавливался на каждой детали макета, с которой были связаны те или иные события, и в глазах мальчиков он словно ожил. Дойдя до

хижины на Земле Франца-Иосифа, он сам увлекся. Вот этот снег, которым мальчики прикрыли скалы, всю зиму дурачил Юхансена. Лишь с приходом весны, когда пора было отправиться в путь, среди белизны показались кое-где темные пятна, и тогда только они поняли, что это не облака, а горы. Мальчики кивали, ведь они читали ««Фрам» в Полярном море» и сами обратили на это внимание.

На следующий день Нансен написал мальчикам письмо, которое и по сей день хранится в Бембриджской школе. Директор Уайтхауз считает, что это письмо написано для всех мальчиков, и каждый год читает его вслух новым ученикам. Нансен написал:

«Не могу выразить, как я растроган этим замечательным знаком внимания и интереса к нашей экспедиции на «Фраме». Я должен выразить вам свое восхищение тем, как выполнена работа, ведь вы не бросили ее, а закончили и завершили всю, до мельчайших черточек. А закончив ее, вы сами пустились в далекое путешествие, чтобы доставить ее до места назначения. Это замечательное доказательство здорового духа народа, к которому вы принадлежите, и замечательный способ воспитывать мужчин.

Вы молоды, друзья мои. У вас вся жизнь впереди, со всеми ее замечательными возможностями и приключениями. Я уверен, что кто-нибудь из вас станет со временем знаменитым путешественником. Я хочу дать вам совет — не бросайте работу, которую выберете в жизни, пока не закончите ее, и закончите хорошо, какая бы это ни была работа. Отдайтесь ей всем сердцем и всеми помыслами. Не делайте ничего наполовину, а завершайте любое дело, и как можно лучше, так, как вы довели до конца эту работу. И не допускайте чувства удовлетворения, пока не будете уверены, что лучше вы сделать уже не можете. Удивительно, как многому можно научиться, хорошо выполнив какое-то дело».

Нансен навестил мальчиков в гостинице в Осло и подарил каждому из них собственную книгу с посвящением.

Больше, чем кого бы то ни было, отца занимали проблемы этики. Основными чертами его характера были чувство ответственности и совесть. Поиски истины были главным как в его деятельности, так и в его мышлении. Любовь к истине лежит в основе всей этики, утверждал отец. «Но мы либо ищем истину и принимаем со всеми вытекающими последствиями, либо не ищем ее совсем», — сказал он также.

В тех речах, с которыми выступал Нансен в годы своей международной деятельности, он всегда указывал, что единственное спасение мира заключается в установлении такого духа в международных отношениях, который исключал бы двойную мораль. В 1924 году в речи, с которой он выступил в университете на женском конгрессе, он призывал университеты возглавить дело «воспитания молодежи в духе одной, единой морали — морали в духе братства и любви к ближнему».

Эти и подобные высказывания были поняты многими как «обращение Нансена», свершившееся после того, как он увидел горе и страдание, царящие в мире. Но это ошибка. Его мировоззрение осталось прежним. Оно не могло измениться. Если уяснить себе, что между религией и этикой существует различие, это становится очевидным.

За полгода до смерти он написал нечто вроде «духовного завещания» — статью «Моя вера», которая была опубликована в американском журнале «Форум» в декабре 1929 года. Его друг доктор Генри Годдард Лич, редактор этого журнала, начал печатать в нем серию статей под заголовком «Философия жизни», где он собрал высказывания многих знаменитых людей нашего времени.

Взволнованный и растроганный пришел к нам отец и прочитал вслух статью, перед тем как ее отослать. Но, кажется, я тогда испортила ему настроение. Я не совсем оценила эту статью при первом чтении. Мне казалось, что на эти темы отец уже высказывался раньше, и гораздо лучше. Мне не нравилось, что он отдает себя на суд любопытства, и я так ему и сказала. Никогда не забыть мне его разочарованного лица. Тогда я побежала к нему в башню: «Отец, я не то хотела сказать, я просто дурочка...» Он засмеялся: «Знаю, знаю».

Он прекрасно понял, что я имела тогда в виду. Но он иного мнения. «Вот прочитаешь статью, когда я ее совсем закончу», — сказал он и на прощанье погладил меня по щеке.

Понять эту статью было нетрудно, она была написана ясно и логично и не оставляла сомнений относительно его убеждений:

«Существование абсолютной истины мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. Но поскольку нам дана способность мыслить, мы должны пользоваться ею для решения вопросов, имеющих величайшее значение для нашей жизни, при этом наше мышление должно руководствоваться тем, что нашим временем признано за истину. Допустить, чтобы кто-то, некий «пророк господень», тиранически распоряжался нашей верой, мировоззрением путем приказов или велений, будь они логического или нелогического характера, несовместимо с моралью и добром. Веление «веруй» аморально. Если мы заставляем себя слушаться такого веления, то поступаем так не потому, что считаем такое поведение естественным, хорошим и правильным, а потому, что боимся не угодить божественной власти и подвергнуть себя наказанию. Это не имеет никакого отношения к морали, потому что мы подчиняемся чужой тирании, стремясь таким способом добиться некой выгоды. Такие заповеди — пережитки тех времен, когда человечество верило в богов войны, в божества карающие и награждающие, такие, как, например, Иегова. В наши дни следовало бы перерасти подобные суеверия».

Создавая свой взгляд на бытие и мировой порядок, мы можем основываться только на собственных наблюдениях, продолжает он далее, то есть на наших научных исследованиях и логическом мышлении. А это приводит нас к выводу, что вся вселенная — как живой, так и неживой мир, как физическая, так и духовная сфера — подчинена тому, что мы называем законами природы. Вся органическая жизнь подчинена тем же законам, каким подчиняются электроны и небесные тела.

Мы не знаем, когда и как в точности возникла жизнь на нашей планете, но это не значит, что мы никогда не придем к познанию этого. Мы знаем, что когда-то она началась и когда-то должна прекратиться — когда Солнце остынет до того, что температура на Земле опустится ниже какого-то определенного уровня. Это неизбежный процесс в вечном круговороте вселенной.

Законы природы не позволяют нам допустить, что человек обладает душой, способной жить независимо от тела. Подобно тому как нет живых форм без души, мы не можем представить себе и душу без живой формы. Можно делать различие между сознательной и бессознательной душой, но мы не можем указать ту грань, где на определенной ступени развития органических форм от низших растений и животных к высшим млекопитающим и человеку появляется индивидуальная душа, обладающая сознанием.

Для многих, вероятно, утешительно верить, что душа бессмертна, что есть иная жизнь, в которой дается вознаграждение за перенесенные в земной жизни лишения. Но здоровее и менее эгоистична вера в то, что наша жизнь протекает здесь и сейчас, что мы временное звено в непрерывной цепи от прошлого к будущему и что если мы продолжаем жить и в наших потомках, то только в силу наших мыслей и поступков, и поэтому мы обязаны как можно больше и лучше совершить в этой жизни. Такая вера усиливает в нас также чувство ответственности.

Раз все сущее подчинено законам природы, а способности, характер и свойства человека определяются наследственностью и приспособляемостью, конечно, не может быть и речи об ответственности и свободной воле. Воля также определяется преходящими причинами. Станет ли человек хорошим или дурным, моральным или аморальным, зависит от его наследственных свойств и от того, как на них повлияют воспитание и среда. Но к нашим духовным свойствам относится и ощущение свободы выбора, а вследствие этого — чувство ответственности за выбор. Самый яркий детерминист и тот совершает свои поступки, руководствуясь иллюзией того, что в случае сомнения конечное решение зависит от его воли. Очевидно, эта идея необходима для существования общества, и вряд ли ее можно искоренить из сознательной души, частью которой она является.

С этим учением о детерминизме связан старинный вопрос об изначальной целесообразности. Законы природы не допускают существование изначальной цели. Некоторые рассуждают, что, если



бы не было цели, все существование было бы бессмысленно. Но это ничего не доказывает. Кто может утверждать, что вселенная должна иметь какой-то смысл? Вечные законы существуют потому, что существуют, они не могут устранить никакой причины, не устранив самих себя.

«Когда наш взор обращается звездной ночью к небесам, скользит по бесконечному пространству к иным млечным путям и мы восхищаемся удивительной громадностью вселенной, ее высоким величием, то мы чувствуем, что все это всегда было, всегда будет, и требование смысла и цели исчезает само собой, превращаясь в незначительную мелочь. Когда-то, бесконечно много времени тому назад, на этой маленькой планете возникла и развилась органическая жизнь, и когда-то она исчезнет. Не слишком ли много будет требовать, чтобы она еще имела и смысл — иной, кроме своей собственной изменчивости».

Но тем не менее на практике мы поступаем так, словно наша жизнь имеет какую-то цель. Эта идея, так же как идея свободной воли, глубоко коренится в человеческой природе, поскольку определяется вышеназванными причинами.

Очевидно, что так называемое материалистическое мировоззрение у многих людей потрясает самые основы их философских и религиозных убеждений. Но хуже всего то, что моральные идеи до сих пор были всегда связаны с религией, что общепринятые правила морали до сих пор основывались на суеверии. Обнаруживая свои ошибки и отбрасывая прежние убеждения, люди тем самым подвергаются опасности утратить этические основы, не находя взамен новых. Тогда они утрачивают душевное равновесие, и их моральные и социальные взгляды становятся жертвой поветрий времени.

Но несмотря на все это, мы мечтаем о новой эре человечества, об эре вечного мира, братства и добрых отношений между народами, о времени доверия и взаимопомощи.

...Нужно построить новый, здоровый моральный кодекс, соответствующий требованиям времени. И нужно уяснить себе, что законы морали не должны становиться велениями, которые исполняются из страха — подлейшего человеческого инстинкта, а исполняются они потому, что следование им ведет к счастью и одновременно служит на пользу личности и обществу.

Для того чтобы появилась надежда на лучшее будущее, нужно в первую очередь побороть страх. Нам нужно отбросить старые одеяния, которые уже отжили свое и не годятся для нового поколения, мы должны работать спокойно и уверенно, чтобы заложить основу этической жизни индивида и общества. В первую очередь мы не должны допускать, чтобы поддерживалась вражда между нациями, основанная на страхе.

Очень печально, что в международной политике совершенно отсутствуют моральные основы. Невозможно разрешить международные противоречия войнами. Война есть отрицание и рано или поздно приведет к гибели, а взаимопомощь, доброжелательность — явления положительные и создают основу для лучшего будущего. Но для решения этих проблем необходимо, чтобы каждая нация изъявила готовность идти на жертвы.

«Необходимо, чтобы чувство солидарности и любви к ближнему пронизывало все поступки и мысли. И мы всегда должны помнить, что любовь и терпимость — самые прекрасные деревья в лесу».

С тех пор я не раз вспоминала о своем необоснованном суждении по поводу статьи отца для «Форума» и часто о нем жалела. Но и до сих пор мне кажется, что я была не так уж неправа. Ибо лично я гораздо выше ставлю речь отца в университете Сент-Эндрюс. Ведь и она тоже своего рода мировоззрение, и это мировоззрение более горячее и непосредственное. Речь эта проникнута особым чувством ответственности, поскольку он обращался к молодежи, к молодым людям, у которых жизнь еще впереди и которые, он это чувствовал, послушаются только живого опыта, человеческой близости. Может быть, он и задумал так, чтобы эта речь стала свидетельством его мировоззрения? Он так сознательно построил ее на основании своего личного опыта, что эта мысль сама собой напрашивается.

Для отца его собственный жизненный подвиг вовсе не был естественным следствием его способностей и интересов. Постоянно жизнь ставила его перед трудным выбором, и ему приходилось сравнивать и взвешивать ее требования — сравнивать собственные планы и задачи, которые ставились перед ним другими людьми и осуществить которые он считал своим долгом, поскольку был ярко выраженным человеком долга. За всю жизнь он не освободился от строгих жизненных правил, внушенных ему старым христианином, адвокатом из Фрёена. Хотя он и не унаследовал христианскую веру своих родителей, но зато унаследовал их этические принципы и в своих поступках руководствовался ими. Ведь именно роль братства и любви к ближнему он неустанно подчеркивал и считал их решающими основами жизни цивилизованного общества.

Я глубоко уверена, что отец в основе был натурой религиозной, но свободной от религиозно-мифологических догм. В священном изумлении взирал он на бесконечность и величие вселенной и «преклонял колена у подножия вечности», как сам он выразился в своей речи «Наука и мораль» в Лондоне в 1907 году.

Усеянное звездами небо — самый верный друг в жизни, говорил он в этой же речи, оно всегда здесь, всегда дает мир, всегда напоминает тебе, что твои волнения, горести — преходящие мелочи.

Его воображение стремилось к неизвестному, но оно зиждилось не на пустом месте. Оно основывалось на знании и опыте и руководствовалось мыслью. Но все же он по всему своему складу был не просто ученым, его воображение идет от артистизма его натуры. Его сердце было восприимчиво ко всему прекрасному, ко всем добрым и нежным чувствам. В глубине души он был скромнен и кроток.

Профессор Рагнар Йосефсон в одной речи, посвященной отцу, обратил внимание на то, что яркость его эмоциональной жизни по самому существу своему чужда ученому. У него чувства порой вторгались в науку. На протяжении всей своей жизни он, занимаясь наукой, постоянно боролся с другими стремлениями, а в конце концов отказался от нее ради задач более насущных, которые вызвали к его чувству долга.

Даже как ученого его интересовала наука в ее отношении к человеку, та польза, которую она могла принести живой жизни. Поэтому в его личности и интересах не было противоречия между полярным исследователем и гуманистом. Он искал универсальной цели своей деятельности, и этим объясняется то, что в решающие поворотные моменты своей жизни он всегда выбирал ту задачу, которая в данный момент была важнее для человечества: в Норвегии — в 1905 году, в Вашингтоне — в 1917 и в Женеве — в двадцатые годы.

Не раз многообразие и разносторонность собственных интересов казались ему несчастьем. Я думаю, часто ему казалось даже, что он прожил неудачную жизнь, поскольку не сумел решительно ограничиться в жизни каким-то одним делом. В Сент-Эндрюсе он это даже сам говорит и особенно настоятельно советует сконцентрировать все усилия в той области, в которой, как ты сам чувствуешь, лежат твои способности. Он страдал, видя неуверенность, неустойчивость, разбазаривание способностей, и заставлял себя думать и действовать последовательно. Это стало решающим условием всех его достижений.

Сам он хорошо знал, что значит неустойчивость. Вероятно, после возвращения из экспедиции на «Фраме» он потому впал в такую тоску, что потерял прочное место в жизни. Он настолько весь отдался этой задаче, что не мог снести последовавшей затем пустоты. Найти новую цель удалось не сразу.

Но у него хватило внутренней силы, чтобы преодолеть одиночество. Любя жизнь и все ее проявления с детской непосредственностью, он теперь поставил перед собой задачу наедине с собой решить все трудности и добиться новой ясности. И с годами он создал более прочную и надежную основу для своего мировоззрения и понимания жизни.

В статье для «Форума» он изложил рационалистическую сторону своего миропонимания, зато в Сент-Эндрюсе, не скованный необходимостью обосновывать свои мысли философскими и эмпирическими доказательствами, он высказался непосредственно и горячо. Здесь он делает упор на творческой силе мысли, на реальном значении мечты в деле поисков новых, более высоких целей, на

знании как основе целеустремленной жизни, на значении воли и настойчивости. Эта речь проникнута непосредственным чувством, и оно-то и придало такую весомость его взглядам.

Посвятив себя после войны работе на благо человечества, он ценил в государственных деятелях волю к терпимости, а не обычную политику с позиции силы. Благодаря этому он занимал в Женеве совершенно особенное положение — единственное, которое позволило ему решать поручаемые задачи согласно своим убеждениям и взглядам. Он стоял на том, что особая миссия и права малых государств в Лиге наций являются символом всего того, что необходимо в будущей международной политике. Конкретно это выражалось в его борьбе против агрессии Муссолини и за то, чтобы Лига наций контролировала положение в подмандатных странах.

Нансена-ученого в последние годы затмил Нансен — политический деятель европейского масштаба. С другой стороны, его полярные экспедиции, совершенно естественно, получили большую известность, чем его научная работа, несмотря на то что его гренландский поход, а также экспедиция на «Фраме» были совершены с научными целями. И все же он был ученым — всей душой и сердцем. Куда бы он ни попадал, путешествуя или выполняя поручения, не имеющие отношения к науке, он повсюду собирал материалы и сведения, которые могли расширить наши знания о Земле, ее народах и законах природы.

Профессор Харальд У. Свердруп пишет: «Если взглянуть на научную работу Нансена, то становится понятным, что именно те свойства, которые сделали его великим исследователем Арктики, пронизывают и всю его научную работу. Эти свойства — воображение и комбинационный талант, смелость и вера в собственный разум, которые не покидали его даже в том случае, когда его выводы не совпадали с общепринятым мнением. Это скрупулезность в сочетании с пониманием того, что мелочи не должны заслонять общую картину. И все это дополнялось редкой настойчивостью и трудолюбием».

В том научно обоснованном мировоззрении, которому Нансен был верен до конца своих дней, основным было признание закономерности мироздания — его величия и целостности. Но, с другой стороны, он всегда подчеркивал, что для мира духовного не существует пространства и времени. И духовную сферу он считал неотъемлемой привилегией человека, отличающей его от всей одушевленной и неодушевленной природы. Этот эмоциональный мотив всей своей деятельности и мировоззрения в речи, прочитанной в Сент-Эндрюсе, он выразил образом, заимствованным у Бьёрнсона: «...и прямо к свету и к небосклону возносит храбрость».

Да будет мне, как дочери Нансена, позволено сказать, что над его жизнью я вижу этот свет и этот небосклон.

## XVIII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОТЦА

Настал наконец неизбежный момент, когда отцу пришлось расплачиваться за годы, проведенные в тяжком труде без достаточного отдыха. Быть осторожным он не умел, да и не хотел никогда. Вечно нужно было спешить. Передвигался он чуть ли не всегда только бегом, как дома, так и на улице. Было что-то такое в его темпераменте — не суетливость, но быстрота, не нервозность, но энергия. Мы все знали, что когда-нибудь они иссякнут.

И вот настал день, когда ему пришлось притормозить, когда он оказался последним на лыжне, и эта жизнь, отданная спасению других жизней, начала клониться к закату.

Потом настал день, когда его гроб, покрытый норвежским флагом, поставили в актовом зале университета и прощаться с ним пришли самые дорогие его сердцу существа, те, ради которых он, вероятно, в первую очередь посвятил себя делу помощи,— пришли дети. В день национального праздника Норвегии, 17 мая 1930 года, прошла мимо его гроба с флагами и знаменами процессия детей.

Восемь студентов стояли в почетном карауле у гроба в те часы, когда мимо него проходили дети. Студенты тоже были охвачены скорбью, серьезны. Когда приглашенные собрались в колонном зале и пришли король Хокон с кронпринцем Олафом, студентов сменили восемь человек из числа родственников, друзей и сотрудников Нансена. Первыми стояли его брат Александр и Эрик Вереншельд, затем капитан «Фрама» Отто Свердруп и генерал-майор Улаф Кр. Дитрихсон, сопровождавший отца в походе по Гренландии. Дальше стояли Бьёрн Хелланд-Хансен и Софус Торуп, а за ними — дядя Улаф Сарс и Филип Ноэль-Бэйкер, который приехал от имени Лиги наций.

Ровно в 13 часов прогремел салют с Акерсхуса, это был знак к двум минутам молчания. На площади, на улицах, где собрались тысячи людей, наступила тишина. Вся страна в молчании прощалась с Нансеном. (44) Затем из актового зала раздалось два глухих аккорда, и оркестр под управлением Исая Добровейна открыл панихиду траурным маршем Грига. К гробу подходили ректор университета профессор Сем Селанд, президент стортинга Карл Иоахим Хамбру и премьер-министр Юхан Людвиг Мувинкель и произносили речи, в которых каждый по-своему выразил скорбь, охватившую весь норвежский народ. Скорбел весь мир, но самую большую утрату понесла Норвегия.

«Прощание так тягостно потому, что он так долго был вождем, к которому обращались взоры всего народа, как только появлялась нужда в человеке, вокруг которого можно было объединиться,— сказал ректор Селанд.— Для многих из нас важно еще и то, что он был героем нашей молодости, что его образ стоит перед нами как воплощение высочайшего идеала человека и, чем лучше мы его узнавали, тем больше любили.

Даже те, кто не был знаком с ним лично и не работал с ним, теперь, когда его унесла смерть, увидят, как дорог он им был и как неразрывно вся наша новейшая история связана с его именем, отмечена печатью его личности и его деятельности. Само сознание, что в трудный момент мы можем обратиться к нему за помощью, а мы обращались к нему часто, придавала уверенность всей стране».

Могучий голос президента стортинга заполнил высокий зал, он был слышен даже на площади.

«В этот час,— сказал он,— Нансен снова сплотил вокруг себя весь норвежский народ. Отовсюду стремятся мысли к этому гробу, сливаясь в чувстве горя и скорби, всех объединяет сознание, что пройдена крупная веха в жизни нашего народа, что последний великий человек нашего национального подъема ушел от нас, они сливаются в чувстве благодарности Нансену за то, что он жил, и за то, что он нам дал. В его сердце жил майский день, для него само имя нашей страны было смыслом и целью жизни. Путь его был — вперед! Его целью была Норвегия!»

Наконец выступил премьер-министр:

«Дорогой Фритьоф Нансен! Семнадцатого мая ты лежишь, покрытый флагом, который ты поднял выше и пронес вперед дальше, чем кто бы то ни было.

Не только мысли здесь присутствующих, не только мысли тех, для кого Норвегия — родное имя, мысли всего мира устремлены в этот час к человеку, о котором по праву можно сказать словами Бьёрнсона об Уле Булле: «Он был окружен почетом, но любовь лучше почета». Фритьофа Нансена любили тысячи людей, которым он протянул руку помощи в трудную минуту. Он растопил лед между народами».

Добровейн дал знак оркестру. Мы встали, и повсюду — на площади, на улицах раздалось: «Да, мы любим». Я невольно вспомнила Бьёрнсона, когда о нем упомянул премьер-министр Мувинкель, Бьёрнсона, который написал наш гимн и который сказал однажды, что жизнь Нансена — это гимн.

Народное шествие провожало Нансена в последний путь, этот путь был и самым коротким, и самым длинным. Медленно двигалась процессия от университета по улице Драмменсвейн, впереди четверка лошадей медленно влекла гроб, за ним шли восемь его друзей, дальше студенты, а дальше

тысячи людей. Вдоль всей дороги стояли вереницы народу, все в светлых праздничных нарядах в честь 17 мая, но все стояли молча, опустив перед собой флажки.

В крематории не было ни священника, ни речей, только музыка. Когда оркестр играл «Смерть и девушка», я вспомнила маму и как отец любил слушать в ее исполнении песни Шуберта. Цветы закрыли весь гроб. Не знаю, когда опустили его под пол. Все казалось таким нереальным. Мы сидели погруженные в думы и воспоминания. Последней запомнилась тихая, грустная песня «Я вечером так поздно лег». Я нечаянно взглянула на короля Хокона. По его щекам текли слезы. Для многих, очень многих из нас отец был таким человеком, которого уже никто не мог заменить.

Мы все обеднели, но даже в этот миг я чувствовала, что никогда не смогу его утратить. Жизнь отца кончилась, но его личность, его характер, его благородство и горячее сердце будет жить. В Пульхёгде я никогда больше не услышу его шагов в башне, его кабинет опустел навсегда. Лампа на рабочем столе, который был сделан по чертежам Одда, более не горит. Но во всем хорошем, честном, прекрасном отец живет, и в мыслях мы будем по-прежнему вместе.

Сейчас я могла вспомнить только последние дни его болезни, последнюю неделю, когда ему стало лучше и он снова был полон надежд. Воспоминание о том, что он с надеждой и бодростью думал о будущем, а смерть пришла так незаметно, смягчало горе.

Он как раз вернулся из ежегодной поездки в горы, куда ездил с Якобом С. Ворм-Мюллером и Вильгельмом Моргенштерне в конце февраля, и тут заметил, что левая нога распухла, и не слушается. Врач Рольф Хатлехуль осмотрел отца и уложил его в постель. Он счел это за тромбофлебит и сказал, что это скоро пройдет. Через неделю опухоль почти спала, но отец ослабел, цвет лица стал синюшным, пульс — быстрым и неровным. Врач сказал, что это признак болезни сердца.

Болезнь не появилась совершенно внезапно. Еще в декабре 1928 году у него случился на охоте первый сердечный приступ. С ним была Имми, она страшно перепугалась, увидев, что отец присел на пенек и что у него страшные боли. Она позвонила нам, Андреас посадил в автомобиль доктора Хатлехуля и помчался с ним сломя голову к отцу. Когда они приехали, отцу стало уже немного легче, и на следующий день его можно было везти домой. Но рентгеновское обследование показало, что сердце ненормально увеличено, а пульсации его неровны. Мерцательная аритмия, определил болезнь доктор Хатлехуль.

Отец, конечно, потребовал, чтобы ему сообщили результаты обследования. Ему сказали, что отныне он должен больше беречься. Но скоро он опять почувствовал себя бодрым и здоровым, а беречь свои силы ему никогда и в голову не приходило.

Напротив, он снова поехал с докладами по Европе и Америке и с прежней энергией продолжал работать над оказанием помощи армянским и прочим беженцам. До сих пор его здоровье не уступало его энергии, и он просто не мог представить себе, что сердце может отказать.

В горах Ворм-Мюллер и Моргенштерне заметили, что он теперь быстрее уставал и иногда отставал от них. Однажды он остановился и оперся на палку.

«Он ни слова не сказал, но я впервые увидел грусть на его лице», — рассказывает Ворм-Мюллер.

Но в избушке вся его усталость прошла. Он смеялся, рассказывал разные истории и был как всегда полон замыслов и мыслей. Часто он вслух мечтал о том, что ему хотелось бы сделать, прежде чем придется «расстаться с жизнью». Очень хотелось ему совершить кругосветное плавание на яхте в кругу хороших друзей, чтобы было много времени и можно было бы останавливаться там, где понравится. Он очень хотел повидать Египет, Индию и Тихоокеанские острова, особенно хотелось ему ознакомиться с восточными цивилизациями и народами. Эта давнишняя мечта часто возвращалась к нему.

И вот он внезапно повержен. Бледный и слабый, лежал он в своей необъятной кровати. Глаза стали огромными. Тут уж не спасала сила воли. Но он терпеливо сносил неизбежное. «Вот я лежу и думаю, как много бы еще нужно сделать», — говорил он с грустной улыбкой.



В первые недели ему было очень плохо, и выглядел он совсем нехорошо. В нижней части правого легкого появились уплотнения, однажды был обморок. Доктор Хатлехуль пригласил старого друга отца профессора Петера Ф. Хольста, и вместе они пришли к выводу, что у отца в легком закупорка сосуда. Он все время чувствовал колотье в боку, и в мокроте иногда появлялась кровь. Но он быстро оправился. Через три-четыре дня после обморока колотье прошло и сердце стало работать лучше. На ноге опухоль тоже почти исчезла. С 19 марта он уже чувствовал себя вполне хорошо, и выздоровление проходило нормально.

Теперь он и слушать ничего не желал о том, чтобы лежать в постели и быть послушным пациентом. За отцом ухаживала медицинская сестра, но ни она, ни доктор ничего не могли с ним поделать. Постель превратилась в рабочий стол, карты, книги, бумаги громоздились вокруг. Отец вызвал секретаря и стал диктовать ему длинные письма. К нему приходили сообщения о ходе работы в организации помощи, а отец письменно отвечал на них и давал советы. Он горячо занимался подготовкой экспедиции на Северный полюс, которую надеялся снарядить к следующему году. Из Бергена приехал навестить больного Хелланд-Хансен, но вместо визита ему пришлось работать с отцом.

Обо всем он помнил и всем интересовался. Только о себе не думал. Даже теперь, когда болезнь уложила его в постель и он сам, наверное, догадывался, что болезнь серьезна.

Он с удовольствием принимал гостей. Не раз к нему приезжал король Хокон и подолгу просиживал у его постели. Королева тогда почти все время находилась в Англии и навестила отца только перед отъездом, когда он был еще тяжело болен. Эрик Вереншельд заходил почти ежедневно, они с отцом болтали, смеялись, как обычно, ничего не изменилось в их отношениях. Торуп, Ула Томмесен, Отто Свердруп, Ворм-Мюллер — одним словом, все друзья отца то и дело звонили по телефону и навещали его, как только выдавалась такая возможность.

Однажды ему передала привет Нини Ролл Анкер, и отец тут же выразил желание видеть ее. Она сама так описала визит:

«Мы с Сигрун обедали за маленьким столиком около его кровати. В открытые окна виднелись распутившиеся березы Форнебу, фьорд. Весна. Фритьоф сидел в своей громадной кровати с какими-то удивительными колоннами по бокам. На кровати лежало множество книг, карт, он знакомился с ледовой обстановкой у полюса и пытался предсказать, какой она будет в следующем году. Он все время оживленно со мной разговаривал, досадовал на свою болезнь и сожалел, что не сможет поохотиться на глухарей. Выглядел он хорошо: загорелый, голову держал прямо. Но голос его был так слаб, взгляд такой далекий. Когда я собралась уходить, он удержал мою руку. „Спасибо, спасибо, что пришла“, — сказал он. Я не могла ответить. Я уже никогда его больше не увижу, подумалось мне. Это витало в воздухе, во всей комнате, он точно собрался в путь».

Профессор Ворм-Мюллер навестил отца за две недели до его смерти, отец тогда выглядел хорошо, и голос был нормальный. К ужасу Ворм-Мюллера, он смеялся и выкурил несколько крепких сигар. Он много говорил о Северо-Западном проходе, о том, что собирается о нем написать, и попросил Ворм-Мюллера разыскать кое-какие справки об английском торговом флоте пятнадцатого и шестнадцатого веков, рассказал о предстоящей экспедиции на Северный полюс на дирижабле, говорил о наступающей весне и радовался ей. Но когда речь зашла о европейской политике, лицо его омрачилось. Он был очень огорчен делами в Лиге наций и обеспокоен положением Норвегии в Женеве. Он сказал, что у наших представителей нет «положительного духа».

Когда пришли дети, его мрачность прошла. Детей он желал видеть каждый день. Ева была уже большая и понимала, что дедушка болен, она подходила к его кровати тихонько и осторожно.

«Тебе теперь лучше, дедушка?» Он растрогался: «Да, радость моя. Скоро я встану, и мы пойдем с тобой гулять».

Маленький Фритьоф еще издали давал знать о своем приходе. Я боялась, что он утомит отца, и хотела оставить его в холле, но отец рассердился: «Нет, пускай он придет». Фритьоф ворвался, не закрыв за собой дверь: «Вот и я, дедушка!»

Началась обычная игра. «Бээ»,— сделал отец. И Фритьоф: «Бээ». И тут оба засмеялись. Фритьоф это до сих пор помнит. Тогда ему было всего три года, это его первое воспоминание.

Я каждый день приходила к отцу. Чаше всего с детьми, а когда они уходили, я оставалась еще посидеть. Я всегда спрашивала, не устал ли он, а он только брал мою руку: «Нет, что ты. Я свеж как огурчик. Вот только ноги распухли и никак не проходят».

Мы болтали о всякой всячине, о знакомых, которые передавали ему приветы, о разных пустяках. Но говорили и о литературе, несколько раз речь заходила о Достоевском. В молодости на отца больше всего повлиял Ибсен. «Ибсеновская тема воли больше всего способствовала становлению моего характера»,— говорил отец. Теперь его покорила глубокая человечность Достоевского, его знание человеческого страдания, его безграничная жалость, смирение и самоанализ. Высокомерия отец не прощал никогда. «Великая грешница, если она сохранила теплоту сердца, лучше, чем люди, которые хвастаются своей незапятнанностью»,— ворчал он. Доброта и терпимость сделались в его глазах самым важным качеством. Князь Мышкин и Алеша безраздельно завоевали его любовь.

«Вот таким хотелось бы быть самому»,— говорил он.

В те дни я перечитала некоторые книги Достоевского. Замечательные это были часы, когда мы с отцом о них беседовали.

«Знаешь что?— сказал он как-то вдруг.— А не заняться ли тебе этим писателем поосновательней?»—«Да-а,— ответила я озадаченно.— А как?»—«Поди в университетскую библиотеку и почитай! Только читай вдумчиво, делай записи. Прочти все, от начала до конца. До сих пор ты его читала поверхностно, как читают для удовольствия».

Я рассказала отцу, что Нильс Коллет Фогт вбил себе в голову сделать из меня журналистку. Бьёрн Бьёрнсон уговаривал всех идти в актеры, а Фогт считал, что блаженны только пишущие. Отец презрительно отмахнулся: «Писать? Что значит писать? По-моему, сперва нужно, чтобы было о чем написать».

Но вдруг он увидел выход. Если я как следует изучу какого-то автора, то кое-чему научусь. Он даже сам увлекся этой мыслью: «Да я бы и сам с удовольствием этим занялся! И с радостью буду тебе помогать».

Но было уже поздно.

За исключением перебоев в деятельности сердца, которые обнаружил доктор Хатлехуль, отец чувствовал себя гораздо лучше. Однако доктор Хатлехуль не доверял этому улучшению. Однажды, посмотрев отца, он пришел к нам и сказал: «Мне очень грустно, что твой отец так болен». От этих слов у меня сжалось сердце.

«Конечно, он сможет подняться и даже работать сможет,— продолжал доктор Хатлехуль.— Но ты можешь представить себе отца больным сердечником?»

Нет, я не могла себе этого представить. Меня охватило не столько горе, сколько безграничная жалость. Нельзя, чтобы это случилось! Я не могла даже представить этого.

Братьям и сестре дали знать о состоянии отца. Имми с Акселем вернулись из Египта, Одд с Кари и прелестной Марит из Америки, только Коре не мог приехать домой из Канады. Отец был бесконечно счастлив, видя вокруг себя детей и внуков.

2 мая он начал вставать, и все шло очень хорошо. Большую часть дня он проводил в работе, иногда ходил по веранде. Когда он ложился в постель, мы по очереди сидели около него. Он был в прекрасном настроении, но, наверное, слишком переоценил свои силы, и вот однажды, это было 8 мая, доходило до того, что опять заболело сердце. Боль прошла так же быстро, как появилась, но я вспомнила слова доктора Хатлехуля — сердечник. Отец этого не сознавал, он сидел на балконе, работал, чувствовал себя хорошо, и 12 мая написал письмо другу детства адмиралу Карлу Доуэсу.

«Дорогой Карл, вот я лежал и вспоминал тебя и подумал, что надо бы тебе написать. Несколько дней тому назад прочел твою умную статью, а тут и письмо от тебя пришло. Сердечно благодарю тебя, сказать не могу, как оно меня обрадовало.

Да, действительно странно подумать, что теперь мы превратились в настоящих стариков и большая часть жизни прожита, мне как-то не кажется таким уж далеким то время, когда мы были молоды и «подавали надежды» и вся жизнь лежала впереди, словно удивительная страна приключений. Да, хорошее было время. Чем старше становишься, тем чаще возвращаешься к воспоминаниям детства и юности, эти мысли дают отдых и бодрость, а ты ведь неразрывно связан с этими воспоминаниями. Да, хорошо было бы встретиться теперь, на старости лет, как раз пора. Давай устроим эту встречу поскорее.

Мои дела идут помаленьку, я пролежал в постели больше десяти недель, но в последнюю неделю каждый день ненадолго вставал, ноги еще не очень-то слушаются, приходится сидеть в комнате да на балконе на солнышке, я и сейчас здесь пишу. Надеюсь, что скоро станет получше. Скучное это дело — воспаление сосудов, и мне, наверное, радоваться надо, что еще так обошлось. У меня еще и тромб, ужасно скучная штука.

Да, я уж вспоминал тебя, что тебе пришлось уступить неумолимой старости и отказаться от привычной работы и ответственности. Но я уверен, что вам с Каролиной хорошо дома и что дети и внуки вас радуют. Это и впрямь большая радость. У меня трое детей имеют свои семьи, сейчас они здесь, и внуков трое, а младшая дочка Имми замужем за художником Револьдом, они начали постройку дома здесь поблизости. Лив и ее муж Хейер построились тут еще несколько лет назад.

Передай от меня большой привет Каролине, и тебе привет, надеюсь, что скоро встретимся.

Твой верный старый друг Фритьоф Нансен».

На следующий день, это было 13 мая, он опять сидел на балконе, положив перед собой бумагу и письменные принадлежности. Кари принесла ему утренний чай, и они немного поговорили. Отец чувствовал себя бодрым и веселым. Внизу фруктовый сад стоял в цвету. На фоне хвойного леса зеленела нежная дымка берез, далеко за вершинами деревьев сверкал на солнце фьорд, на горизонте синели горы. На опушке пели дрозды и зяблики, пролетела трясогузка. Отец впитывал все это — аромат цветущих деревьев, солнце, привольный вид, который он так любил.

«Большая липа еще не зеленеет,— сказал он с улыбкой Кари.— Но скоро и она распустится. Так я увижу сразу две весны».

Он хотел еще что-то сказать о весне, но не успел. Голова упала на грудь, Кари бросилась к нему.

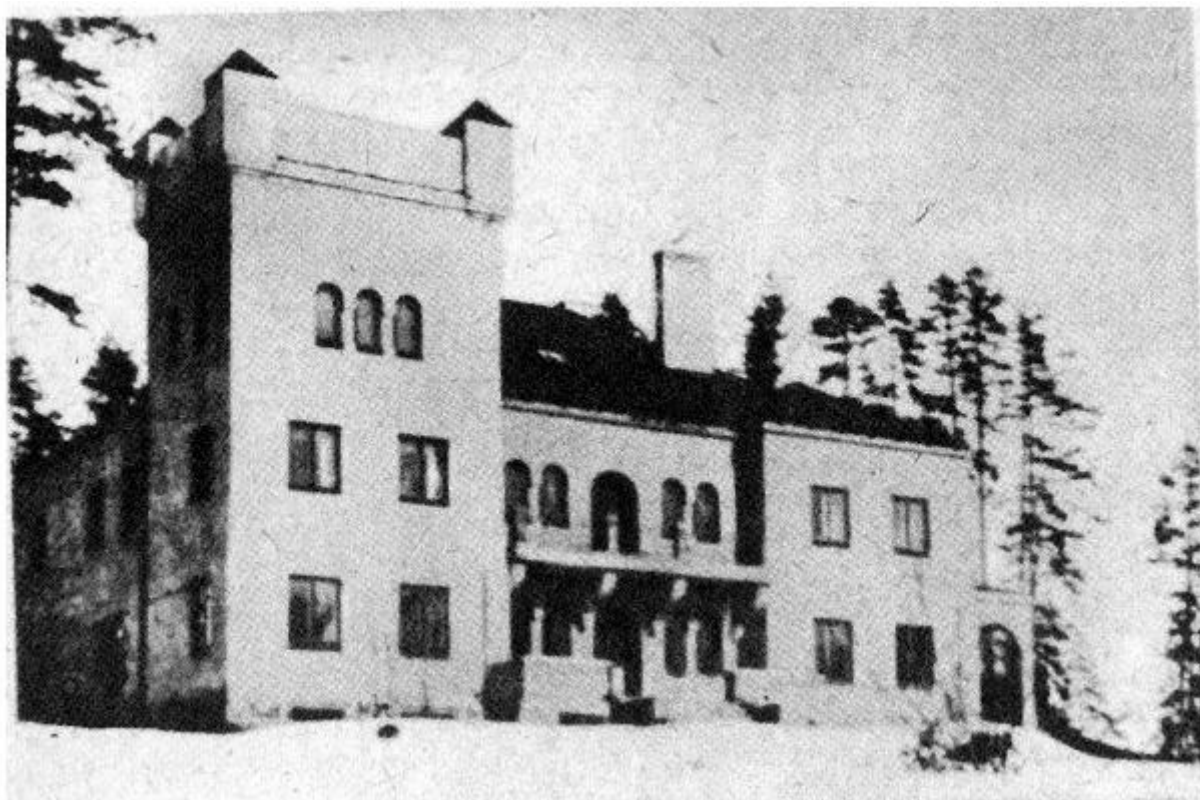
Он уже умер.

## ФОТОГРАФИИ

### 25

После смерти Евы в 1907 году все изменилось в Пульхёгде. Нансен остался один с детьми. Здесь мы видим его в 1908 году. Слева направо: Лив, Одд, Нансен с Имми на руках, Осмунд и Коре.





## 27

У Фритъофа Нансена всегда было полно дел, и стол его всегда был завален бумагами, но он всегда знал, где находится то, что ему нужно. Снимок сделан в «конторе» Нансена в Пульхёгде в 1909 году.





## 28

Вверху слева: Ф. Нансен в мастерской Вереншельда в 1908 году.

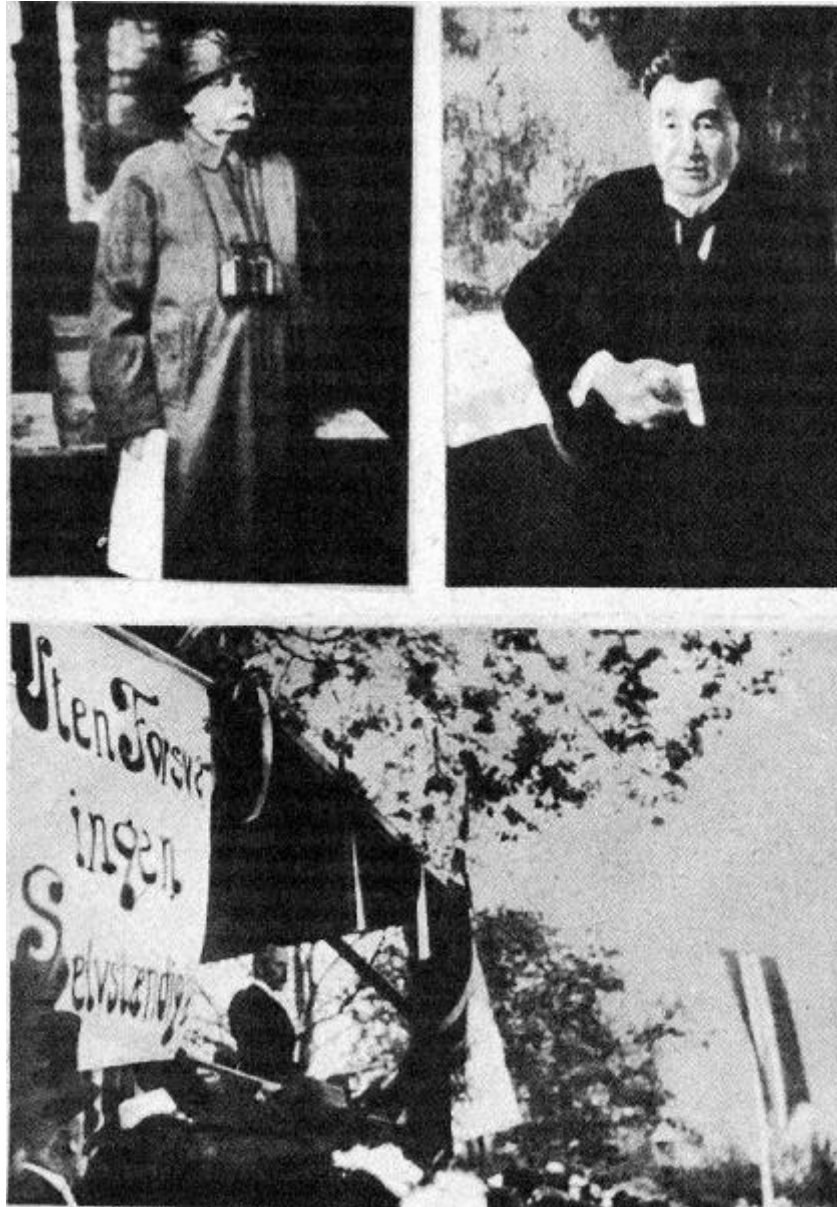
Справа: старшая дочь Лив с Оддом и Имми в саду Пульхёгды.

Внизу: гости на борту «Веслемей» у берегов Фьосангера в июне 1912 года. Слева направо: редактор Нурдаль-Ульсен, Лив, г-жа Нурдаль-Ульсен, профессор Хелланд-Хансен, Фердинанд Фабрициус (отец г-жи Нурдаль-Ульсен), за ним Коре, Фритьоф Нансен, один из сыновей Хелланд-Хансена.



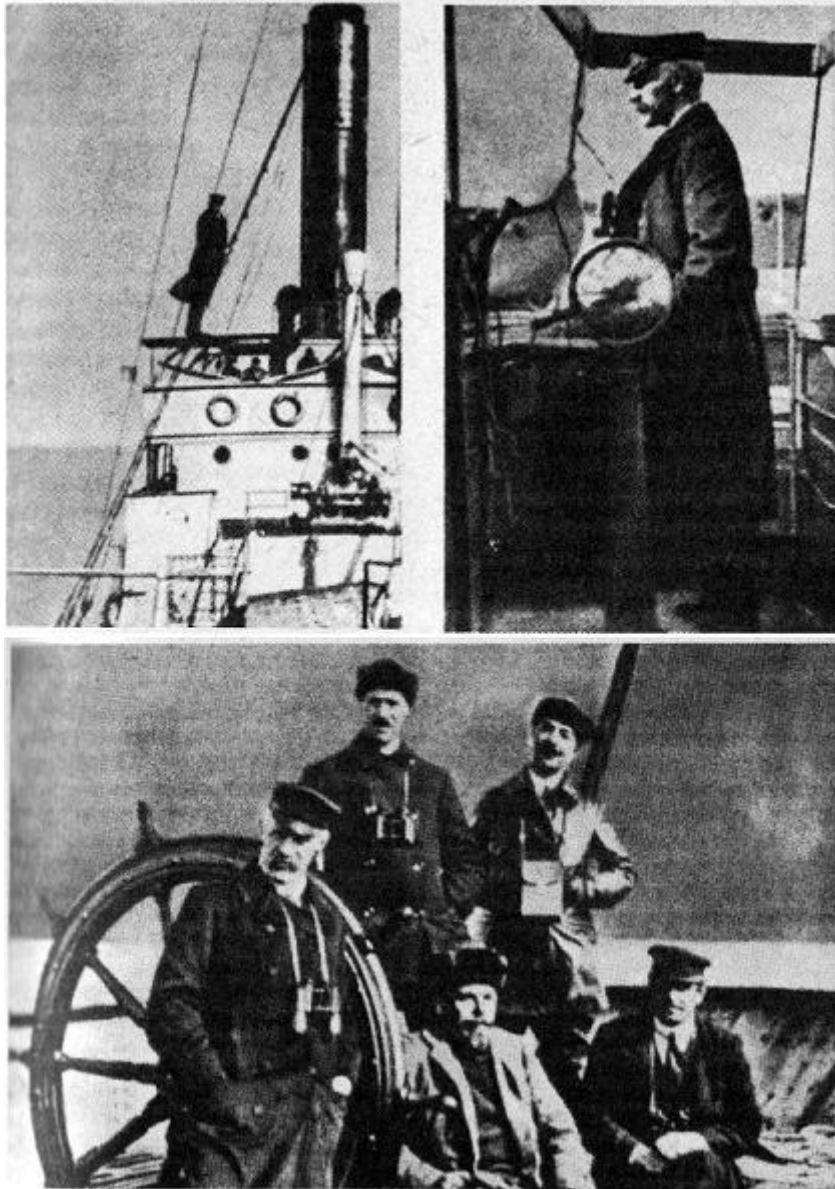
## 29

Вверху слева: премьер-министр Гуннар Кнудсен, один из политических противников Нансена. Справа: добрый друг Нансена Ула Томмесен. (Фрагмент портрета кисти Эрика Вереншельда.) Внизу: Ф. Нансен, горячий поборник укрепления обороноспособности страны, выступает на митинге в Акерсхусе.



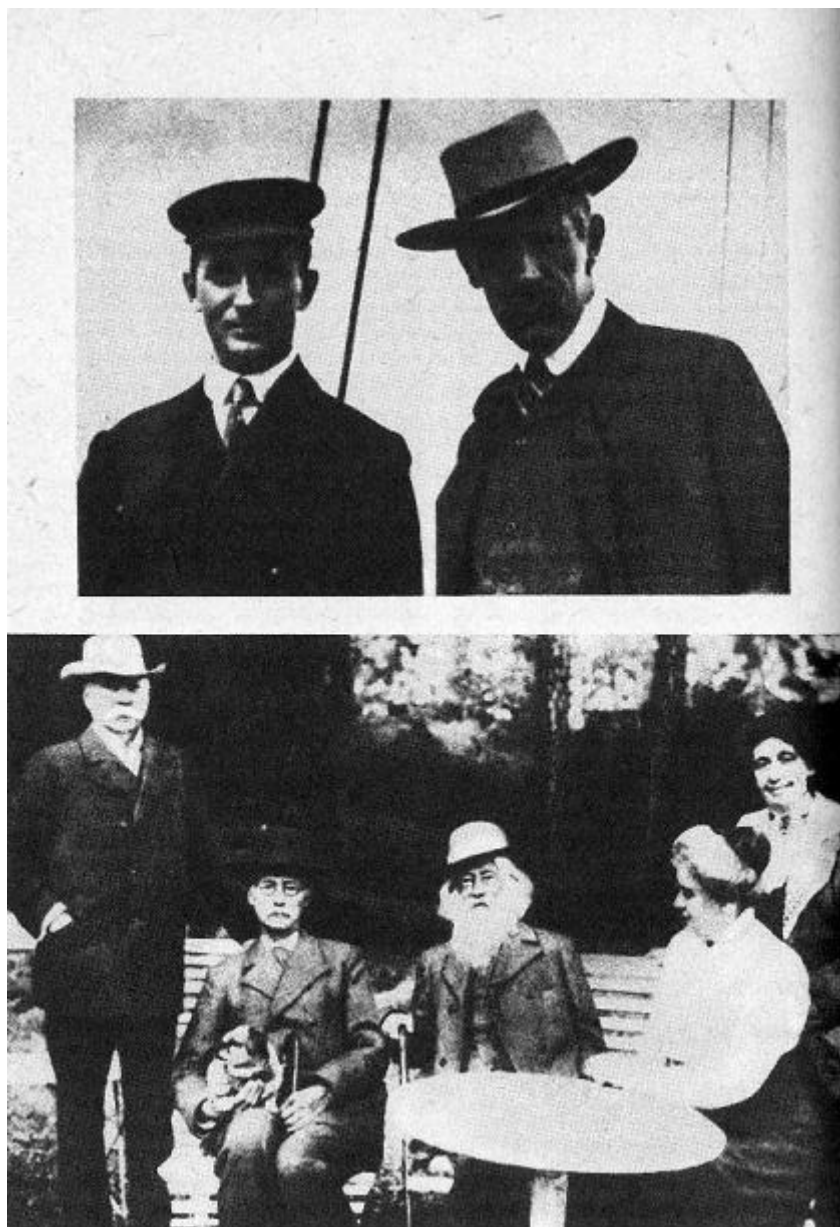
### 30

Плавание на «Корреkte» в 1913 году. Вверху слева: Нансен поднимается к «бочке». Справа: Ф. Нансен на командном мостике. Внизу: участники плавания на «Корреkte». Слева направо: Ф. Нансен, Иона Лид, руководитель экспедиции, Степан Востротин, Иосиф Лорис-Меликов и капитан Самюэльсен.



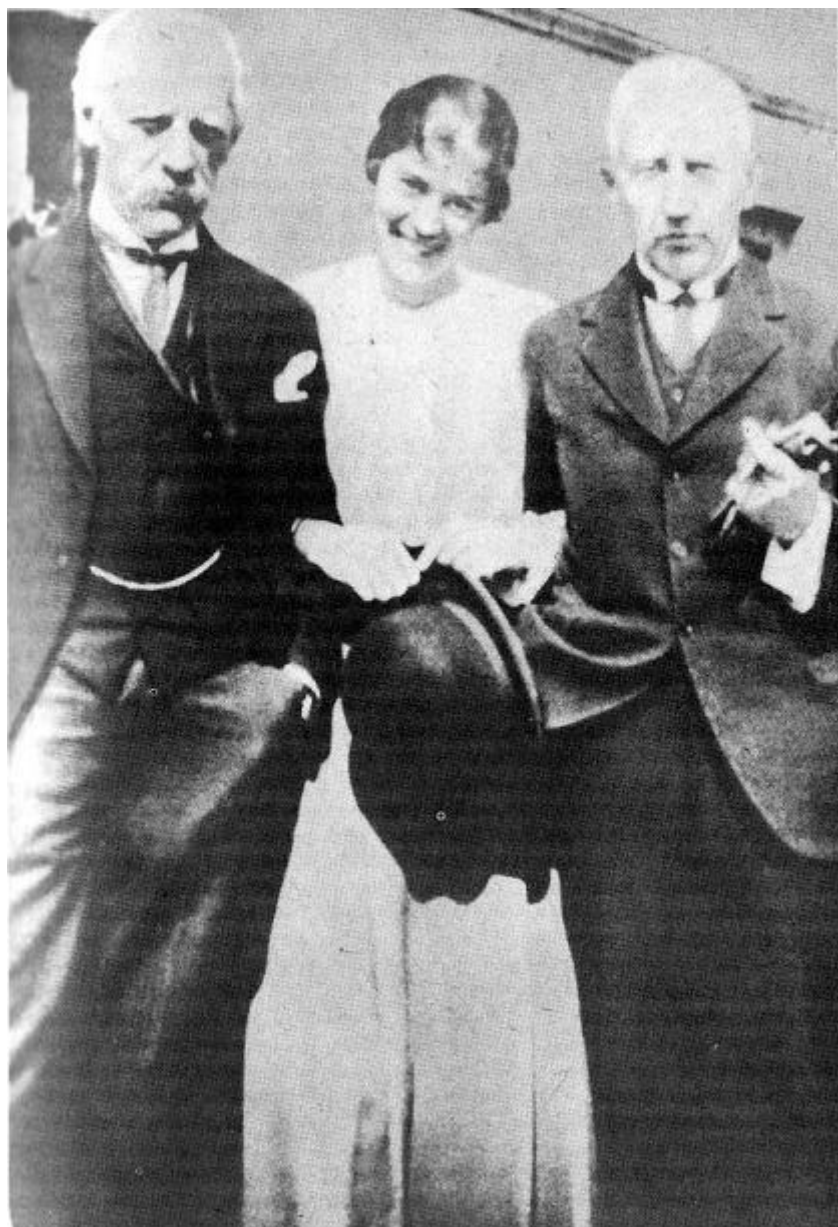
## 31

Вверху: Б. Хелланд-Хансен и Ф. Нансен во время плавания «Армауэра Хансена» к Азорским островам в 1914 году. Внизу: семья родственников Евы из Бестума. Слева направо: Торвальд Ламмерс, профессор зоологии Оссиан Сарс, профессор истории Эрнст Сарс, певица Малли Ламмерс и пианистка Майя Миккельсен.



«Лицензия № 1», выданная Военно-торговым советом в Вашингтоне, касалась и снабжения продовольствием экспедиции Руала Амундсена на «Мод». На снимке — Фритьоф Нансен, Лив и Руал Амундсен после получения лицензии.





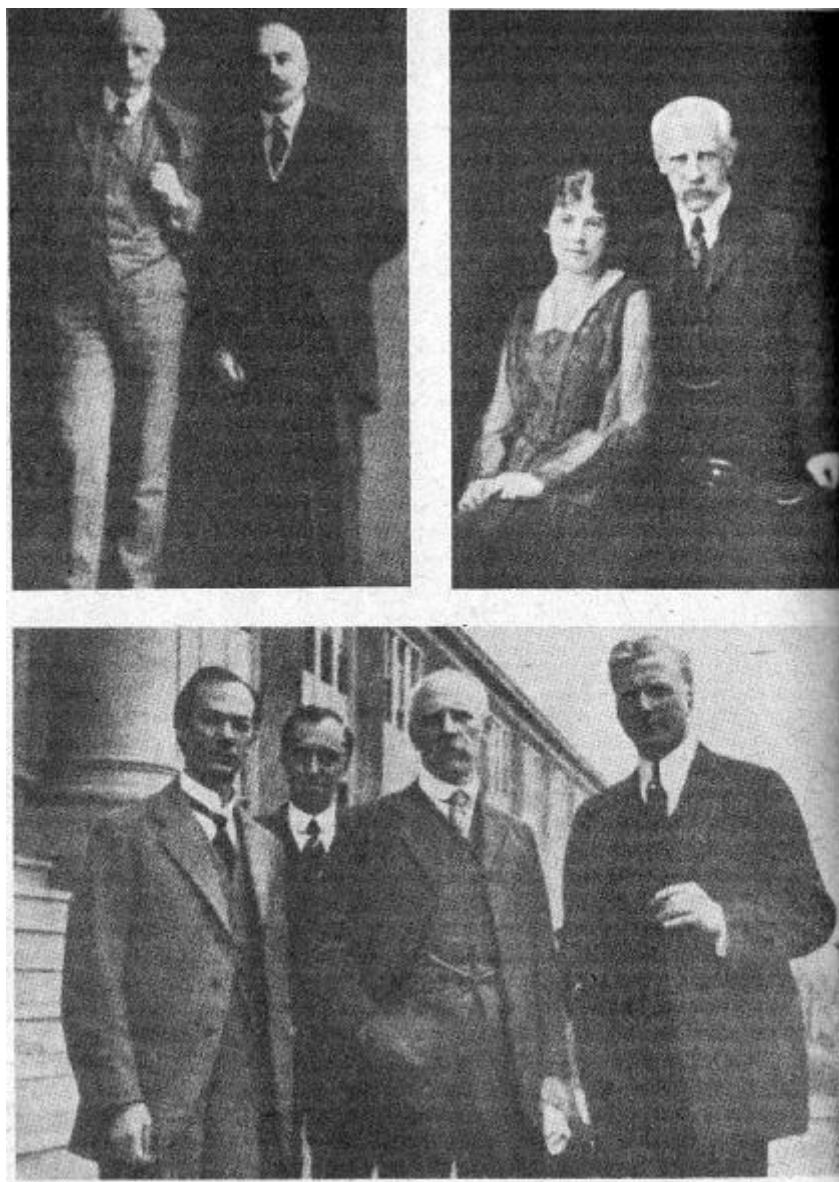
### 33

Вверху: Фритьоф Нансен, Лив и Вильгельм Моргенстьерне на воскресной прогулке в Вирджинии. Внизу: на воскресных вылазках. 1918 год.



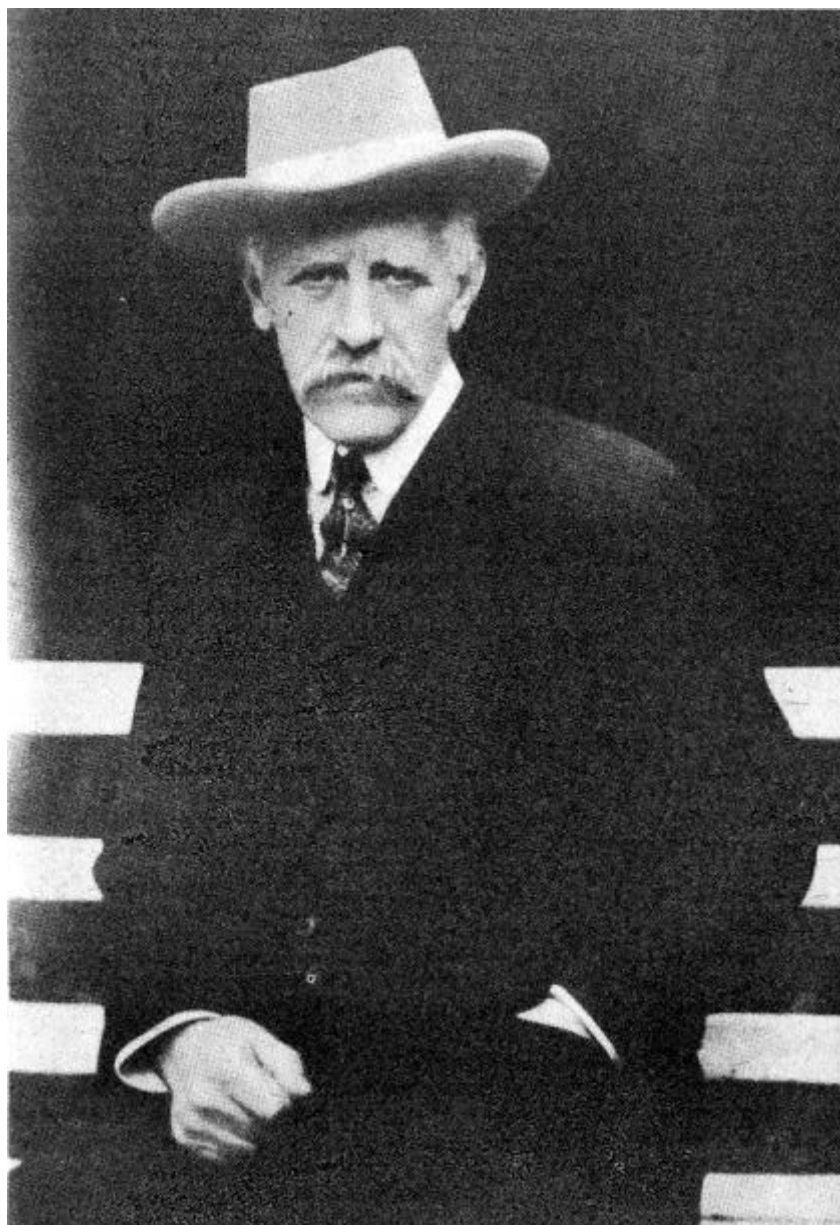
## 34

Вверху слева: Ф. Нансен и торговый советник И. Бауман. Вашингтон, 1918 год, Справа: Лив и Фритъоф Нансен. 1918 год. Внизу: у здания Военно-торгового совета после подписания договора 30 апреля 1918 года. Слева направо: м-р Уайт, В. Моргенстьерне, Ф. Нансен и м-р Чадбурн. Фото сделано Р. Бьерке, который с нетерпением ждал их.



**35**

Фритъоф Нансен в Софии в 1922 году.



## 36

«Король Лапландии» Ялмар Люндбом. Рисунок Альберта Энгстрёма.



37

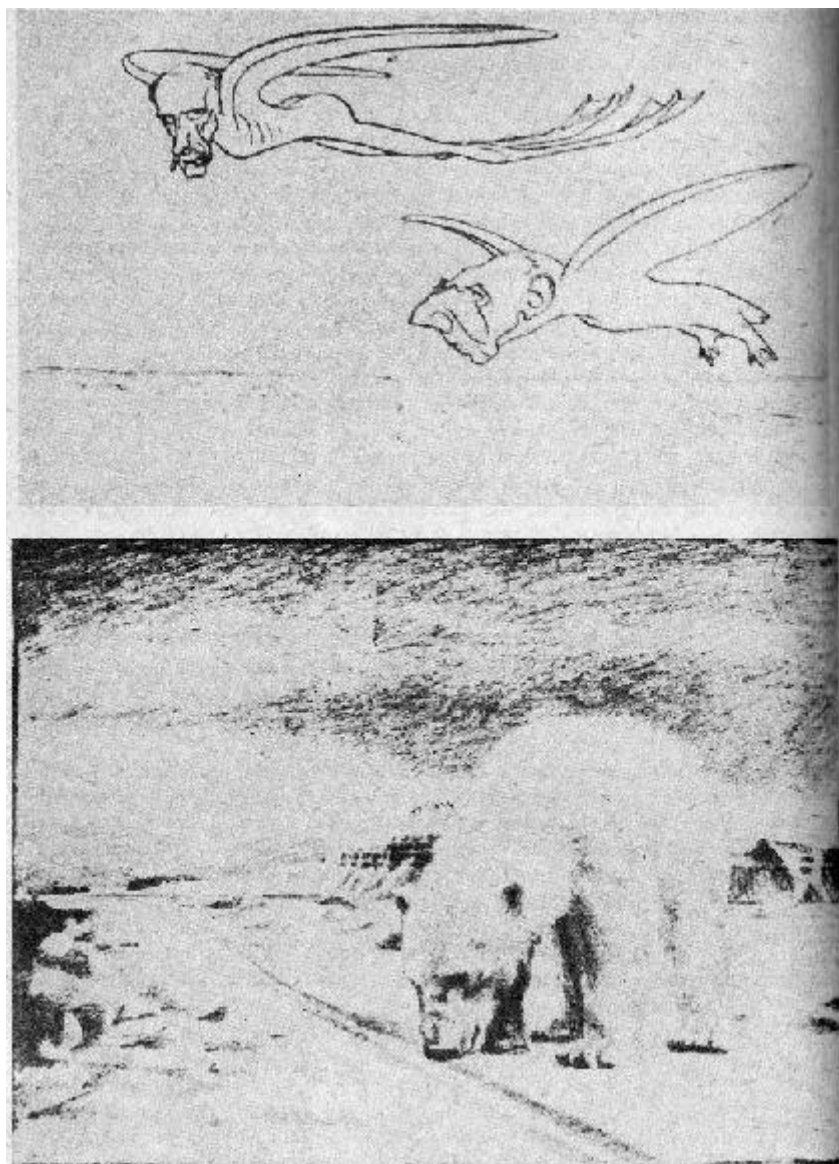
Рисунок Одда, изображающий Нансена за письменным столом.



## 38

Вверху: дружеский шарж Улафа Гюльбранссона из газеты «Тиденс Тейн» под названием «Нансен и Амундсен летят к полюсу». Внизу: в зрелые годы Нансен увлекся литографией. Он многому научился у датского литографа Р. В. Юханнсена и Эрика Вереншельда, которому особенно нравились его белые медведи.





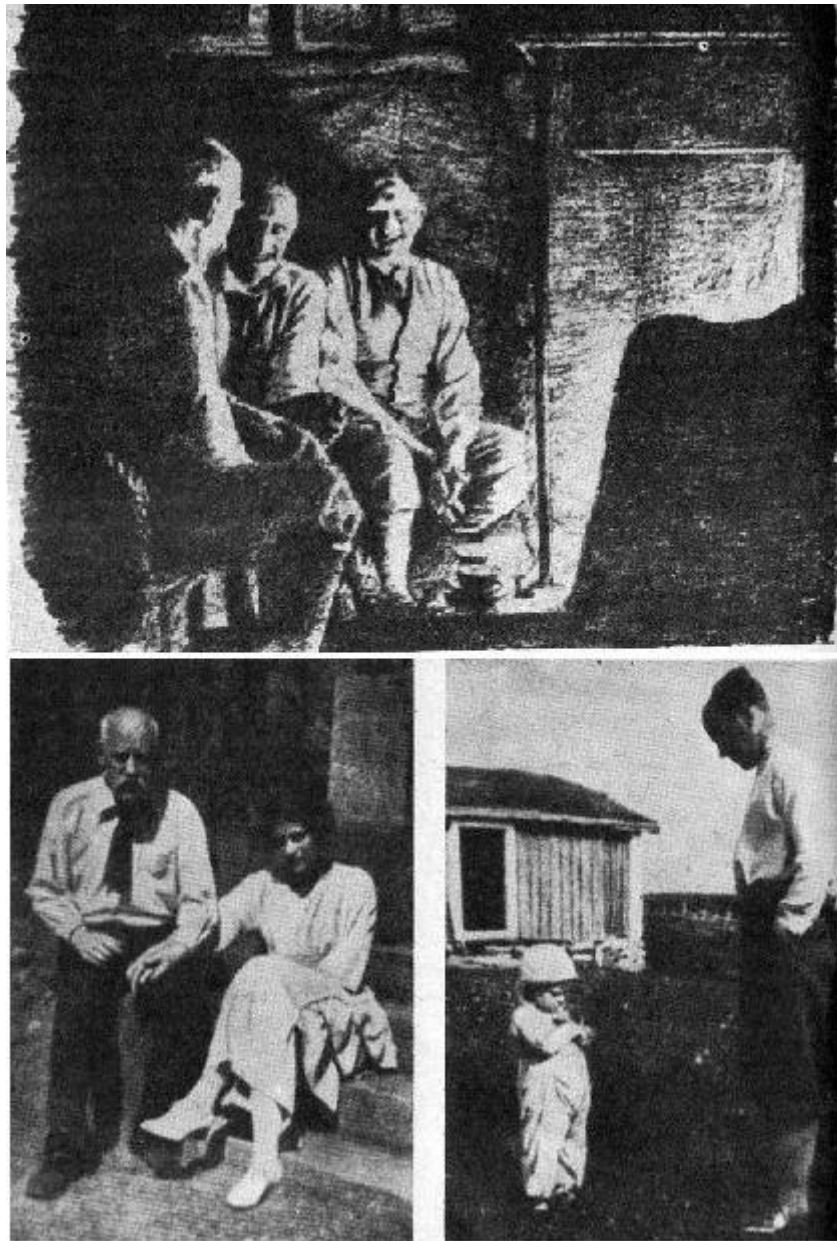
Вверху: совместное заседание комиссии, занимающейся проблемой армянских беженцев, и армянского правительственного комитета. 1922 год. Внизу: у форта Тарки на Кавказе летом 1925 года.



## 40

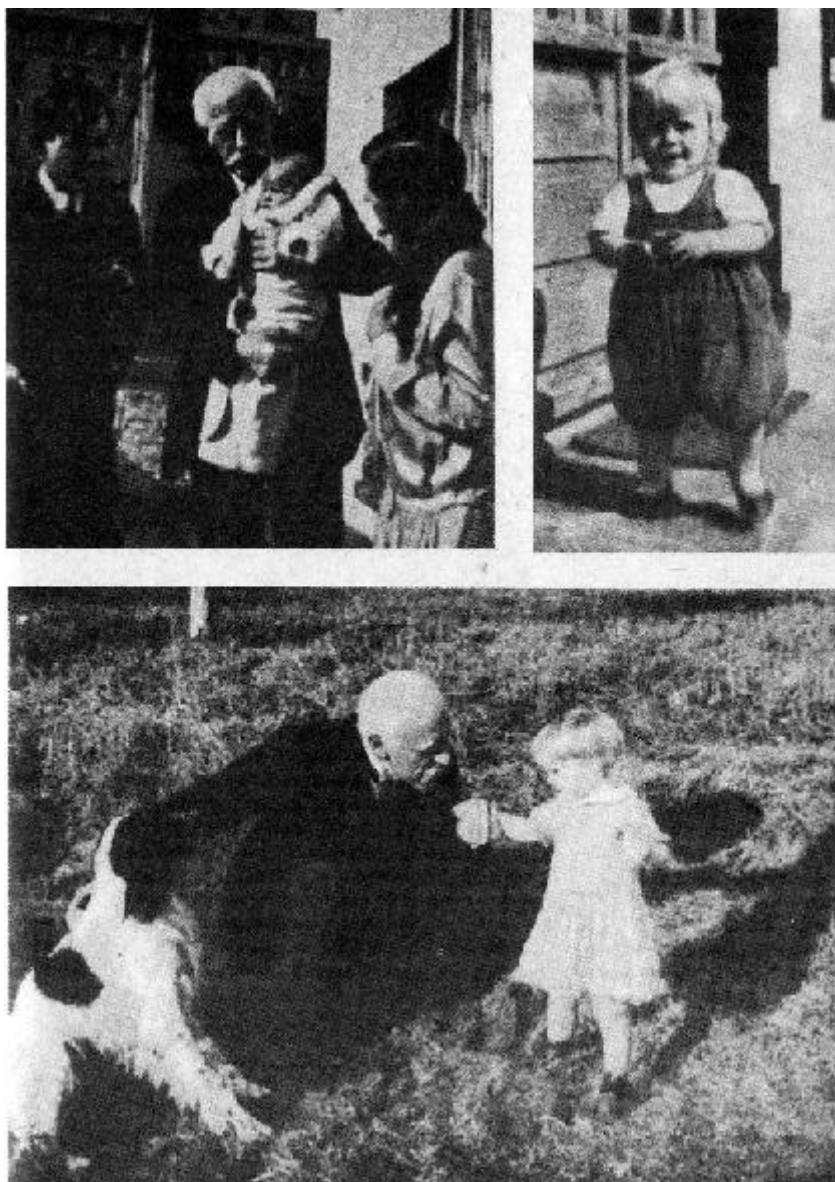
Вверху: Фритьоф Нансен рассказывает о своих поездках Вильгельму Моргенстьерне и Якобу Ворм-Мюллеру у камина в избушке в Голо. Литография Нансена.

Внизу слева: вместе с Лив Нансен присматривает за своим первым внуком. Весна 1922 года. Справа: Андреас Хейер и малыш Фритьоф в горах.



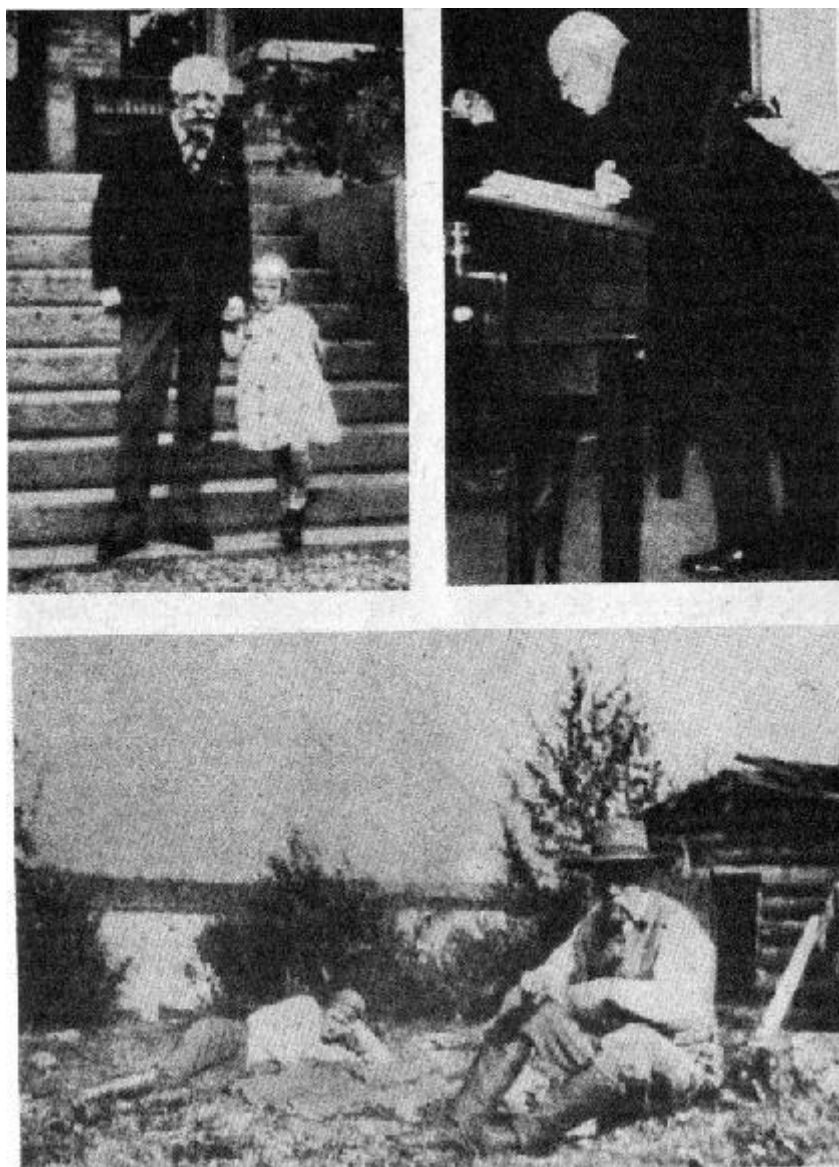
## 41

Вверху слева: во время лекционной поездки по США в 1929 году Фритьоф Нансен навестил Кари и Одда в Бруклине. На снимке дедушка держит Маргит на руках. Справа: первые шаги Фритьофа. Снимок деда. Внизу: дедушка с Евой в саду Пульхёгды весной 1927 года.



## 42

Вверху слева: Фритьоф Нансен и Ева в Пульхёгде. 1928 год. Справа: Фритьоф Нансен выступает по радио в декабре 1929 года. Внизу: Имми и Фритьоф Нансен.



## 43

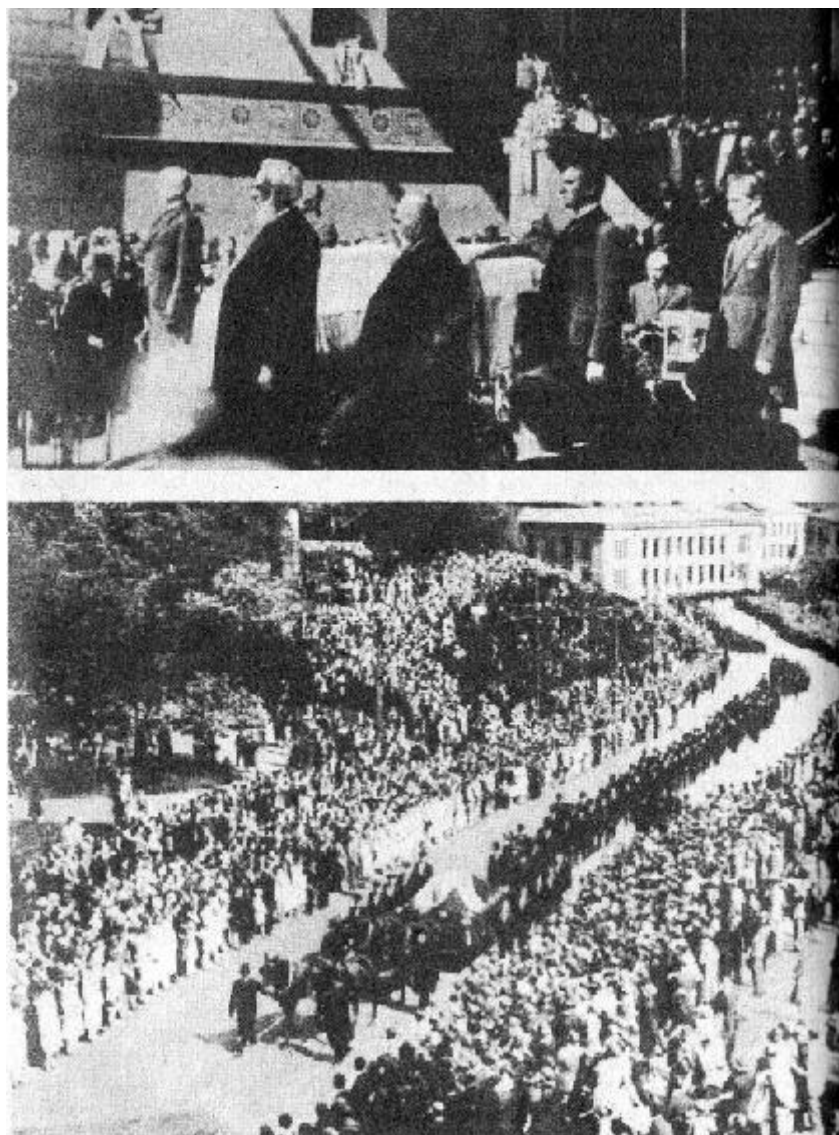
Вверху слева: дирижабль «Граф Цеппелин» доставит д-ра Гуго Экенера и Фритьофа Нансена во Фридрихсхафен в 1928 году. Справа: Фритьоф Нансен в гостиной в Пульхёгде. Внизу: дедушка и Ева на санях.



## 44

Вверху: торжественная церемония у гроба в Актовом зале 17 мая 1930 года. У гроба слева — Эрик Вереншельд, Отто Свердруп, Бьёрн Хелланд-Хансен и Филип Ноэль-Бейкер; справа — Александр Нансен, Улаф Дитрихсон, Софус Торуп (не виден) и Улаф Сарс. Внизу: траурная церемония движется по улице Драмменсвей к Университету.





## Примечания

138

Чудесная страна (англ.). (Прим. перев.)

139

«...споры вокруг языка...»—в течение более чем 400 лет пребывания Норвегии в унии с Данией норвежский язык подвергся сильному влиянию датского языка, в результате чего сложился датско-норвежский язык, названный по предложению Б. Бьёрнсона в 1890 г. «фиксмол» (т. е. государственный язык). Народный норвежский язык в **XVII** и **XVIII** вв. сохранялся только как местный диалект. С развитием национального самосознания, особенно после отделения Норвегии от

Дании, пробуждается особый интерес к национальному языку. На основе искусственного синтеза норвежских местных диалектов в середине XIX в. Ивар Осей (см. ниже) создал новую форму норвежского языка, получившую название «лансмол» (т. е. язык страны). Борьба между сторонниками этих двух форм привела к тому, что стортинг законом от 1892 г. обе формы языка признал равноправными и на лансмоле было разрешено преподавать в школе, причем право решать вопрос о языке обучения было предоставлено самим школам. Однако споры между сторонниками риксмолы и лансмолы продолжались и временами принимали весьма резкий характер. После отделения Норвегии от Швеции усилилась тенденция к расторжению языкового союза с Данией и полного перехода на государственный язык, предложенный И. Осеном. В 1909 г. споры о языке обострились вновь в связи с тем, что выделилась группа лиц, стремившихся использовать споры о языке для раскола населения на коренных норвежцев и «чужаков». В последующее время споры о языке потеряли свою остроту, однако попытки ликвидировать двойственность литературного языка не дали результатов.

## 140

*Осен, Ивар* (1813—1896),— норвежский языковед, инициатор и ведущая фигура развернувшегося в середине 50-х годов XIX в. в Норвегии движения за создание нового литературного языка, построенного на базе местных крестьянских диалектов. Началом движения считается попытка И. Осена создать на основе древненорвежского языка и изученных им местных диалектов нового культурного норвежского языка. В 1848 г. Осен выпустил первую «Грамматику норвежского языка», а еще через два года — первый «Словарь норвежского языка».

## 141

В 1376 г. после смерти норвежского короля Хокана, женатого на датской королеве Маргарите, между Норвегией и Данией была заключена т. н. Кальмарская уния. Королем Норвегии и Дании был провозглашен их малолетний сын Улаф. Однако фактически правила его мать, регентша Маргарита. После смерти Улафа, а прожил он недолго, королева Маргарита стала единовластной правительницей Дании и Норвегии, а через несколько лет и Швеции. С этого момента начался длительный период политического господства Дании в Скандинавии. В связи с этим 1376 г. считают годом потери Норвегией государственной независимости и началом многовекового пребывания под чужеземным господством.

## 142

Что? (англ.).

Простите (англ.). (Прим. перев.).

## 143

«Красавица» (норв.). (Прим. перев.).

## 144

*Хьелланн, Александр* (1849—1906),— писатель, крупнейший норвежский мастер реалистически-психологического романа. В ряде произведений дана резкая критика социальных несправедливостей, лицемерия буржуазной религии и морали, пороков буржуазного воспитания.

## 145

Из стихотворения «Syng mig hjem» («Спой мне о доме»). 1891. *(Прим. перев.)*.

## 146

Дубовая долина *(норв.)*. *(Прим. перев.)*

## 147

Из стихотворения О. Винье «У Рондских гор». *(Прим. перев.)*

## 148

Выживание наиболее приспособленных *(англ.)*.

## 149

Альфред (849 — 901) — король Уэссекса, позднее — король Англии. *(Прим. перев.)*.

## 150

«Норвежское море». *(Прим. перев.)*.

## 151

«Колебания температуры моря и атмосферы в Северной Атлантике». *(Прим. перев.)*.

## 152

«Tidens Tegn» — ежедневная газета, выходившая в Норвегии с 1910 по 1940 год. *(Прим. перев.)*

## 153

Маркхэм, Клементс Роберт (1830—1916), — английский географ и путешественник, с 1893 г. — президент Королевского Географического общества. Принимал ближайшее участие в снаряжении полярной экспедиции Джорджа Нэрса в 1875 г. Автор многих географических книг.

## 154

Регин и Сигурд — герои скандинавской мифологии. По преданию кузнец Регин выковал для своего приемного сына Сигурда меч, чтобы Сигурд смог убить дракона Фавнира и овладеть его огромными сокровищами. В дальнейшем Регин сам был убит Сигурдом.

## 155

Из притчи Соломона: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его». (*Прим. перев.*)

## 156

*Сибирское акционерное общество* было создано в Норвегии в 1911 г. на английские, норвежские и русские капиталы с целью организации экспортно-импортной торговли с Западной Сибирью через Карское море.

## 157

*Первая попытка* достигнуть устья Енисея была предпринята в 1912 г. на норвежском корабле «Тулла». Однако, натолкнувшись на значительные скопления льдов в Карском море, «Тулла» вернулся назад, не достигнув цели.

## 158

*Востротин, Степан Васильевич* (1864—1919),— золотопромышленник, городской голова Енисейска, член III и IV Государственных дум от Енисейской губернии, кадет; пользовался большой популярностью среди сибирской буржуазии. Отстаивал идею Северного морского пути в Государственной думе. После Октябрьской революции принимал активное участие в контрреволюционном движении в Сибири. После разгрома контрреволюции бежал за границу.

## 159

*Амурская железная дорога* от станции Куенга Забайкальской железной дороги до Хабаровска протяженностью 1998 км строилась на средства казны в течение 1908—1916 гг.

## 160

*Лиестель, Кнут* (1881 —1952),— норвежский ученый, исследователь народного фольклора; основатель (1914 г.) и руководитель Норвежского собрания письменных памятников фольклора.

## 161

*Кнудсен, Гуннар* (1848—1928),— норвежский политический деятель, лидер партии Венстре, премьер-министр в 1908—1910 и 1913—1920 гг.

## 162

*Берге, Абрахам Теодор* (1851 —1936),— норвежский политический деятель, до 1909 г. член партии Венстре, один из организаторов партии «Свободомыслящие венстре». Член стортинга с 1892 г., неоднократно занимал министерские посты, в 1923—1924 гг.— премьер-министр.

## 163

*Кунув Воллерт* (1845—1924),— норвежский политический деятель. Как лидер партии «Свободомыслящие венстре», Кунув сформировал в 1910 г. вместе с партией Хейре коалиционное правительство. После ухода правительства в отставку (1912 г.) отошел от политической жизни.

## 164

*Хоконсхалле* — трехэтажное здание, построенное в Бергене в XIII в. для королевских приемов и празднеств. К концу XVI в. пришло в очень запущенное состояние и с тех пор употреблялось в качестве зернохранилища, оборонительного сооружения, тюрьмы. В 1870 г. было полностью восстановлено и использовалось для приемов и национальных торжеств.

## 165

*Ллойд-Джордж, Дэвид* (1863—1945),— английский государственный деятель, лидер либералов, в 1916—1922 г. премьер-министр. Один из главных организаторов антисоветской интервенции и блокады Советской России.

## 166

См. комментарий №83

## 167

*Союз обороны Норвегии* был создан в 1886 г. как добровольная организация с целью оказания содействия правительству и укрепления обороноспособности страны.

## 168

*Кинк, Ханс* (1865—1926),— видный норвежский писатель, один из лучших бытописателей норвежской деревни.

## 169

*Улаф Трюгвассон* (X в.)— норвежский король, изображенный в «Книге королей» Снорри Стурлусона. Снорри Стурлусон (1178—1241) — выдающийся исландский скальд; его «Книга королей» представляет собой эпическое описание истории Норвегии с древнейших времен до 1117 г.

## 170

Из стихотворения «На высотах», 1859—1860. (*Прим. перев.*)

## 171

Финсе и Хаугастель — железнодорожные станции между Бергеном и Осло, примерно в 150—200 км от Бергена.

## 172

Гудбрансдаль — географическая область в центре Южной Норвегии.

## 173

*Гувер, Герберт Кларк*, — американский политический деятель. В период первой (а также после второй) мировой войны занимался снабжением нуждающихся стран продовольствием. (Подробнее см. комментарии об АРА.) В 1921 — 1929 гг. — министр торговли, 1929 — 1933 г. — президент США.

## 174

*Сервис, Роберт Вильям* (1874—1958), — канадский поэт и новеллист. Содержание многих произведений Сервиса связано с его путешествиями в субарктические районы, где он провел 8 лет.

## 175

*Вейман, Стенли Джон* (1855—1928), — английский новеллист, писавший в приключенческом стиле.

## 176

*Маккормик, Вэнс Кризуэл* (1872—1946), — американский политический деятель, демократ, газетный издатель. Член Верховного экономического совета США, председатель Военно-торгового совета США (1917—1919 гг.), советник президента на мирных переговорах в Париже (1919 г.).

## 177

*Илен, Нильс Клаус* (1855— 1925), — норвежский политический деятель, промышленник, член партии Венстре, министр труда в 1908—1910 гг., министр иностранных дел в 1913—1921 гг.

## 178

*Сёренсен, Йон* (1868—1936), — норвежский педагог и литератор. На основе архивов Нансена, бесед с его родственниками и знакомыми создал книгу «Сага о Фритьофе Нансене» (1931 г.).

## 179

*Оссецки, Карл* (1887—1938), — известный немецкий журналист, пацифист. В 1936 г. удостоен Нобелевской премии мира; погиб в фашистском концлагере.



## 180

*Кейльхау, Вильгельм* (1888—1954),— норвежский ученый и общественный деятель, автор ряда работ по истории и экономике Норвегии.

## 181

*Ворм-Мюллер, Якоб*,— норвежский историк и политик. В 1926—1927 гг. член норвежской делегации в Лиге наций. Участник конференции в Сан-Франциско в 1945 г., неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

## 182

У Лив Нансен — везде Григорий. (*Прим. перев.*).

## 183

*Макдональд, Джеймс Рэмсей* (1866—1937),— английский государственный и политический деятель, один из основных лидеров лейбористской партии. В 1924 и 1929—1931 гг.— премьер-министр первого и второго лейбористских правительств. Способствовал принятию «плана Дауэса». В феврале 1924 г. правительство Макдональда признало де-юре Советское правительство.

## 184

*На конференции в г. Локарно* (Швейцария), состоявшейся в октябре 1925 г., были обсуждены и парафированы так называемые Локарнские договоры — соглашения о гарантии западных границ Германии и об арбитраже. Подписание соглашений состоялось 1 декабря 1925 г. в Лондоне, а годом позже Германия была принята в Лигу наций и получила постоянное место в Совете. Заключение Локарнских договоров сопровождалось большой пацифистской шумихой. Локарно было объявлено началом новой эры в Европе и во всем мире. В действительности же Локарнские договоры означали не «торжество мира», а перегруппировку сил в обстановке обострившихся империалистических противоречий. Основной целью Локарнской политики было вовлечение Германии в антисоветский фронт. Локарнские договоры явились вехой на пути подготовки второй мировой войны.

## 185

*Дауэс, Чарльз* (1865—1951),— американский финансист и государственный деятель, был председателем международного комитета экспертов (1923 г.), созданного для урегулирования вопроса о германских репарациях и разработавшего так называемый «план Дауэса». В 1924—1929 гг. был вице-президентом США.

## 186

*Бриан, Аристид* (1862—1932),— французский политик, адвокат, неоднократно занимал министерские посты, был неизменным представителем Франции в Лиге наций. Свою политику,

основной целью которой было укрепление позиций французского империализма на Европейском континенте, Бриан проводил под маской пацифизма и под прикрытием миротворческих речей.

## 187

*Чемберлен, Остин* (1863—1937),— английский государственный деятель, консерватор. Занимал в 1924—1929 гг. пост министра иностранных дел, играл ведущую роль в осуществлении так называемой политики Локарно, был одним из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР в 1927 г.

## 188

*Шпрезман, Густав* (1878—1929),— германский дипломат и политический деятель, с 1907 г. депутат рейхстага, с 1923 г.— бессменный министр иностранных дел Германии.

## 189

*Пограничный инцидент между Грецией и Италией* — поводом для конфликта послужило убийство на греческой территории четырех итальянских офицеров, занятых установлением албанской границы. Италия предъявила Греции ультиматум, а 31 августа итальянский военный флот подошел к острову Корфу, бомбардировал его и захватил. Греция апеллировала к Лиге наций. Только угроза появления мальтийской эскадры британского флота заставила Италию отступить. Лига наций заставила Грецию принести извинения Италии и уплатить ей взнос в 50 млн. лир. Отступление Италии было вызвано не столько решением Лиги наций, сколько решительной позицией Англии, опасавшейся вторжения Италии в английскую стратегическую зону.

## 190

Ужасное дитя (*франц.*). (*Прим. перев.*)

## 191

Рисуя бедственное положение военнопленных в России, автор упускает из виду тяжелое положение Советской республики, которая получила в наследство от предшествующей власти разруху и голод. Однако даже в таких трудных условиях Советское государство с первых шагов своего существования уделяло посильное внимание военнопленным. Декретом СНК от 27 апреля 1921 г. была создана Центральная коллегия о пленных и беженцах, так называемый «Центропленбеж», в задачу которого входило не только оказание материальной помощи военнопленным, но и их репатриация. И если эта организация не смогла широко развернуть свою деятельность, то причинами этого были как антисоветская политика блокады, так и та тяжелейшая борьба, которую молодая Советская республика вынуждена была вести против сил внутренней контрреволюции и иностранных интервентов.

## 192

*Ноэль-Бэйкер, Филип* (р. в 1899 г.)— английский политический деятель, лейборист. После первой мировой войны работал в Лиге наций. В дальнейшем неоднократно участвовал в

правительствах, сформированных лейбористами. В 1946—1947 гг.— председатель лейбористской партии.

## 193

*Югославия* получила свое нынешнее название в 1929 г. В описываемый же период (с 1918 г.) она называлась «Королевство сербов, хорватов и словенцев».

## 194

Ф. Нансен выступал в качестве представителя Женевской конференции общественных организаций, созданной по инициативе обществ Красного креста в августе 1921 г.

## 195

*Брюссельская конференция* была созвана в октябре 1921 г. в Брюсселе для обсуждения вопроса помощи голодающим в России. В ней приняли участие представители 17 государств Европы и Азии, а также представители Международного Красного креста и Американской администрации помощи (т. н. АРА). По вопросу о помощи голодающим конференция не приняла какого-либо решения, якобы из-за отсутствия точных данных о размерах голода. Однако она приняла резолюцию о предоставлении кредитов Советскому правительству при условии признания им долгов царского правительства и согласия на допуск в Россию международной комиссии контроля над производством и распределением продуктов. Таким образом, конференция показала, что ее инициаторы хотят воспользоваться тяжелым положением России, чтобы заставить Советское правительство капитулировать в вопросе о долгах и иностранной собственности и поставить советскую экономику под иностранный контроль. Советское правительство разоблачило этот план.

## 196

Имеется в виду Американская администрация помощи (АРА), во главе которой стоял министр торговли США Г. Гувер. В августе 1921 г. Советское правительство заключило с АРА соглашение о помощи голодающим, особенно детям. АРА пошла на заключение соглашения с Советской Россией, стремясь, во-первых, сбыть залежавшееся продовольствие, во-вторых, поднять авторитет правительства и, наконец, получить через эту помощь определенные возможности для экономического, политического и военного шпионажа.

## 197

«*Политикен*»— одна из крупнейших датских газет, основана в 1884 г. С 1905 г. является органом радикальной партии.

## 198

Настороженное отношение русских к АРА объяснялось тем, что с первых же дней деятельности в Советской стране Американская администрация помощи (АРА) начала развертывать антисоветскую пропаганду, притягивать к себе силы контрреволюции, заниматься сбором шпионских сведений. Органам Советской власти приходилось вести большую работу, чтобы

очищать комитет АРА от контрреволюционных элементов и добиваться распределения продовольствия среди действительно голодающих. В начале 1922 г. Советское правительство поставило полковника Гаскелла, руководителя АРА в России, перед выбором: либо АРА прекратит свою подрывную деятельность, либо Советское правительство откажется от ее помощи. Гаскелл вынужден был дать обязательство прекратить подрывную деятельность. Однако антисоветские происки АРА, хотя и более скрытно, продолжались.

## 199

*Квакеры* — члены основанной в середине XVII в. в Англии религиозной христианской общины, проповедующие всеобщее братство, пацифизм и занимающиеся благотворительностью. Благотворительной деятельностью в Советской России занимались такие организации квакеров, как «Совет службы трудящихся Англии» и «Комитет службы американских трудящихся».

## 200

*Нансеновские паспорта* были введены Лигой наций в 1922 г. по предложению Ф. Нансена для определения правового статуса беженцев, не имевших официальных документов от своих стран. Вместо гербов, символизирующих власть государства, на документы наклеивалась, после уплаты 5 франков, марка с портретом Нансена, дававшая законную силу данному документу. Ежегодно за ту же плату паспорт должен был возобновляться. Первоначально эти паспорта предназначались для русских белоэмигрантов, в дальнейшем их выдавали армянским, турецким и сирийским беженцам. Юридическая сила Нансеновских паспортов была признана 52 правительствами.

## 201

«...обязанность благодарить за невесту...» — согласно норвежскому свадебному обряду, жених во время свадьбы обращается к родителям невесты с речью.

## 202

*ХАСМЛ* — Христианская ассоциация молодых людей, одна из крупнейших международных буржуазных организаций молодежи. Основана в Лондоне в 1844 г. Эта организация является важным средством в руках буржуазии для воспитания молодежи в духе классового сотрудничества.

## 203

*Кемаль-паша, Гази Мустафа* (1880—1938), с 1934 г. принял фамилию Ататюрк («Отец турок»), — первый президент Турецкой буржуазной республики. По образованию военный, занимал высшие командные посты в турецкой армии в период первой мировой войны. С 1919 г. возглавил верхушечную, т. н. кемалистскую, революцию турецкой буржуазии. Ликвидировал султанат, провозгласил Турцию республикой (1923 г.) и стал ее первым президентом. Провел ряд реформ в области права, культуры и быта. 17 декабря 1925 г. заключил договор о нейтралитете между Турцией и СССР.

## 204

*Севрский договор* был подписан 10 августа 1920 г. в Севре (недалеко от Парижа) между державами — победительницами в первой мировой войне и султанским правительством Турции. Севрский договор являлся частью т. н. Версальской системы. По этому договору турецкая территория сокращалась на / и Турция ставилась в кабальную зависимость от держав-победительниц. Подписание Севрского договора вызвало подъем национально-освободительного движения в Турции. Стремясь подавить это движение, страны-победительницы попытались использовать Грецию, которой по Севрскому договору были отданы Восточная Фракия и Измир. Война Греции против Турции после некоторых первоначальных успехов греков окончилась для нее плачевно. 22 августа 1922 г. турецкие войска наголову разбили греческую армию. Греческое население в ответ на зверства греков было выброшено из Малой Азии, причем пожар Смирны и резня греков, устроенная турками, были своеобразным откликом на жестокую резню мусульманского населения, проведенную здесь греками в мае 1919 г. В Грецию нахлынуло большое число разоренных беженцев. 11 октября 1922 г. между Турцией и представителями держав Антанты было подписано перемирие, по которому Восточная Фракия немедленно возвращалась туркам. Это условие усилило поток греческих беженцев.

## 205

На Лозаннской конференции (ноябрь 1922 — июль 1923 гг.), созванной державами Антанты для заключения с Турцией нового мирного договора взамен Севрского, который был ликвидирован в результате победы кемалистской Турции, была подписана «Конвенция об обмене греческого и турецкого населения». Лига наций учредила Автономный комитет для приема и обсуждения беженцев и обеспечила комитету международный заем в 10 млн. фунтов стерлингов. Комитет занимался постройкой городских жилищ и открыл свои отделения в провинциях для колонизации и освоения выделенных для беженцев земель. Вопрос об обмене греческого и турецкого населения был окончательно урегулирован только к весне 1930 г. В результате было переселено из Греции в Турцию свыше 400 тысяч турок и из Турции в Грецию — свыше 1 миллиона греков.

## 206

Здесь явная идеализация — краткосрочность предоставляемого беженцами кредита, который, к тому же, давался под большие проценты, а также крупные накладные расходы, лежавшие целиком на беженцах, и вообще тяжесть условий переселения и устройства, тем более что беженцам выделялись самые плохие участки земли, весьма отрицательно сказывались на их жизненном уровне.

## 207

К 1928 г. все русские белоэмигранты из Турции были высланы. Турецкое правительство приняло решение об их выселении в связи с ростом в Константинополе преступности и проституции.

## 208

*Нобелевская премия мира* присуждается специальным комитетом, назначаемым норвежским парламентом (стортингом), в день смерти Нобеля — 10 декабря каждого года. Выявлением соискателей и представлением их к премии занимается Нобелевский институт — научно-исследовательское учреждение в Осло.

## 209

*Оксениерн, Аксель, граф Сёдермере* (1583—1654),— шведский государственный деятель, риксканцлер с 1612 по 1654 г. Стремился к установлению шведской гегемонии на Балтике.

## 210

*Вестфальский мирный договор* 1648 г. между императором Германии, немецкими князьями, Швецией, Францией и другими государствами положил конец Тридцатилетней войне (1618—1648 гг.).

## 211

Устроители Лозаннской конференции — Англия, Франция и Италия — объявили ее целью «окончательное восстановление мира на Востоке». Это «миролюбивое» намерение появилось у держав Антанты лишь после того, как англо-греческая интервенция в Турции потерпела поражение.

## 212

*Гренландский вопрос* возник в связи со спорами между Данией и Норвегией из-за восточной части Гренландии, на которую Норвегия предъявила свои права. С конца XIX в. норвежские рыболовы и охотники на морского и пушного зверя постоянно вели промысел у восточных берегов Гренландии и имели здесь свои охотничьи базы. В мае 1921 г. датское правительство объявило о переходе всей Гренландии под управление датской администрации. Это постановление лишало норвежцев их привилегий в Восточной Гренландии, и поэтому в Норвегии поднялась волна антидатских настроений. Осенью 1923 г. между Данией и Норвегией начались переговоры, в результате которых 9 июля 1924 г. было заключено соглашение о Восточной Гренландии. По этому соглашению, норвежцы получали в Восточной Гренландии одинаковые права с датчанами на ловлю рыбы и охоту, использование земли, создание метеостанций и т. п. Несмотря на соглашение, противоречия между Данией и Норвегией сохранились, и норвежцы вели постоянную борьбу за усиление и расширение своего влияния в этом районе Гренландии. В 1930 г. в Норвегии был разработан трехлетний план исследования Восточной Гренландии. А в 1931-м правительство Норвегии, после высадки специального отряда, объявило о присоединении к Норвегии Восточного берега Гренландии. Дания заявила протест. В 1933 г. в Гааге датско-норвежский конфликт был разрешен международным судом в пользу Дании, но за Норвегией было признано право на организацию рыболовства и других промыслов на Восточном побережье Гренландии.

## 213

*Хэрьедален и Бухюслен* — небольшие районы юго-западной Швеции, на границе с Норвегией. В старые времена принадлежали Норвегии. Первый район перешел к Швеции в 1645 г., второй в 1658 г. Фарерские острова принадлежали Норвегии с 1035 г., Гренландия — с 1261 г. и Исландия — с 1264 г. В дальнейшем после установления в Норвегии датского владычества эти территории также попали под датское управление, а после образования шведско-норвежской унии (1814 г.) Фарерские острова, Гренландия и Исландия остались за Данией.

*Торденшельд, Петер* (1691 —1720),— известный норвежский флотоводец, получил широкую известность благодаря своим успехам в морских сражениях со шведами. Похоронен в Копенгагене.



## 214

*Эгеде, Ханс* (1686—1758),— первый норвежский миссионер в Гренландии; основал норвежскую колонию Готхоб на западном берегу Гренландии. Его сын Пауль Эгеде (1709—1789) продолжил пасторскую деятельность отца среди гренландских эскимосов. П. Эгеде составил первый эскимосский словарь (1750 г.) и написал грамматику эскимосского языка (1760 г.).

## 215

*Мувинкель, Юхан Людвиг* (1870—1943),— норвежский политический деятель, крупный судовладелец, один из лидеров партии Венстре; премьер-министр Норвегии в 1924—1926, 1928—1931 и 1933—1935 гг.

## 216

*Люкке, Ивар* (1872—1949),— норвежский политический деятель, член стортинга в 1916—1945 гг., один из лидеров Крестьянской партии; премьер-министр и министр иностранных дел в 1926—1928 гг.

## 217

*Юхансен, Давид Монрад* (1888—1919),— норвежский пианист, композитор и музыковед; выпустил наиболее обширную в норвежской музыковедческой литературе монографию о композиторе Э. Григе.

## 218

*Добровейн, Исай* (1894—1953),— дирижер и композитор, художественный руководитель Филармонического общества в Осло (1927—1930 гг.); родился в России, позднее принял норвежское подданство.

## 219

*Трагедия армян* — армянский вопрос возник в XIX в. в связи с усилением борьбы армян, проживавших в Турции, за национальное самоопределение и стремление европейских держав использовать эту борьбу в своих интересах. Желая избавиться от армянского вопроса и устранить повод для иностранного вмешательства в дела Турции, султанское правительство встало на путь физического уничтожения армянского населения. Массовые избиения армян начались в Турции с конца XIX в. В 1894 г. армянское население было истреблено в Сасуне, злодеяния не прекращались и в последующие годы. В результате в конце XIX в. в Османской империи погибло около 300 тысяч армян.

## 220

*Гладстон, Уильям Юарт* (1809—1898),— английский политический деятель, лидер либеральной партии, неоднократно стоял во главе английского правительства; проводил

экспансионистскую внешнюю политику, стремился использовать армянский вопрос для укрепления позиций Англии в Турции.

## 221

*Абдул-Гамид II* (1842—1918),— турецкий султан, проводивший политику массового избиения армян в конце XIX в. и прозванный за это «кровавым султаном».

## 222

*«...приступить к выполнению задуманного...»*— в 1915—1916 гг. турецкие руководящие круги провели массовое избиение армян на всей территории Турецкой империи, посчитав начало первой мировой войны удобным моментом для окончательного решения армянского вопроса. Из 2,5 млн. армян, проживавших в Турции, было уничтожено более одного миллиона, более 600 тысяч было насильственно выселено в бесплодные пустыни Месопотамии, около 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. После этого армянское население в турецкой Армении почти исчезло. Политика массовой резни западных армян была, по существу, политикой геноцида. Нансен был среди тех, кто выразил гневный протест против геноцида армянского народа.

## 223

«Армянского вопроса больше не существует» *(франц.). (Прим. перев.).*

## 224

*Армяно-турецкая война* была спровоцирована в сентябре 1920 г. дашнакским правительством, которое, рассчитывая на помощь Англии, пошло на эту авантюру с целью подавить растущее влияние армянских большевиков. Не получив никакой помощи, дашнаки в течение двух месяцев были наголову разбиты и 2 декабря 1920 г. поспешили заключить с Турцией мирный договор, по которому Армения объявлялась турецким протекторатом. Однако в этот момент дашнаки уже не были представителями Армении — 29 ноября 1920 г. трудящиеся Армении под руководством компартии свергли господство дашнаков и установили в стране советскую власть. В феврале 1921 г. дашнаки предприняли попытку вернуть себе власть, однако гражданская война, в которую они втянули Армению, закончилась для них в апреле полным поражением.

## 225

*Мясников (Мясникян), Александр Федорович* (1886—1925),— советский партийный и государственный деятель, литератор. В 1921 г. был Председателем СНК и наркомом по военным делам Армянской ССР, с 1922 г.— Председателем Союзного Совета ЗСФСР, а затем первым секретарем Закавказского краевого комитета РКП (б). Погиб при авиационной катастрофе.

## 226

*Керзон, Джордж Натаниел* (1859—1925),— английский политический деятель, консерватор. В 1916 г. вошел в состав военного кабинета Ллойд-Джорджа, с 1919 по 1924 г.— министр

иностранных дел. Один из вдохновителей интервенции и злейших врагов советской власти. Поднимая «армянский вопрос» на Лозаннской конференции, Керзон несколько не беспокоился о действительном положении армянских беженцев, а стремился таким путем усилить антисоветские настроения в Лозанне и расстроить взаимоотношения между Советской Россией и Турцией.

## 227

*Болдуин, Стенли* (1867—1947),— английский политик, один из лидеров консервативной партии, премьер-министр в 1923—1929 и в 1935—1937 гг.

## 228

*Асквит, Герберт Генри* (1852—1928),— английский политический деятель, лидер либеральной партии, в 1908—1916 гг.— премьер-министр.

## 229

«Черт бы побрал ваше бессовестное правительство!— Все правительства бессовестны» (англ.) (Прим. перев.).

## 230

В момент работы Лив Нансен-Хейер над мемуарами население Армении составляло 1,6 млн. человек; в январе 1969 г. оно достигало уже 2,4 млн.

## 231

«Потому что он славный веселый малый» (англ.). (Прим. перев.)

## 232

*Фробишер, Мартин* (1535—1594),— английский мореплаватель; пытаясь проплыть в Китай из Англии Северо-Западным путем, в 1576 г. вновь открыл Гренландию.

## 233

*Монтень, Мишель* (1533—1592),— французский философ периода Возрождения; резкий противник теологии и схоластики.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритюфа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритюфа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.

В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена. 1-е изд. книги — 1971. Для широкого круга читателей.

### Title Info

Genres	nonf_biography sci_history
Author	Лив Нансен-Хейер
Title	Книга об отце (Нансен и мир)
Date	
Language	ru
Source Language	no
Translators	И. Б. Ефремова, И. Б. Алимова-Шрадер, М. П. Ганзен

### Document Info

Author	[Скаут]
Program used	FB Editor v2.0, FB Editor v2.3
Date	26 February 2010 (2010-02-26)
ID	823AC7C4-63A8-4538-8375-9D1559A50CC5
Version	1.0
History	1.0 - создание файла

### Publisher Info

Book name	Книга об отце
Publisher	Гидрометеиздат

City	Ленинград
Year	1986